

Елена Крюкова

Иерусалим

Издательские решения
По лицензии Ridero
2019

УДК 82-3
ББК 84-4
К85

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Крюкова Елена

К85 Иерусалим / Елена Крюкова. — [б. м.] : Издательские решения,
2019. — 372 с.
ISBN 978-5-0050-8012-7

Сибирячка Вера Сургут отправляется паломницей на Святую Землю. Что приключится с ней в долгом пути? Перед ней Иерусалим, город, где она узнает и великое человеческое страдание, и величайшее счастье подлинной веры...

**УДК 82-3
ББК 84-4**

18+

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0050-8012-7

© Елена Крюкова, 2019

ИЕРУСАЛИМ

*ХОЖДЕНИЕ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ
СВЯТОЙ ВЪРЫ,
МОНАХИНИ
ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ ВЪ ІЕРУСАЛИМѢ,
А ТАКЖЕ
ПРАВДИВОЕ И ДОСТОЙНОЕ СКАЗАНИЕ ЧУДЕСЬ,
ЧТО СЪ ТОЮ СВЯТОЙ ВЪРОЙ
ВЪ МИРѢ СРЕДЬ ЛЮДЕЙ ПРИКЛЮЧИЛИСЯ*

Крест мой — черный крест.
Укрась его зимою, как елку.
Воткни в сугроб. Я погляжу окрест.
Тьма непроглядная — руки мои осязают
праздник земной,
и стоять недолго
Черной елкой, в крестовине боли,
светлейшею из невест.

Крест мой — он только мой. Я его не покину.
Мрак живых ладоней безлюден,
беспрогляден и наг.
Вознесу молитву праотцам, Отцу и Сыну,
А Дух Свят — алмазным снегом: у врат полночных
на коленях, бедняк.

Ночь ног, пыль миров, волосы мои инеем схватит.
Голая, после прожитой жизни, вишу на кресте
И едва дышу, и уже не дышу,
и до Воскресения хватит
Меня одной — голодному миру —
куска огненной жизни
в седой пустоте.

Я чернею великой скорбью. Я вижу время.
Крепко жмурюсь: а вот это видеть нельзя.
Голой елкою, без бус и гирлянд,
без медовых свечей,
я стою, лечу надо всеми,
Над пророчествами всеми своими
по дегтярному небу
слезным алмазом скользя.

Я всего лишь человецица, не ангелица,
Я всего лишь паломница в степь,
где планет плачет волчий полынный вой,
Где мой Бог сможет, распятый, уксусом,
как дамасским вином, упиться —
Всем избитым, в крови, бессмертием
наклонясь надо мною, живой.

ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПАЛОМНИЦА

Глубокой и беспроглядной ночью, когда за изломом улицы, за ее крутым, почти под прямым углом, бешеным поворотом дымливо и сутемно курился январский Енисей, Вера Емельяновна Сургут собралась в Иерусалим.

Квадрат окна слишком жестко, безвыходно очерчивал ее мир — в лицо его, то бело-серебряное, то золото-осеннее, то мрачное, чернее угля, то слишком синее, синее купороса, она, изнутри нищего жилища, глядела то и дело. Вера Емельяновна жила одна, и это было хуже всего. Ночью она часто боялась умереть: просыпалась и прислушивалась к себе, к гулкому и частому биению сердца. Врач из районной поликлиники, с виду схожей со старинной дощатой ладьей — Вера видела такую лодку в музее, еще ребенком, — вздыхал глубоко: «Тахикардия у вас, голу-бушка, несчастненькое у вас сердечко! Трепыхается! Чем бы его таким вкусным подкормить, сердечко ваше голодное, ума не приложу? Давно ли у вас это трепыхание началось? А?» Вера не знала, что врачу отвечать: она не могла так глубоко нырнуть во время, чтобы обнаружить там исток недуга.

Долго сидела за столом, сгорбившись, добрых полночи. Время вило над головой, потом стало валиться вбок, иставать, вспыхивать и гаснуть, теряться. Давно оттремел бодряцкий гимн по радио — приемник она никогда не выключала, черный ящик старательно и отчетливо играл парадную музыку в полночь и в шесть утра, — утих детский визг наверху, угас лай дальних собак, только сосед за стеной глухо и влажно покашливал — вечная простуда, а может, вечный табак, а может, вечная чахотка. Потеряв время совсем, она вздрогнула: явилась боль пропажи. С трудом встала. Протянула руки к окну. Руки Верины сами вцепились в погрязнелые, с золотой вышивкой, занавеси, знамена старых времен, хотели запахнуть поплотнее, чтобы не видеть

света фонарей, их горящей тоски, — а вместо этого вдруг рванули ткань в разные стороны.

Угрюмый город. Беззвездная ночь. Дома шли вверх, все вверх и вверх, пытаясь каменными головами уткнуться в небо, — да все равно ростом не вышли, небо было шире, выше и дальше любого людского камня. Стрельчатые, треугольные, в виде столбов, с крышами острыми и плоскими, слепые, скорбные, а вот горят два окна, а вот мгновенно, резко вспыхивает непрерывная цепь огней, опоясывая узкую высотку. Домов много. Убежища из железа и бетона, из огнеупорных кирпичей, и внутри них живет, спасается человек. Он спасается от смерти.

Вера, стоя у окна с распахнутыми руками, вдруг догадалась об этом.

И ее резко, быстро, быстрее вспышки снега под большим фонарным огнем, накрыла черный крест: все конечно. Конечно всё. И все. Бесследно проходит всё. И исчезает. Это как вода. Вон он, Енисей, — дымится, полоумный зимний вулкан, парит за чередой домов, что каменными коровами идут к нему на водопой. Люди сначала живут, потом умрут. Как это перенести?

Мысли простые, обычные. Нелепые, она еще не старая, кто-то над нею и посмеется, зайдет от смеха, если она расскажет об этом. Жалко самоё себя стало? Ах ты, кошечка, за ухом чтобы почесали, захотелось?

Отступила от окна на шаг, другой. Взора не отводила от мрачного полотна в квадрате старой оконной рамы. Белого в сибирской ночи было больше, чем черного. Вера глядела, глядела, жадно, внимательно, зрачками вспарывала белые силки, что некрепко сшивали крыши и изгибистый чугун фонарей, тяжелые сугробы и мохнатые от густого куржака провода и карнизы. В такие лютые ночи погибают зимние птицы, комьями валясь с могучих разлапистых елей, со сверкающих пухом инея длинноиглых сосен. Вера вообразила себя такою птицей. И чуть было не упала перед окном, и выпустила из скрюченных пальцев шторы и судорожно ухватилась за подоконник. Он холодом, как давно мертвый материн утюг, ожег ей ладони.

Под фонарями взвивалась метель, и Вера чувствовала — через полчаса эта робкая вялица перейдет в мощную пургу, и пурга эта пожрет и дом, и город, и ее у страшного, в диких морозных узорах, окна, и Енисей, что там, за поворотом, гудит, ворчит и дымится. Адский зимний дым Енисея, с детства знакомый. Ребенком она пугалась, когда мать, больно вцепившись в ее детскую лапку, вытаскивала ее из-за поворота — после бани обе, женщина и девочка, шли, укутанные в шали, мать в большую, козью и дырявую старую шаль, дочушка в маленькую, кроличью, беленькую и новехонькую, — и Енисей разверзался под ногами урчащей иззелена-серебряной пропастью, и далеко в ранней ночи маячила, вмерзала в заберег черная пристань, и к ней жался, в ее бок вжимался остроклювый грязный, с ярким белым номером на боку, катерок, железный цыпленок. Вера так же хотела вжаться в бок матери, укутанной в шаль и старую овечью шубу, прислонилась к ней, запнулась валенком за трубу поперек дороги и растянулась. Мать завопила благим матом: «А-а-а-а, ты нарошно, нарошно! опять за свои штучки! дрянь такая! вся в отца! вся! вся!» Отец Верин, она знала, ей соседка, безрукая Зита, нашептала, сидел в заключении далеко отсюда, на Севере, в загадочном городе Туруханске. Вера насмелилась и спросила однажды у матери, где это Туруханск. Она думала, мать на нее, по обыкновению, заполюшно заорет, а мать тяжело, прерывисто вздохнула и выдавила, как едучую мазь из аптечного тюбика: «Это, дочка, в аду». — «А что такое ад?» — спросила Вера. Тут мать озлилась и прошипела: «Не твоего ума это дело».

В другой раз ей удалось выведать у матери, что ее отец жив, только живет в специальном месте, для преступников, кто захотел сделать плохо их любимой родной стране. «А оттуда убежать можно?» — робко шепнула Вера. Мать сидела на продавленном диване и шила. Пришивала цигейковый воротник к Вериной шубке. «Нет, дочь, там люди сидят в бараках, за решеткой, и по забору обкручена проволока колючая; кормят их баландой, будто бы свиньи они, и мрут все там, мрут как мухи. Может,

и батька твой уж сдох давно. Или в затылок ему стрельнули». Мать шмыгнула и утерла нос ладонью. Уколола палец иголкой и выматерилась. Высосала из пальца кровь. Сплюнула на пол. Вера растерла подошвой на паркетине плевков. «Брось ты меня слушать. Бормочу я всякое. Вот отмотает срок и явится. И опять за старое: пить, гулять. Э-э-э-э-э!» — «Мама, а что такое виноград?» — без перехода спросила Вера. Мать скусила нитку, долго отгрызала. Опять плюнула. «Ягода». — «А ее едят?» — «Едят». — «А ее продают?» — «Продают». — «Мам, купи мне!» Мать разгладила серую мышиную цигейку жесткой ладонью и громко выдохнула: «О Господи!»

«Кто такой Огосподи?» — тихо спросила Вера. И мать дала ей подзатыльник. Несильно, так, будто кошка смазала лапой, — чтобы отстала.

Отец так и не вернулся никогда.

Мать Верина жила долго и умерла в старости, вся сморщенная, бессильная, ходить уже не могла, от кровоизлияния в маленький усохший мозг — ее разбил паралич, скрутил ее в два дня, Вера и ахнуть не успела. Она не знала, как ухаживать за такими больными, и все клала матери на лоб мокрую тряпку, а потом в дверь ввалились соседки и наперебой стали тарыхтеть: «Разрабатывай ей руку, руку, руку в локте сгибай! ложку в пальцы засовывай, чтобы держала! выпустит, а ты опять засунь! упражняться надо, мышцы упражнять!» Ложка валилась на пол. Тарелка с супом падала, задетая локтем, разбивалась, суп разливался по тусклому паркету. Вера не помнила, сколько лет они с матерью жили в этом доме: всю жизнь. Она глядела на высохшее тощей рыбкой-чебаком тельце матери в гробу, обитом атласом цвета неба, и думала: «Вот и я так тоже когда-нибудь лягу, и буду лежать, и молчать». Одна соседка надела ее матери на шею крестик на грубом гайтане, другая всунула в сложенные руки образок величиной с дикое яблоко. До Троицкого кладбища доехали на автобусе — Вера тогда работала кондукторшей, и начальство автобусного парка милостиво выделило ей на похороны матери бесплатный автобус. Вера, пока на кладбище

ехали, обводила мрачными глазами людей в автобусе: половину из них она не знала, и уже не узнает никогда; кто они все были? Случайные прохожие? Голодные, возжаждавшие поминоков со вкусной, с изюмом, кутьей? Матери старые друзья? Не было ни поминоков в дешевой столовой, ни куты, ни водки. Не водилось таких денег у Веры. Сладкий кагор принесла соседка, что на груди покойницы уложила образок святителя Николая Чудотворца, а целую сумку булок — незнакомец, всклокоченный, как композитор Бетховен со старинной гравюры в Вериной детской книжке без начала и конца. Когда священник, молодой сивый парень, длинные волосы в косичку заплетены, в холодом храме отпевал усопшую рабу Божию, он осторожно вынул из ее синих скрюченных пальцев Николу Угодника. «Не положено с иконой святой в землю класть», — сурово сказал он и протянул святителя Николая молча, прямо стоявшей Вере. Вера слушала, как нараспев, печально говорит, а потом густым басом поет батюшка. Она не понимала тягучих древних, заковыристых слов. В школе их никто не учил, что есть на свете Бог; на свете был красный галстук, потом комсомольский значок, потом все оканчивали школу и забывали эти крики: «Будь готов!» — «Всегда готов!» — и салют под алым знаменем, что вилось на холодном ветру на школьном дворе, на высоком, как мачта, флагштоке. Прямо на кладбище, как засыпали Верину мать землей, соседки раздавали из сумки булки, все отхлебывали из бутылки кагор, из темного стеклянного горла, и передавали другому. Прожевывали булку, пропитанную вином, и крестились. Вера не первый раз в жизни видела, как люди крестятся; и понимала, что вот теперь, когда мать родную хоронит, здесь, на Троицком кладбище славного города Красноярска, она должна послушно слепить пальцы в щепоть и наконец-то в жизни перекреститься; но стыдно ей было, и медлила она. Будто кто-то ее наотмашь должен был плетью хлестнуть по лицу — за то, что она здесь, на ярком солнечном, резучем снегу, возьмет да широко, вольно на себя крест наложит. Зимний яркий, слишком синий, люто морозный день! Зима, все время зима. И мать умерла зимой. Вера глядела,

как голодные люди торопливо жуют булки, как румянятся на морозе их щеки, как ходит, мечется из рук в руки темная, будто обожженный снаряд, бутылка, и вдруг ей почудилось, что не на кладбище стоит она, а на рынке, и все тут продают, что надо — и вино, и зимние плоды, золотые слепящие мандарины, и подгорелые пирожки, и кудлатые ананасы, и коричневый, в крынках и стеклянных банках, саянский мед, и аккуратно рубленое острым топором, дымящееся мясо — грудинку, корейку, оковалки, — и мертвых кур, и мертвых рыб, и вяленые окорока мертвых медведей, и мертвых глухарей, и мертвую строганину, и всю мертвечину, что люди едят, едят, бесконечно грызут, перемалывают зубами-жвалами. Ей стало худо, перед глазами возникла тьма, и она, подогнув ноги, упала перед свежим холмом. Люди, черные свечки на снегу, в темных серых пальто и черных катанках, сгрудились ближе к ней, пытались поднять на ноги, закричали, загомонили. Могильщики заваливали земляной холм разрытым снегом, охлопывали грязными лопатами. Вере, что клонила в бессознании голову на плечо, тыкали в зубы горлом бутылки. Она бессмысленно глотнула вина и ожила.

Ее уводили с кладбища под руки. Снег визжал под сапогами. Вера оглянулась и поймала глазами черный чугунный крест. Под чугуном лежала ее мать.

Потом, в жизни, она работала еще на всяких-разных работах: сторожихой, кастеляншей в рабочем общежитии, укладчицей на кондитерской фабрике. Кондуктором мотаться по тоскливому асфальту ей до смерти надоело, к тому же у нее на глазах в автобусе зарезали молодую девчонку, Вера заступилась, а убийца взял да на Веру ножом замахнулся. Дело было в последнем рейсе, в салоне никого, девка лежит на полу, истекает кровью, а Вера хватается за бешеный, увертливый светлый нож. Да, светло, ярко лезвие сверкало. Будто огнем горело. Ладони у Веры оказались все крест-накрест порезанные, а она уж и не помнит, как визжала, как шофер автобус останавливал и в салон, грязно ругаясь, вбегал. Шофер сильный и смелый мужик оказался; парню тому руки скрутил. Парень пытался его уку-

силь. Шофер вбил ему кулак в скулу. Вера сидела, уронив изрезанные руки на колени, и у нее по коленям и ногам текла ее теплая кровь.

Она отлежала месяц в больнице. Порезы зажили. Но что-то важное, теплое тот парень у нее внутри надрезал — никогда не думала Вера о том, что такое душа, сердце, и вдруг стала думать о них и их чувствовать. Сердце стало биться, быстро и неровно, задыхаясь, куда-то отчаянно опаздывая, а душа стала болеть, томиться и плакать, и Вера теперь понимала, как это, когда из глаз слезы не текут, а внутри все слезами просто обливается. Иногда эти слезы души прорывались наружу. Это могло случиться где угодно: в трамвае, на улице, на берегу Енисея, в пельменной, где она, промерзнув на остановке и не дождавшись железной повозки, жадно ела разваристые пельмени, обильно посыпанные молотым перцем, — и люди смотрели, как слезы щедро текут по ее лицу и стекают по шее за шарф, за теплый воротник. И Вера сидит, положив ложку на стол, и слез не вытирает.

Пыталась научиться вышивать: рукоделье, заделье, да как все бабы! Ниток накупила, иголок. На подушке-думке вышила красную шелковую дорожку. Не понравилась дорожка. Вера вышила еще красную плашку, поперек. Получился красный крест. Не понравился он Вере. Что за больница! «Скорая помощь», — ядовито шептала себе. Спорола шелк и снова вышила крест, другой: густо-черными, угольными нитками.

Чугунный черный крест. Как на могиле матери. В снегах. На белой наволочке.

Забросила думку в угол дивана.

Когда на диване придремывала, переворачивала думку крестом вниз. Он углем из неостывшей печи жег ей щеку.

Крест, даже спрятанный, казался ей громадной буквой, грозной буквицей: она нарисовала ее, а языка не знала, с которого слово на эту букву начинается.

У нее была любовь, но свадьбой не закончилась. Человек, что ходил к ней украдкой, забегал на час, на два, был женат

и тяжело болен: носил в себе насквозь больные почки. Вере он сказал об этом не сразу. А тогда, когда она уже крепко прикипела душой и телом к нему. Она не просила его бросить ради нее семью — жену и сына; не упрашивала лечиться и выздороветь. Она хорошо знала: от судьбы не выздоравливают, и надо тихо принять то, что тебе написано на роду. Хоронить любимого человека она не пошла: ей чудилось, она у могилы опять упадет и потеряет разум, но больше не очнется. А ей еще хотелось жить.

Годы шли, она жалела, что не родила от этого мужчины ребенка; а иногда воображала рядом с собою то мальчика, то веселую девочку, но смутно таяли в слезном тумане детские фигурки, ускользало из ухватливых, уже слабеющих рук детское сонное тельце. Дети! Не каждому дано испытать это счастье. Настал день, когда Вера, стыдясь и пригибаясь, будто кто ее тут увидит и уличит в неведомом преступлении, пробралась в Свято-Троицкий собор и, оглядываясь по сторонам, как рысь из-за колких еловых ветвей, купила икону и две толстых свечи. Икону она выбрала сама: прямо на нее смотрели огромные, широко распахнутые темные глаза, в их глубине ходил светлый огонь и вспыхивали яркие золотые искры. Глаза летели прямо в нее с крупно, во всю икону, изображенного мужского лица. «Спас Нерукотворный, Господь наш», — благоговейно сказала продавщица иконок и свеч и быстро, троекратно осенила, как осоловила, себя крестным знамением. Вера отсчитала деньги, ее щеки заливала стыдная краска. Ничего не могла она с собой поделывать: в церкви жгуче-стыдно ей было. Она засунула сверток в сумочку, пришла домой, повесила Спаса над телевизором, а свечи воткнула в старый подсвечник, подаренный ей на день рождения ее мертвым возлюбленным. Зажгла. Свечи горели, чуть потрескивая. Вера сказала вслух: «Господи, пошли мне счастье». Одинокий голос ее прозвучал холодно и глухо под голым потолком нищей комнаты. Старый буфет, старый стол, старые стулья отзвучивали гулкой насмешкой. Свечной огонь отсвечивал в стеклах буфета, отражался в старом зеркале. «Я старая, я уже больше

никогда не полюблю и не рожу», — подумала Вера о себе, и очень больно ей стало. Но слезы не лились. Их уже у нее в запасе не было.

Она все стояла посреди ночи и глядела в окно.

Год назад, такой же лютой зимой, морозы под минус пятьдесят, все вокруг синее от мощного куржака, мертвыми узорами иней оплетал все, из чего состоял видимый мир, захворала ее соседка: та, что на похороны ее матери принесла бутылку темно-красного сладкого кагора. Соседку звали Анна Власьевна, в далеком прошлом она сначала командовала на войне отрядом, потом стала учить детей, потом, выйдя на пенсию, задумчиво плела кружева на коклюшках. Родом Анна Власьевна была из Вологды, и, гордясь, светло и беззубо улыбаясь, говорила она Вере, что происходит из семьи, где женщины от века занимались кружевом. Кружевница, это ж надо, вертела Вера головой, мяла в пальцах, разглядывала снежные, волшебные струи, нитяную выюгу, что заматала крохотную уютную комнатенку Анны Власьевны, спинки кресел, диваны и стены. Анна Власьевна вбивала гвозди в стену и вешала на гвозди кружевной звездчатый туман; заходила Вера, ахала, охала, обе женщины разглядывали и разглаживали сияние вечной зимы, что уже молча, строго ждала их за поворотом.

Анна Власьевна поручала Вере куда-нибудь определять ее изделия: все равно, куда, в магазин или на рынок отнести, сделать выставку в школе, вернисаж в галерее, лишь бы жило кружево, лица людей красивой метелью мело! Все грязь, всю нечисть из них вычищало! Вера морщила лоб, соображала. Но ничего не могла сообразить, кроме того, чтобы собрать царскую легкую белизну в котомку да оттащить на рынок: глядишь, купят, и у старухи к пенсии денежка будет! Продавала кружева за копейки. Стояла за рыночным лотком среди публики, место было куплено, от себя деньги оторвала, народ подходил и мял

в пальцах тонкотканые чудеса, а она смотрела и сглатывала слюну: нечего было говорить. Опять стыдилась: стыдно было торговать, совать в руки вещь и получать за нее бумажки. Однако старуха Анна Власьевна сильно радовалась этой продаже и горячо благодарила Веру: «Ах, Верушка, спасибо-то какое тебе, вот и живенько мое кружевцо, вот и славненько!» Вера на вырученные за кружево деньги покупала Анне Власьевне пищу и лекарства.

Анна Власьевна слегла, когда уже не могла сидеть за коклюшками. Пришла Вера однажды, а дверь открыта, а старуха на диване лежит, и даже без простынки под собою; круглое лицо уже легко улетает, а седые пряди тяжелеют; только успела на себя, пока еще рука действовала, вытертое верблюжье одеяло натянуть. С трудом разлепила губы, натужно, беззубо вытолкнула в мир бедные слова: «Верушка, меня... удар хватил... Может, и не встану... Ты... поухаживай за мной... чуть-чутьочку, солнышко, я постараюсь... не залежаться...» С коклюшек свисало последнее старухино кружево: будто полночные снежинки, ясные, алмазные, друг с другом сцепившись, радостно заструились на сиротскую, горькую землю со смоляного зенита.

Лежала Анна Власьевна на том старом скрипучем диване почти год. Ее не стало неделю назад. Перед самым Новым годом.

Ничего старуха не отписала ни Вере, ни другим соседкам, что ходили к ней, заходили в вечно, безбоязненно открытую дверь, а вдруг умру, и ломать будут, жалко улыбаясь, шамкала кружевница, — а у нее просто ничего и не было: ни денег наличных, мертвых бумажечек, весело шуршащих в старом кожаном, похожем на сердечко портмоне, ни сберкнижек, ни дорогуших камешков, старательно оправленных в тяжелое темное от старости золото, — ну совершенно ничего, кроме ее родных, зимних кружев, заматавших вечной метелью ее долгую тоскливую жизнь.

Кружева старухины растащили соседки. Вере удалось припрятать немного струящейся дырчатой, нитяной выюги. Когда Ве-

рины руки прикасались к Анниным кружевам, у нее мгновенно замерзали ладони. И ей казалось, что по ее ладоням ползут ледяные, морозные узоры. Это смерть касалась Вериных ладоней своими. Просила ее о чем-то. Смерть тоже хотела праздника. Нового своего года.

Вера скосила глаза: вон она, елка Анны Власьевны, теперь у нее в углу комнаты, она перенесла елку к себе из опустелой квартиры. Вера на глазах старухи наряжала эту ель. По приказу кружевницы Вера вытащила из кладовки, сняла с высокой полки, встав на цыпочки и кряхтя, громадный как дом ящик, и тряхануть его боялась, бережно несла: она уже знала, что там, внутри. Поставила на стол, развернула ветхие картонные лопасти. В глаза ей ударили косые цветные лучи, и она радостно и потрясенно зажмурилась. Ящик был доверху полон старинных елочных игрушек; у Веры отродясь не было таких. «Это же роскошь какая», — шептала она, напуганно и медленно вынимая из ящика и раскладывая на столе, будто дорожные, в хрупких ампулах, заграничные лекарства, умопомрачительные игрушки: картонные грибы с крашенными маслом шляпками и белыми ножками, а внизу на ножке поблескивал зеленый крап, травка, значит, и к ножке приделана медная проволока, чтобы обмотать ее вокруг толстой колючей ветки; фонарики, собранные из стеклянных трубочек, а внутри нежно сияло дутое стекло, вылитое в виде большого золотого зерна; плоских медведей, белок и рыбок из золоченого картона, на нитяных петельках; шары, отливающие морской синью и лиловой, в сизом налете, сливой; стеклянные часики, посыпанные сверху блесткой стеклянной крошкой, это снегом, так выходит, и навек на часах тех застыло священное время — без пяти минут полночь; полые внутри, нежнейшие лодочки с ватными гребцами, а вместо весел у них в руках промасленные щепочки; и вот под руки ей сама скользнула громадная, как сама никчемная промчавшаяся жизнь, золотая еловая шишка, а крепленья-то у нее не было, чтобы ее к ветке прицепить; и Вера смущенно и горестно оглянулась на хозяйку: «А эту куда?» Старуха через силу махнула рукой, и Вера проследила

направленье ее сморщенного указующего перста: на верхушку. Старые мокрые глаза умиленно глядели, как Вера, опять по-детски встав на цыпочки, вытянувшись вся, надевает, натискивает чудовищную золотую шишку на елкину макушку. И, когда шишка была надета благополучно, Вера отступила в сторону, шагнула широко и чуть не упала, чуть не свалилась на наполовину наряженную елку. И обе ахнули от ужаса: сгинет! — а потом от восторга: цела! «Елка это госпожа, она любит богатые украшения, привереда», — бормотала Анна Власьевна сквозь остатки зубов, и Вера еле разбираала слова.

А когда ель была Верою наряжена целиком и полностью, Анна Власьевна вдруг прищурилась непонятно, скорбно закусил рот, щеки ее впали внутрь черепа, под зубы, лицо пострашнело, и с губ ее слетели слова уж совсем Вере непонятные: «Снимай... все снимай... обратно... в коробку клади!» Как, все игрушки снимать, изумленно переспросила Вера и обвела елку потеряннм жестом, будто прощалась с ней. Да, да, кивала старуха, все, все!

И Вера, с дрожащими губами, столь же осторожно, едва дыша, снимала игрушки с ветвей: отстегивала замочки, развязывала завязки, стаскивала петли, разматывала старую медную проволоку. Все игрушки вскоре лежали в ящике и молчали. Вдруг сверкавший наверху блестящей драгоценной кучи фонарик свалился вниз, в прогал между стекляшек, и легкий звон ясно дал Вере понять: разбился.

Старуха велела укутать голую черную ель в белые кружева. И получилось так, будто елку замела метель; снежное кружево вспыхивало и мерцало, и плакала Вера, поднося ко рту больной мензурку со снадобьем, а старуха уже не могла глотать, и говорить не могла, могла только смотреть, слезно и благодарно. Губы еще шевелились, а слова умерли. Глаза вспыхнули напоследок. Руки лежали на груди бездвижно. Вдруг палец согнулся и слабо, нежно поманил Веру. Вера наклонилась и поставила ухо ко рту Анны Власьевны. Старуха чуть слышно шептала: «Е-ру... са-лим... Еруса... лим... Ты... за... ме-ня... ту-да... сту-пай...»

Так, с легким выдохом: «Е-ру... са... лим!..» — и застыли круглое крупное лицо и тяжелые, лежащие двумя могучими осетрами на крупной груди, опухшие руки — эти пальцы, Вера видела, вывязывали снег и лед, облака и ветер, они вывязывали, плели счастье, и никто из людей это нежное счастье в глаза не видел. Застыло тело; оно, грузное и крупное, показалось Вере огромной енисейской баржей, приварившейся на всю долгую, вечную зиму к берегу, вмерзшей в твердый белый гранит льда. А душа, где она? Куда же девается все-таки эта душа? Ведь есть она внутри Веры, есть! Вот же, под рукой бьется!

Вера прижала левую руку к груди. Слева и правда билось, оголтело и больно. В чужом шкафу Вера слепо нашаривала чужие лекарства, ей было все равно, что — капли, таблетки, — она глотала горечь, и ей хотелось жить. Жить, еще немного! Еще чуть-чуть пожить! Не уйти! Как все они!

...как все они.

...а ты разве как они?

...сочтены твои дни. Погаснут твои огни. Не хочу гаснуть. Я хочу, чтобы всегда. Все люди умирают? А я останусь. Что надо сделать, чтобы не умереть? Сидеть дома, чтобы не убили? Не ездить, чтобы не разбиться? Какое хрупкое тело, стекляшка, фарфор. Дрянь жизнь, если она такая хилая.

...время — вот кто убьет...

...неужели нет ни одного человека на свете... ни одного, чтобы — жил всегда... вечно...

...а — Бог? Кто такой Бог? Кто бы объяснил.

Вера мало читала книжек. Она все больше листала журналы. В красивых журналах печатали про модную яркую жизнь. Вера разглядывала голоногих девиц с яркими ртами, дивилась на заграничных актеров, что то женились, то разводились, то опять играли пышные, на полмира, свадьбы. Вечерами смотрела телевизор, рассеянно следила, как по экрану бегают человечки, взрываются бомбы, вырастают из-под земли дворцы, крепко целуются мужчины и женщины, а потом мужчины жестоко бьют женщин, а потом опять обнимают и даже встают

перед ними на колени. «Е-ру-са-лим, Е-ру-салим», — шептала Вера себе под нос, без мыслей глядя на шевелящийся экран, потом выключала говорящий и танцующий ящик, шла на кухню, вынимала из холодильника копченого чира, отрезала от него дрожащий, как холодец, жирный пахучий кусок и среди ночи ела вкуснейшую рыбу, и запивала горячим сладким чаем, и обжигала язык. Жизнь! Прекрасно было жить, есть чира за полночь, глядеть дурацкий журнал с нагими моделями; но в углу вьюжно и бессмертно мерцало последнее старухино кружево, и жизнь текла и утекала прозрачным, тончайшим кружевом между пальцев, лилась и струилась, и вспыхивала ночным бешеным светом уже у тебя за спиной, и Вера старалась оглянуться, пыталась вывернуть шею, чтобы краем глаза схватить, уловить этот исчезающий свет, а его уже не было, и следы Веры на зимней дороге уже заметал снег, и невозможно было вернуться, найти под покровом свой след, надо было ступать по чистому снегу, по насту, по зеркальному льду, и Вера боялась поглядеть вниз, себе под ноги: она страшилась увидеть свое отражение. Ты завтра будешь старая! И все кончится. Брось, не обманывай себя! Ты старая уже сегодня!

Вера или слышала, или читала, или видела в телевизоре, или же ей кто-то рассказывал, что есть такое место на земле, может, город, а может, деревня, а может, это было древнее поселенье, а сейчас нет его на земле; нет, есть, перебивала она сама себя, еще как есть! — и повторяла и про себя, и вслух дрожащими губами: Еру-салим, Еру-салим, — пока на странице случайно купленной в киоске газеты не прочитала, черным по белому: «ИЕРУСАЛИМ», — а что-то в газетке такое было оттиснуто про то, что в Иерусалиме этом самом взорвали бомбу на свадьбе, и много народу погибло. Вера узнала, что в Иерусалиме живут евреи; да разве же Анна Власьевна еврейка была, смутенно бормотали губы Веры, она ж из Вологды, она ж русачка подлинная, кружевница моя дорогая! — и тут Вера заливалась слезами: Анна Власьевна стала ей вроде матери, так она за этот год присохла к ней душой. Вера еще расспросила людей, спрашивала

всех, и соседей изо всех подъездов, и народ в очереди, и торгов на рынке, и даже детей, из школы бегущих домой: а что за город Иерусалим? а кто там живет? а что там такого дивного, удивительного, — и думала со страхом и досадой: почему о нем были последние слова умирающей Анны Власьевны, и почему она сказала ей: «За меня туда ступай». Как приказала.

Она все повторяла и повторяла, про себя, шепотом, мысленно: «За меня туда ступай, ступай, ступай», — пока однажды, зимней ночью, вот сейчас, сию минуту, она устала это повторять. Стояла около окна, и эти, уже надоевшие, слова тихо угасли в ней, а взамен явилось сильное чувство, и бороться с ним она вовсе не собиралась, наоборот, с радостью склонила голову, этой силе подчиняясь. Она чувствовала: вот теперь надо собираться, и уже огляделась, ища глазами вещички, что посует в дорожную сумку.

Опять посмотрела в большую черную, квадратную купель окна. За стеклом тускло вспыхивал и гас под фонарем снег. Она вспомнила себя ребенком. Мать везла ее в санках из бани, крест-накрест повязанную старой дырявой козьей шалью. Мать туго стягивала шаль, туго-натуго затягивала крупный шерстяной узел на спине тощей малявки, грубо усаживала ее в санки, всовывала ей в руки, в неуклюжие варежки, сумку с бельем и, согнувшись и низко опустив голову, как нагруженная поклажей лошадь, везла чистую дочь домой, волоча санки за бечевку. Вера глядела по сторонам; мать и правда казалась ей лошадью. Полозья санок расчерчивали белый ковер снега, он швырял Вере в румяное, распаренное лицо алмазные искры, он весь был алмазный, все вокруг сверкало царским блеском, аж больно было глазам, Вера жмурилась и беззвучно смеялась. Мать, обреченно таща санки, оборачивалась к Вере и выплевывала сквозь зубы: «Дура она и есть дура!» Вера не обижалась: мать только с виду была сердитая, а по-настоящему добрая; на Пасху она сама пекла в духовке похожий на кривую папаху кулич и луковой шелухой красила яйца, и нежно гладила их, и повторяла: «Вот, доченька, Христос все равно воскрес, все равно». И Вера верила

этому, а потом не верила. Все, кто умирал в ее жизни, не воскресали. Не воскресал никто.

Однажды они с матерью — ей было лет десять — поехали из Красноярска в гости к материной сестре, еще живой, в городок Лесосибирск, это там, где Ангара в Енисей впадает. Верина тетка называла этот городок другим именем — Маклаково. «Что такое Маклаково?» — спросила Вера. «Это ад на земле», — просто ответила тетка. Ее руки работали: быстро тянули шерсть, быстро вертели веретено. Вера впервые видела прялку, тарачилась. Она вспомнила, как мать называла адом непонятный Туруханск. «Что такое ад? Почему ад?» — «Здесь людей мучили и убивали. Мёрли тут люди, ложились в землю штабелями». — «Почему они ложились штабелями?» — «Потому что люди всегда убивают людей». — «У нас в школе никто никого не убивает! И в доме тоже!» — «И сейчас убивают. Только мы про это не знаем». Веретено чуть слышно жужжало, Вера пристально смотрела в опухшее, с тремя красными язвами на подбородке, суровое лицо тетки. «А тут кто кого убивал?» — «Люди людей, я же сказала тебе». Вера стала слушать шорох веретена и заслушалась. И больше не говорили они ни про каких мертвецов.

А после Вера с соседскими детьми пошла играть к Ангаре, река влекуще-синим, холодным светом текла за сараями, за крытыми жостью избами и баньками. Дети выбежали на луговину, под ними круто обрывался к реке откос. Мальчишка, стрижка бокс, бросил, громко шмыгая: «Ну чо, в футбол?» Какой футбол, пожала плечами Вера, а мяч-то где? Стриженный ринулся в тень сосен, носком ботинка выкатил из-под голых, облизанных ветром корней человечесий череп. «А вот мяч! Мы тут всегда черепами в футбол играем!» Дети громко захохотали и подбежали к страшному костяному шару. Пнули его раз, другой. Белый высохший шар покатился, пугая дырами глазниц. Вера повернулась и побежала прочь. Она подбежала к соснам, запнулась об корень, растянулась на земле, на сухих иглах, подползла к сосне, вцепилась в рыжий ствол руками, щекой прижалась к земле, слезы катились, ее рвало, дети глядели

на ее спину, что тряслась, будто Вера была ковер, и ее выколачивали.

Мать сказала ей, что близ села Маклаково в стародавние времена возвели лагерь смерти, там люди работали принудительно, и сбежать оттуда нельзя было; кого забили насмерть, кого застрелили, кого ножами порезали, кто с голоду умер; выжили единицы. Говоря это всё, мать вытирала слезы большой и плоской ладонью. Потом приблизила рот к щеке Веры и прошептала: «И отец твой, верно, на северах так и сгиб». При слове «отец» Вера вздрогнула, но не сказала ничего.

А тетка Верина в том лагере одно время работала главной поварихой. Варила людям суп в громадных котлах. Продуктов на суп выделяли мало, и тетка смеялась: «Хоть от себя кусок отрезай да вари, чтобы вышло наваристей».

Вера ничего этого не знала. Всё, как в шкатулках, хранилось в матери и тетке — и ушло в землю вместе с их жизнью. А у Веры была одна жизнь, и она была ее собственная.

Как всем людям, Вере не верилось, что она когда-нибудь умрет. Люди умирали вокруг нее, а ей казалось: такого с ней никогда не случится, со всеми — да, а с ней — нет.

И вот стоит она у черного, в алмазную ночь, окна, и за укрытыми парчою куржака крышами домов и столбами фонарей курится страшный водяной вулкан, близкий Енисей, и спрашивает Вера сама себя: да на черта поедешь ты, потащишься в какой-то неведомый Иерусалим, а может, и пешком пойдешь, ведь на билет у тебя денег нет, дорогой туда билет-то, как пить дать, дорогой! Бесценный!

Бессильно оглянулась. Да, вот эту тряпку взять, и эту, и эту; теплый свитер в дороге нужен, и теплые носки пригодятся, и теплый шарф; ту детскую шаль, что узлом на спине завязывала на ней мать после бани, давно уже на свалке с другим мусором сожгли. А летнюю кофту? И летнюю взять: там ведь юг, в Иерусалиме этом. И, может, взять даже сарафан. Он висит в шкафу. Мылом пропах, она от моли мыло в шкафы кладет; так делала ее мать.

Чем старше Вера становилась, тем больше повторяла мать — делами, ужимками, даже говором; ловила себя на этом и гневалась на себя: она хотела быть сама своя, неповторимая.

Пятилась от окна. Присела. Вытащила из-под дивана материнский чемодан. Вот в Лесосибирск с ним и ездили, а больше с тех пор — никуда; да, никуда не выезжала из своего города Вера, из своего дома, из жизни своей.

— За меня туда ступай, — тихо, а ей показалось, громко, и испугалась, что соседей перебудит, произнесла Вера.

И сама себе ответила:

— За тебя туда пойду.

Отвернулась сердито от лохматой белокозой зимы, следящей за ней из окна. Открыла дверцу шкафа, стала кидать вещи на пол, рассматривать придирчиво. Откладывать, какие с собою возьмет. Вдруг из угла, из-за свернутого в рулон старого ковра, медленно махая сонными крыльями, вылетела большая бабочка. С ее крыльев на Веру смотрели два круглых черных глаза в золотых ободках. Бабочка села на занавесь, уцепилась лапками и так, свесив брюшко, сидела. Замерла. Вера тоже замерла. Глядела на бабочку.

— Ну ты-то еще тут зачем!

Хотела тихо сказать, не спугнуть, а получилось — вскрикнула. Бабочка вздрогнула крыльями и взлетела со шторы. И стала нервно, безумно порхать по комнате, биться в стены, подлетала к окну — оттуда шел белый призрачный свет, и она рвалась к свету. Осыпала с крыльев серебряную пыльцу. Гасли черные очи в золотых кругах. Дрожала все сильнее. Дрогнула крыльями последний раз и упала на пол. Вера, стараясь тихо ступать, подошла к бабочке и наклонилась над ней. Будто кланялась кому-то в пол, земным поклоном. Вступило в спину. Боль скрутила. Вера вскрикнула. Протянула руку и осторожно взяла бабочку двумя пальцами. Положила на ладонь. Выпрямилась, ко рту поднесла, дышала на нее.

— Слушай-ка... ты чо... и правда умерла... ну ты чо... ты чо...

Бабочка лежала у нее на ладони, скрючив брюшко, поджав под себя бледные лапки. Изнанка ее крыльев была нищей и тусклой. Смутно просвечивал через бледную пыльцу яркий рисунки лицевой стороны.

— Бедная ты... бедная...

Вера чуть было не добавила: «Как и я». Еще тепло подышала на бабочку. Всё. Бесполезно. Труп. Трупик.

— Куда тебя?..

В мусорное ведро — жалко. Сначала хотела в шкаф с посудой; туда, где сервиз; в коробочку, где лежали рассыпанные материнины агатовые бусы. Передумала. Подошла к окну; поднялась на цыпочки; отворила форточку; стала коленом на подоконник, еще подтянулась, дотянулась до открытой дыры в ночь и перевернула ладонь. Вьюга подхватила бабочку и понесла ее, обнимая весело вихрящимся снегом. Вере почудилось, что снег тихо гудит, как теткина прялка. «Все умирает. И прялку сожгли. Кто тут будет жить после меня, если со мной что? Одинокая я. Может, дитёнка на воспитание взять?»

Она следила, как медленно вьюжный вечер уносит во тьму еще одну чью-то душу. Мать говорила: бабочка — чья-то душа. И птица — чья-то душа. Бабочка прилетит — весть, знак: душа о тебе помнит. А птица на карниз сядет, клювом постучит — это значит, тот, кто умер, к тебе сегодня стучится.

Вера села на корточки, открыла замки чемодана, откинула крышку и стала собирать вещи в дорогу. Аккуратно укладывала кофты, юбки, белье. Закрывает чемодан, взяла за ручку, подняла. Поморщилась: тяжелый!

— Да кто же в такую дальнюю дорогу с чемоданом-то... руку оттянет... живот надорву...

Из тьмы шкафа вытащила свой старый, детский ранец. С ним — в школу ходила. Утолкала в него тряпки. Прodela руки под ремни. Стояла перед зеркалом, смотрела в его то серебряный, то угольно-черный прогал.

— Ну вот... Так-то лучше... руки свободны. Но смешная...

Смешная, воистину смешная! Старая, а девчонка! Не каждому дано такое. А вот она такая. Сама себе улыбнулась. Улыбка прорезала слои серебряной тьмы и вонзилась в тупое, глупое стекло. Оно стекало струистой водой, отражало Верину дрожь и Верино предчувствие боли и радости. Путь, что он сулит ей? Могучая земля выгнется под ее старыми сапожками, и пойдет она по этому мощному выгибу, шатаясь и восхищаясь, да не за что будет держаться, совсем не за что. И запросто можно упасть и разбиться. Нет. Не разобьется. Ее, как ту бабочку, ветер унесет.

Повертелась перед зеркалом. Пригладила волосы. Сообразила, что стоит, с детским ранцем за плечами, — в ночной рубашке. Ворот рубашки и ее раструбы-рукава оторочены кружевом. Опять кружево. Везде кружево. А может, она не человек уже, а елка, и колючки топырятся, и игрушек на ней никаких нет, украшений, серег и цепочек, и только кружевом ее и можно — до глотки — замотать?

— Я... горло... да... с собой взять...

Подкралась к елке, обмотанной прозрачной снежной, легчайшей паутиной, как белой пеной; стащила белизну с черных ветвей. Уколола иголкой палец. Рассмеялась неслышно. Так стояла — со смотанным в неряшливый, мягкий клубок кружевом мертвой старухи, в чью честь она отваживается на дальний, долгий путь, глядела на кружево и осызала его нити, неровности и рельефы кончиками пальцев. Зачем еще эта нитяная метель ей в дороге? Что ее разобрало? Но, не останавливая себя и не отговаривая, она скинула ранец с плеч, смяла в комок и затолкала кружево в заплечную суму, и оглядывалась, будто кто подсматривает, и шептала сама себе: пригодится, в дороге все пригодится.

Защелкнула замки, затянула на ранце ремни. Распрямилась. Опять на себя в зеркало глядела. Лицо ее было похоже на поросший пестрыми перьями лик северной совы. Круглые глаза стыли. Чуть крючковатый нос свисал над губою. Бровей почти не было — выцвели, выпали. Тонкий рот поджат, будто собиралась длинно и нехорошо ругаться или кого дрянного презирать.

Одинокая уродина, спокойно, совсем не горько подумала она про себя, вот и пойдёшь в мир, вот и поезжай, развеешься хоть, да хоть на красоту посмотришь; не видала ведь ничего, запечная тараканица.

Сиянье в гладком стекле, оно отражает не тебя, замухрышку, никому не нужную Веру Сургут, а то, что есть самого драгоценного в тебе: то, о чем ты сама не догадываешься, но что сквозь тебя просвечивает, в особенности глубокой зимней ночью. А где денег взять? На дорогу, да, на проезд? Смутно она представляла себе: Иерусалим — это на другом конце света. Если пешком идти, ноги в кровь собьёшь, даже и без железных башмаков. У нее есть пенсия; это то, что платит ей ее страна, чтобы она не умерла с голоду. Еще она может подработать. Пойти и разгружать ночью машины с хлебом, что приходят к булочным и стоят перед открытыми дверями, и мороз нагло врывается в каменную коробку вслед за лотками с теплым хлебом, вслед за людьми. Беда только, грузчиками лишь мужчин берут. Баб не берут. Ну, может, берут, в виде исключения. Еще можно поработать нянькой. Она работала. Ребенок орет благим матом, а ты сначала его за руку трясешь: «Хватит! Прекрати!» — потом на руки берешь и тетешкаешь, и подбрасываешь, чтобы он сотрясся и задремал, а потом, когда у тебя уже совсем ничего не получается, можно дитё напугать: сдвинуть брови, оскалиться и зверем зарычать, а после воскликнуть: «Волк идет! Брось плакать, а то он тебя съест!» Иногда волк помогал. А иной раз слезы у дитёнка лились еще пуще. Стой! А можно просто занять!

Занять-то ты займешь, да кто тебе даст?

«Съисть-то он съисть, да хто ж яму дасть», — вспомнила Вера, как тетка на Ангаре говорила смешную старую пословицу, а потом небольно, но обидно шлепала Веру по тощему задку.

И тут она, как наяву, увидела перед собою знакомое лицо. Лицо старушки Расстегай, подружки покойной Анны Власьевны.

Старушку Расстегай так прямо и звали все: старушка Расстегай, и никто не знал, прозвище ли это было или настоящее ее имя. Она жила в домике напротив, близ заброшенного детского

сада, и домик этот люди надменно называли «собачьей будкой». Старушка Расстегай исправно ходила в храм, все стены ее домика были увешаны лубочными иконками, бумажными образками. Из книг на старой, крашенной морилкой этажерке лежали: Ветхий Завет, Новый Завет и Псалтырь. Перед особо большой, на полочке в красном углу стоящей иконой Божьей Матери Казанской горела красной ягодой лампада. Горела всегда. Старушка Расстегай себе хлеба не купит, а маслом лампадным в церкви запасется.

— Да, вот к ней и пойду... она подскажет.

Насилу зари дождалась.

Как посветлело туманное небо, подернулось белесой, словно инистой дымкой, Вера повязала с кистями платок, белый как метель, усыпанный ткаными яркими розами, всунула ноги в зимние короткие сапожки, еще материнские — она много чего донашивала за матерью, — накинула на плечи старую дубленку с рыжим лисьим, долыса вытертым воротником и отправилась к старушке Расстегай. Чтобы к Расстегай попасть, надо было лишь дорогу перейти.

«Вот бы так и в Иерусалим этот попасть: раз, и в дамки. Нет, за ста землями он!»

Сдернула варежку и постучала. В руку зубами вцепился мороз. Костяшки пальцев заболели от стука.

Стучала смело — в окне у старушки Расстегай горел свет, она вставала ни свет ни заря и молилась.

Шарк-шарк — раздавались за дверью шаги.

— Кого Бог послал раненько?

Тонкий голос звучал весело и безбоязненно.

— Бабушка, открой! Это я, Вера.

— А, Верушка! Ранняя пташка!

Мгновенно распахнулась дверь.

— А ты что, бабушка, на ключ не запираешься?

— Однако только на крючок! Однако кому я нужна, старое базло!

Вера нашарила на полу голик и им отряхивала сапожки от снега. Старушка Расстегай умильно глядела на нее. Ее круглое раскосое лицо катилось на Веру, как с тарелки печеное яблочко.

— Да хватит, хватит! Обувку не сымай! Проходи! Каво явилася? Я-то щас помолюся — да в храм, к ранней обедне! А ты ка-во? Случилось чо?

— Нет, бабушка! — Спихватилась. — Да, бабушка. Я... за со-ветом. И за помощью.

— Ах ты душечка! Да разве ж я молодым помочница! Это я тебя должна просить мне помочи! Ну ты давай... однако к сто-лу... чайку... у меня чайник горячий... только накипятила...

Старушка Расстегай швыряла на стол, укрытый ветхой, в старых винных пятнах, скатеркой из буфета, похожего на ржавый танк, битые блюдца, щербатые чашки. Из завароч-ного чайника лилась, вилась темная струя. Вера понюхала чашку.

— Бабушка, у тебя, как всегда, на травах.

— Да, миленькая! Да, солнышко! А без трав-то мы куда! Да никуда! Это однако здоровье! А сахарок у меня скончился! Вон, в чаёк-то жимолось швыряй!

Перед Верой на столе, укрытом скатертью с аппликациями, стояла вазочка с темным, почти черным вареньем из жимолости. Длинные ягоды, похожие на длинный черный виноград, высовы-вались из густого сиропа, дразнили. Вера подцепила варенье ложкой и положила не в чай, а себе в рот.

— М-м-м... вкусно... сама варила, бабушка?

— Нет! Добрые люди принесли! добрые, вроде тебя!

— А я — добрая?

Вера спросила даже не ее — себя спросила.

И думала: «Добрая я или нет? Добрая или нет?»

— Ты-то? — Старушка Расстегай весело всплеснула коротки-ми ручонками. — Еще какая добрая! Однако добрая, да! Вот мне одеяло подарила! И мне под им тепло!

Вера покосилась на топчан со свернутым в огромную колбасу стеганым одеялом.

— Я рада, бабушка, что греешься ты.

— А это чо, твое детское?

— Ну да. Меня им — мамка в детстве укрывала.

— Вот-вот, а щас старенькая Расстегайка укрывается... все чин чинарем!

Вера осмелилась. Нырять, так головою в омут.

— Бабушка. Анна Власьевна мне... — Слово искала. — Завещала... В Иерусалим сходить.

— Сходить?!

— Ну, съездить. Какая разница.

— В Ерусалим!

— Ну да.

— В Ерусалим!

— Да! Да!

— В Ерусалим!

— Да Господи, да что ж такое в этом Иерусалиме?! — тоже ошалело закричала Вера. — Вообще, что это такое?! Город?! Деревня?! Зачем Анна Власьевна меня туда перед смертью послала?!

Вера кричала, как на пожаре. И опять она это кричала не старушке Расстегай, а будто бы самой себе. Самоё себя пере-кричать пыталась.

— В Ерусалиме?! Да разве ты не знаешь?!

Обе орали.

— Нет! Откуда мне знать!

— Да врешь ты всё! Знаешь! Со мной играешься! С бабкой старой, постыдилась бы!

Вера и вправду покраснела, до удушья.

— Не играюсь я с тобой! Я в газете читала, это в Израиле! Где евреи живут!

— Евреи... Да ты чо! Евреи евреями, а Храм Гроба Господня там! Там! И часовня на Елеоне — там! И Гефсиманский сад там! И Иисус там последнюю муку принял! Там — Распятие воздвигли!

Там! Распяли Его на кресте! Пригвоздили! И кровушка с ладоней текла! И из ног Его пробитых текла! А ты притворяешься тут мне! Эх ты!

Старушка Расстегай рассердилась не на шутку.

Вера верила этому гневу. Она почувствовала себя неучем и дубиной, и опять ей было стыдно, как было стыдно часто, почти всегда. Иногда она стыдилась даже того, что живет. «Вот, живу на белом свете, небо копчу, а кто я такая? Ну кто, кто я такая? Зачем — я?»

— Да ты крещеная, Верушка, или некрещеная? — прекратив вопить, деловито осведомилась старушка Расстегай.

Вера опустила голову.

— В детстве... знаешь... я спала в кроватке такой, ну, знаешь, не доска, не пружины, а внизу, под матрасом, сетка. Крупная сетка такая. Как рыболовная... но... железная. И...

— Ну, спала, спала! Все мы спим! — насмешливо склонила старушка Расстегай к плечу свою круглую яблочную головенку. — Я тебя про другое спросила, душечка!

— И я спала... а подо мной... ну, к этой сетке железной... привязан крестик был. У него такие концы, знаешь... не длинные были... а вроде как скругленные.

— Какой крестик? Почему привязан?!

Расстегай опять сорвалась на крик. Она честно ничего не понимала. А Вера пыталась объяснить.

— По тому по самому! Я только потом догадалась, ну, когда выросла, что это мой крестильный крестик! А носить нельзя было, ну, мать к койке моей и пришпандорила! Подо мной мотался. Ну, дескать, я сплю, и крест мой меня охраняет! Поняла?!

Расстегай заткнула крошечными, как у ребенка, пальчиками уши.

— Поняла, не ори ты! Это ты меня перед обедней так вздрючила! Грех какой! И чо ты мне хочешь сказать? Крещеная ты, однако дошло до меня! — Тут Расстегай осенило. Она помрачнела вмиг, ее пальчики слепо искали чашку с горячим чаем и не могли нашарить. — А может, это чей другой крестик там у тебя мо-

тался! Может, с ним мамке твоей кровать продали! С рук у кого приобрела! Чай, беднячка мамка-то была твоя! Как пить дать!

— Пить дать, — растерянно и тихо, эхом, повторила Вера — и прихлебнула терпкий, пылающий огнем в щербатой чашке травный чай.

— Пей, пей! Я тут и стланик заварила, и верблюжий хвост! Пей!

— Верблюжий... хвост?..

Вера брякнула чашкой о блюдо. Чай выплеснулся на скатерть. Рядом с красным винным расплывалось коричнево-зеленое чайное пятно.

— Травка такая, дурешка... наша, саянская... Ить, никак ты не знаешь...

— А зачем ты меня спросила, крещеная я или...

— За надобой! Ить в Ерусалим побредешь! По льду, по снегу, однако... А ты знаешь каво? а вот и не знаешь! Там, рядышком, говорят... это... Мертвое море! Мыслю так, в этом море-то погибают все жуткие грешники! Немыслимо кто нагрешил на земли! И Юдушку там утопили! Посля таво, как он повесился на дереве! Правда, — Расстегай шмыгнула и отпила чай, — и другое болтают. Якобы Юдушку бросили в овраг, куда дохлую животину бросали, на съедение псам... и мухам, язви их!

— А Юдушка это кто?

Вере снова было стыдно спрашивать, но спрашивать надо было.

Расстегай взбросила крохотные детские ручонки. Ее морщинистые губы согнулись скорбной подковкой.

— Господи! Твоя святая воля! Юда, ну, Юда! Предал он Господа нашего! Ну вот же!

Расстегай будто ветром выметнуло из-за стола, она подкатилась на коротких ножках к этажерке, крашенной морилкой, подержала на руках одну тяжелую древнюю книжку, другую, помотала головой, подбежала к буфету, рванула стеклянную дверцу, нашарила среди чашек и плошек старое толстое, распухшее от тысяч листавших его пальцев Евангелие, шелестела

страницами; нашла, что искала. Тыкала книжищей в нос смущенной Вере.

— Вот, вот! Юда! читай!

Вера уставилась в книгу.

— Вослух!

Вера взяла книгу из рук старушки Расстегай и начала, запинаясь, читать.

— Когда же настало утро, все перво... священники и старейшины народа... народа... имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и... предали Его... Понтию Пилату, пра... правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сере... сре-бре-ников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь... невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и... и...

— Ну чо и? Чо и? Чо замолкла?

— И... удавился.

— Видишь! Видишь, голубонька, чо происходит-то! Удавился он, пес таковский! Так ему и надо, псу! Пес он и есь пес! Смердящий!

Вера не знала слова «смердящий», но как-то быстро догадалась, о чем оно.

— Собак не обижай, бабушка.

— Дык я и не обижаю! Это Юдушка пес!

— А зачем же ты его так ласково называешь, Юдушка, если он такая сволочь?

Старушке Расстегай нечего было ответить на эту правду. А может, просто расхотелось говорить. Обе прихлебывали чай с верблюжьим хвостом молча, сосредоточенно, и в воздухе раздавались чмоканья и нежное дутье на горячие чашки. Но остывал чай, и стыло, как на морозе, черно-синее варенье с друзьями крупных длинных таежных ягод; и стыло время под грудиной, под ребрами. У Веры сильно, часто забилося в груди, и она охнула и прижала к кофе ладонь.

— Сердечко прихватило? — понятно, тоненько спросила Расстегай. — А у меня валидольчик есть! Однако дать?

— Да само пройдет, — Вера ловила ртом воздух, — немного побьется и пройдет...

— Каво ж ты, такая болезная, в такую далекую дорожку от-правишься! Может, не потащишься в Ерусалим? Зимка... хозяин собаку на двор не выгонит... а далече! Ох, далёконько тот Ерусалим-то! дальше Байкала, небось! дальше Урала!

Вера, глядя перед собой твердо, мрачно, сжала губы так плотно, что они склеились в тонкую нить.

— Нет. Пойду. Бабушка, я пообещала. Анна Власьевна зачем-то мне это... — Она опять искала слово и опять нашла. — Завещала. — Обрадовалась слову, как потерянному и найденному ребенку. — Завещала! Я выполню ее завещание.

— Да, — прикрыла ладошкой рот Расстегай, всхлипнула, — она, Анночка-то, была тебе прямо-таки как мать... за мать...

— Мать одна, — твердо, так же железно, перед собою сурово глядя, сказала Вера, — у меня одна мать. Но завещание Анны Власьевны исполню. И... Иерусалим посмотрю. А Бога... — Она сглотнула: стыдно было говорить про Бога, она ведь совсем не знала Его. — Бога правда там распяли?

— Да! Да! — Расстегай обрадовалась этому вопросу, как подарку. — Ну да! Правда! Он туда пришел и проповедовал там! Учил! Народ учил, безмозглых скотов, мы ить многие, кто Бога не знает, скоты...

— И я — скот?

Вера хотела спросить серьезно, строго, но ей внезапно стало смешно.

Старушка Расстегай, склонив к плечу круглую голову, глядела беззлобно.

— А каво ты так вылупилась? Обидно? Скот он и есть скот; он — живнось. Он — святой, скот! Да только ить безмозглый. Мозгов-ить у него хватает на чо? пожевать, пожрать, зачать, родить, да помереть — под нашим же ножом. Ах, скотинка! Понимает все скотинка, когда ее на смерть ведут. Глядит таким гла-

зом... сливовым... Вот ты на бойне когда была? А? Никогда? А я была. Не приведи Господи тебе там побывать! Я там — уборщицей работала... Везут скотинку в клетках... коровы, быки таращатся, чуют, их убьют сей же час... Убьют! Нет, ну ты, однако, пойми: убь-ют! И они... в отличие от нас, душечка... не воскреснут! Нет! Никогда не воскреснут! Хоть и Божьи твари!

Вера зажмурилась. Она вообразила себя Божией тварью. Коровой бессловесной, издающей лишь гулкое глухое мычание. И хлещут ее кнутом; и доят вечером; идет она не за дудкой пастуха, а за звонким его криком — дудки умерли и все закопаны в лесах, в полях и за околицей; и ищет корова широким, как лопата, носом яркую свежую траву; а не находит, так губами жалкую, сохлую щиплет.

И страшно, дико и радостно стало ей, что она не корова, а человек.

...Расстегай, я не корова...

...а кто я?..

...если бы знать...

Встала, вылезла из-за стола. Перед глазами мотались неведомые, как из ночного сна, желтые и серые здания, похожие на соты. Они то разрушались, то восставали из мрака и праха. Вера помотала головой, чтобы отогнать видение, как зимнюю медленную муху. Старушка Расстегай беспомощно крикнула, будто с того света:

— Куда, куда! А чаёчку еще! С верблюжьим хвостом, хвостиком душистым!

Вера все крепче, суровее увязывала белый свой, снеговой платок вокруг горла.

— Нет, бабушка. Спасибо. Пойду собираться. У меня уж башка плохо соображает. Надо все терпеливо собрать. А дорога дальняя.

Расстегай согласно кивала. Так смешно и глупо кивали белыми звонкими пустыми головами на тонких шеях фарфоровые китайские бонзы — их красноярские женщины покупали в подарок мужьям и детям к Новому году на Восточном рынке: потешить, развеселить.

Тихонько подкатилась старушка Расстегай к тумбочке рядом с топчаном. Цапнула, будто птичку поймала, с тумбочки книжку. Размахренную, расхристанную! Гладила ее, дула на нее, будто на болящие открытые раны, и боль надо было сдуть, как пыль. Поднесла к лицу, поцеловала, прижалась к коже переплета лбом.

— Верушка! Держи. Это тебе!

Вера бережно приняла книгу на протянутые ладони. Рассматривала. Листала.

Желтая бумага кое-где рассыпалась от старости. Осыпалась бабочкиной пылью.

— Что это, бабушка?

— Это-то? Ох ты! Верушка! Каво, читать не умеешь, однако! Евангелие это, вот это чо!

— Бабушка, — Вере было стыдно до слез. — Что такое Ева... Евангелие?

— Вот и узнаешь.

Расцеловались троекратно. Расстегай целовалась как ребенок: вкусно, упоенно. Вера едва прикасалась губами к морщинистым круглым щекам. Мелькнула мысль: «Увижу ли Расстегайку, когда вернусь? а вдруг помрет?» И следом забилося в висках: «...если вернусь». Высохшая лапка старушки Расстегай голубем взлетела над ее круглым тельцем и быстро, весело перекрестила Веру. Вере почудилось: Расстегай вышла из призрачного тела, и живой душой летает под потолком, и пляшет, и смеется от радости, что Вера едет в Иерусалим, и тело ее всего лишь сон, а душа — вот она, настоящая.

Собралась-то быстро, да надо было пенсии ждать; дождалась, а куда времечко от меня денется, все жестко шептала себе. Не думала, хватит, не хватит на билет до Челябинска: там дети лесосибирской тетки проживали, ее двоюродные братья и сестры. Два братца и сестра; их имена и фамилии были

у Веры криво и старательно записаны в старой, будто кошками общарапанной записной книжке. Мужики на букву «С», Соперниковы фамилия, баба на букву «К», Козлова. Рядом с фамилиями телефоны и адреса. Туманные мысли черными пчелами роились под черепом: дотрястись в вагоне до Челябинска и там у родни деньжат занять, чтобы дальше ехать. «Не дадут», — тоскливо думала Вера и пожимала плечами, будто стряхивала этой легкой судорогой налипающий чужой, обидный смех. «Сумасшедшей обзовут, издеваться начнут...» Мысли такие надо было ниткой обрывать, она и обрывала — как зубами с коклюшки Анна Власьевна нить скусывала.

Ни в коем случае нельзя было думать и о том, кто и как получит за нее, пока она ездит в Иерусалим, ее родную пенсию в стеклянном окошке на почте. Деньги будут наплывать, лежать, копиться; это ж все равно и не деньги никакие, а просто синие цифры, и отпечатываются на зеленых веселых страницах сберкнижки. Люди играют в цифры и промеряют ими жизнь, ее болютную глубину. Кому-то цифр не хватает, чтобы жизнь измерить; тогда люди кончают с собой, или болезнь борет их, валит и топчет. Около кассы на вокзале, где тоскливо и длинно гудят и поют поезда, Вера поняла: на билет до Челябинска хватило, и еще немного деньжат осталось. Она аккуратно положила сдачу и билет в паспорт и содрогнулась: на нее с паспортной страницы опять глянула злая умная сова, безбровая, круглоглазая.

Она стояла посреди вокзала, люди пчелами жужжали вокруг, но она их не видела и не слышала; стояла, как среди пустыни, и думала: закрыла она дверь на оба замка или только на один? До отправления поезда оставалось полчаса. Красной кровью мигало табло. Люди толкались около двери. Вера вышла на перрон. Слегка мело. Белое призрачное кружево обнимало Верины ноги в материных коротких сапожках. Снег налетал, набивался внутрь сапог, и даже толстые вязаные носки не спасали от сырого холода. Вера грела нос варежкой. Стояла в сторонке, пока все не сели в вагон. Проводница, малявка, строго поглядела на Веру снизу вверх, как сверху вниз.

— Ну и чо? Долго будем стоять? Или вы провожающая? Ждете кого?

— Никого, — железно ответила Вера.

Подошла, порылась в кармане и вытащила билет и паспорт. Протянула малявке.

Малявка долго изучала бумаги, сверяя тусклое фото с настоящим ликом Веры. Вернула документы.

— Ваше место тридцать восьмое. Боковое верхнее. Около туалета.

Вера медленно прошла в вагон, прошла его весь, насквозь, как трубу, гудящую и гремющую людьми и вещами, и перед самой стеклянной дверью встала, стащила с себя ранец и бросила его на верхнюю пустую полку.

Лежала. Молчала. Глаза уставлены в вагонный потолок.

Поезд трясет. Мотаает. Веки напolzают на зрачки, затягивают пленой.

Человек с закрытыми глазами перестает видеть мир и становится тем, кем он был до рождения: зверем, листом, камнем. Иногда ветром. Не чувствует тела. Реет, веет, несется. Вихрится. Мысли теряют оболочку слов. Это прекраснее всего. Такова смерть на вкус, ее можно попробовать, раскусить, проглотить, как коньяк в застолье.

Глаза закрыты, и приходят звуки. Они не всегда складываются в слова. Живут вне слов, сами по себе. Хотя понятен их смысл. Смысл без мыслей — это чувство. Чувствуй, и ты спасешься. От чего? От кого?

Есть тот, кто тебя подстерегает. На тебя нападет.

Его не надо бояться.

Если боишься — зверь напрыгнет первым и задерет, говори-ли ей бывалые охотники.

Вера иной раз чувствовала себя в жизни зверем. А иной раз — ловцом. И редко — человеком. Как зверь, она нападала

и убегала; как охотник, пряталась и стреляла. И редко — наблюдала. Она видела, как к ней подкрадывается ее старость. Старость невозможно было убить. Бесполезно было целиться. И двустволку свою она потеряла; и не помнила, когда. Может, когда, в слезах, подавала пить помирающей кружевнице из фаянсовой битой чашки горячее, цвета снега, молоко, с золотыми пятнами жира поверху.

Глаза закрыты. Поезд трясет. Тощее одеяло не греет. Куда ты едешь, Вера? Куда я еду? А Бог знает куда. И Бог знает зачем. Не нужно мне все это. Зря я все это затеяла. Да, зря, зря ты все это затеяла!

Тьма перед глазами. Такая вот тьма и за могилой, наверное. И кружевница лежит, и спит, и видит только тьму. И не видит она, как Вера едет в поезде незнамо куда. Значит, можно было никуда и не ехать. Никто бы ничего никогда уже не узнал. Что там узнаешь, в гробу, под землей? Кому все это надо, эта проклятая поездка?

Тьма мотается и вспыхивает под веками алым, желтым. Фонари за окном. Станция. Штор тут нет, есть только страшные кожаные шоры, их надо опустить на глаза лошадиного поезда, тогда он поскачет быстрее и не будет пугаться фонарных огней. Глаза приоткрываются. Открываются, две шкатулки со слезами. Распахиваются настежь, до отказа. Огни слепят, мелькают за окном. Состав тормозит, железные кости перестукивают, гремят. Стоп машина. Застыли вагоны. Зычный голос с перрона: стоянка пятнадцать минут! Что можно успеть за пятнадцать минут? Купить пирожок с ливером? Судорожно съесть на морозе? Запить нечем. Надо заказать у малявки чай или кофе. Тьма, я забыла взять с собою в путь воду в бутылке! Простую воду. Енисейскую, ледяную.

Лежи уже, дура. Не шевелись. Поезд стоит и пойдет. Победит дальше. Ты закроешь глаза опять. Под черными веками поплывут изгибистые красные письма. Золотые знаки. Ты будешь пытаться их прочитать. Напрасно! Ты же не знаешь, кто их начертал. Тебе их показывают; зачем? Зря или не зря? Все зря.

Нежная музыка звучит внутри тебя, это песня дороги. Ты трясешься в вагоне, лежа на верхней боковой, укрытая жестким тонким одеялом, и поешь по слогам, по кривым, изогнутым красным нотам песню своего пути. Когда-то письмамена оборвутся. И не прочтешь ни одной ноты. И не споешь больше ничего, так пой же сейчас!

Вера сама не замечала, как рот ее дрожит, а глотка выпевает смутные, нежные, хриплые звуки. Ее бессловесной песни не слышали попутчики: напротив нее, в плацкартном закутке, три мужика в солдатских гимнастерках резались в карты, на верхней полке скрючилась молоденькая девчонка: ее плечи и выгнутая колесом спина тряслись от рыданий, в такт вагонной тряске. Внизу, под Верой, бритый человек с колющим взглядом, зрачки как два острия вязальных спиц, добывал из котомки такое же лысое, как он сам, яйцо, вертел на столе, восхищенно шептал: «Крутое яичко, крутое! Как пить дать, не наврать, мать-перемать, крутое!» Людям не было дела до Веры. А Вере, вышло так, не было дела до людей. Люди сами по себе, Вера сама по себе. Никто ей не нужен. И она никому не нужна.

Так спокойнее.

Вера захотела по нужде и спустила ноги с полки. Ей было боязно прыгать вниз. Бритый дядька готовно подставил грубые заскорузлые руки. Он принял на них беспомощно падающую сверху Веру, как акушер младенца.

— Хо-хошечки, — воскликнул он довольно, — бабеночка! Держись на ножках, а то повалят!

Вера не хотела, а покраснела. Уселась за гладкий, поддельного мрамора, дорожный стол.

— А вы так и не спали? — спросила.

Бритый подмигнул.

— А с кем тут поспать? И поспать-то тут не с кем, жаль такая. Вот разве что с тобой!

Вера, на удивление легко, подхватила игру.

— Со мной не выйдет. Я колючая. Обранишься весь!

Встала, ушла, опять пришла. Села. Бросила руки, как вещи, на стол.

Бритый осторожно, на диво нежно коснулся шершавым пальцем Вериной руки, мертво лежащей на гладкости стола. Ее дернуло живым током. Она убрала руку.

— Врешь все, — тихо и хрипло бросил бритый. — Теплая ты и слабая. Только прикидываешься сильной. Как вы все, бабы.

Вера под столом гневно стиснула руку в кулак.

Хотела ответить. В затылок забил колокол: не трудись, не трудись. Все напрасно, никому ничего не докажешь. И не покажешь. В животе перекатывалась булыжниками тяжелая пустота, Вера не взяла с собой еды, а купить боялась: в поезде дорого, а выскочить на перрон — состав улепетнет, и поминай как звали.

— Жрать, бабенка, хошь? Только не ври!

— Хочу, — грустно сказала Вера.

Бритый шмякнул котому об стол. Развязал тесемки. Копченая колбаса. Куриные ноги торчат из фольги. Соленые помидоры в оббитой банке. Катал на ладони яйцо и хитро шурился на Веру.

— Что зыришь? Яички, да, яички! От самолучших курочек!

Протянул на ладони яйцо Вере.

— Ну? Что морду воротишь? Знаешь, где такие курки-яйки водятся? Хох-хо! На Ангаре, на Ангаре! А я-то оттудова домой еду, на Урал! В родные, эти, шпинаты! Отслужил как надо и вернусь!

Вера осторожно, как змею, взяла с ладони у бритого вареное яйцо.

— А вы... из армии... домой?

— Со щетиною седой?! — Бритый пощипал себя за скулу. — По возрасту не гош! А на солдатика похож! Нет, бабенка, не угадала! Я — из санатория!

— Из... санатория?..

Вера поздно, но сообразила. Густая краска залила ее лицо, губы сжались в злую и смущенную нитку.

— Да, лепилы надо мной потрудились! Поизмывались властью! Да ты чисть, чисть яичко-то! Или руки-крюки?!

Вывхватил из Вериных рук яйцо, ловко очистил и, голое, опять ей на ладони преподнес. Как ребенку; как царице.

И она взяла и ела.

И откусывала медленно, мелко, и жевала трудно, смущенно, не сводя с бритого дядьки глаз; и так сидели и ели они, и пили в тряском поезде — одинокая баба в белом, с красными розанами, платке с белыми длинными, как метель, кистями, и выпущенный на волю заключенный, перед глазами его еще моталась колючая проволока, колючие ветви железных пихт и елей; и поезд мотался, как пьяный, звенел на стыках колесами, чугунными погребушками, внезапно застывал, а потом опять срывался с места и мчал вперед, как бешеный, хотел догнать недостижимое, ускользающее время, настигнуть его и убить, как охотник зверя, а время, смеясь, хохоча во все зубы, железно и скользко все убегало вдаль, бежало, исчезало, показывая на миг снежное жало и тут же пряча его, манило, летело, ничего от людей не хотело, а люди все гнались за ним, пытались его изловить и связать, и покорить, и разделать, разрезать на куски, для всех голодных, его мощную слепую тушу, а оно все бежало, перебирало железными ногами, махало железными гигантскими крыльями, разевало железный клюв и издавало безумный клекот, — и страшно было человеку бежать за ним, а он все бежал, и тянул к времени рельсы, и запускал над ним самолеты, и взрывал перед ним бомбы и снаряды, а время все летело, ширя крылья, поверх всего человеческого, и непонятно было человеку, Ангела это крыла или дьявола: не видел он того, не понимал, не хотел, хватая ртом ледяной последний воздух, понимать.

Этот Ход мой, суровой Веры,
по великой и бедной стране.
Это Ход мой, сквозь ущелья и шхеры,
по отмели, по дну и на дне.
Что со мной приключится?
Сегодня ли, завтра — завяжи котому — лишь путь:
В глаза реки заглянуть, в колени земли башку
уткнуть.

Все говорят, что ты сегодня — новые, ты, моя земля.
То жнивье, то былье, то белье улетает, метелью
пыля.
А я все иду, вечная Вера, меня не подстрелишь
из-за угла,
Я в застольное царство людей
рыжей приبلудной собакой вошла.

Грохот поезда! Бритвой времени пользуйся,
а меня, бритый вор, не тронь:
Я сама себя раскрошу, направо-налево раздам,
жадный хлебный огонь,
И угли мои, головни мои уже, сгибаясь, плача, едят
из дрожащих рук;
А толпа пляшет, пьяна от песен горячих, и так
близок Полярный Круг.

Я иду по стране,
поджарая, тощая Вера, по худой песчаной земле.
Я иду в огне, по воде, где тучи полощутся,
то трезва как стеклышко, то навеселе.
Я все помню, я твержу сожженные буквы,
хлеб старухам дарю,
я традицию свято чту,
Я небесных прощальных ангелов четко зрю
сквозь кровавую линзу, за висельную версту.

Я иду, просто баба. А баба, ребята, се не человек!
Баба, это же просто курица-ряба,
 слеза из-под мужицких век,
Я иду уж не меж людей, а над миром, над городом,
 над толпою, над
Жгучей памятью, над самой собою, над звездами,
 что виноградом висят,

Красной — с виселиц! — винной ягодой!
 над пургой, заметающей храм,
где стреляли — во злобе и ярости — в грудь —
 так скоро забытым Царям!..
над железной повозкой, с красным крестом
 трясущейся то вперед, а чаще — назад,
да над Приснодевою, сущюю
 Богородицей — в смарагдах зрячих оклад...

Над зимней площадью, красной бешеной лошадью,
 над колпаками-бубнами скоморохов иных,
 певцов,
Над секирами, судьбами срубленными новых,
 страшных ликом стрельцов,
И кричу им, шепчу им: милые! братья! слышите ли!
 люблю! —
А в ответ мне одно: за могилою... во успении...
 во хмелю...

А со всех сторон, в грудь и в спину, заполошно
 кричат: «Собака! Уйди!»
Я иду. Я на ветру не простыну. Укроют, обнимут
 дожди.
И снега укутают. Песцовой этакой шубы
 и не нашивал никто на земле.
И молитвы такой ничьи бедные губы
 не твердили в адамантовой мгле.
А куда я иду? За какою жалью-надобой,

там-вдали-за-рекою,
за небесной милостью, за
Край света, за ясной тоскою, за монетами —
на глаза?
...это Ход мой, сиротский поход мой, одинокий,
за гранью-чертой —
Нежным знаменьем, зрячим оком одинокой Веры
святой.

Пока ехали до Челябинска, день, ночь и еще полдня, незаметно и страшно сдружились. Веру бритый узник, отпущенный на свободу, обаял и закружил — за ней никто и никогда так не ухаживал, не кормил ее не поил, не шутил ей и не пел ей, выбрасывая из хриплого горла путаные, через пень-колоду, как под хмельком, частушки, блатные песенки, прибаутки, — дядька соскучился по вниманью бабенки, а Вера смотрела в его щербатый рот, как в дырку скворешни — о, вот сейчас вылетит синяя, нежная птица сойка, наш северный павлин! А может, говорящий попугай! Зеленый волнистый озорник, и затрещит клювом! Проводница-малявка сердито косилась в их сторону, когда шла с веником подметать вагонный пол: старая кокетка и гололобый тюремный донжуан, ишь, нашли-таки друг дружку! Вера не сводила с бритого глаз. Она уже слушала его как учителя. Принимала на веру все, что он заливисто брехал.

— А тут-то, ты вообрази, Верушка... — Он произносил «Верушка» как «ватрушка». — Ты только представь!.. иду и вдруг проваливаюсь, натурально, в яму! Волчья яма, отменно вырыта. Глубко! И вот сижу на дне. Весь в грязи изгвазданный. Грязи наглотался, пока туда валился. В бога-душеньку! Я настила под ногой не увидал. Лапник настелили, поганцы. Да еще какой густой! Как у Ленина, блин, в мавзолее. Будто гроб, ямину елью застлали! И вот я... матерюсь нещадно! А что прикажешь делать? Орать? Ну, подойдет вохра, винтовку к плечу вскинет и в расход. А что со мной церемониться, хо-хошечки! Я ж в ямине! Я же

волк! Волк... Мозгами, волк, ворочаю... И придумал. Услышу голосок поюнее, подзову! Полезет несмышлениш спасать — я его вниз утяну!

Умолкал. Хитро на Веру глядел.

Она содрогалась спиной. Знала, что сейчас услышит.

— И... что?

— И то! Свист услышал! Завопил! Мальчонка подбежал! Сын нашей кухарки. Он мамке резать хлеб пособлял. Годов десяти пацан. Я ему: ветку хватай, мне сюда опускай, тяни, я покарабкаюсь! Пацан, дурень, лапник вниз спустил, я его на себя рванул, он в яму так и покатился! Я ржу-хохочу! Покатушечки! Он плачет! Ревет взახлеб! Трясется! Я его — крепко держу! Хотя бежать ему, бабенка ты дура, некуда!

— И что... ты с ним... сделал?..

— Как что?! Убил и схрустел, конечно!

Вера мотала головой.

Пыталась смеяться.

— Я тебе... не верю...

— Не верь! Не верь! Эх... ну не сожрал, нет, нетушки, хватит дрожня дрожать. Я орал как резаный, народ подзывал, а пацан у меня вроде как в заложниках там валялся. Я ему ноги ремнем связал! Руки — рукавом рубахи, отодрал, в жгут сплел! Он меня костерит! Я — его! Так ругаемся! Ночью холод зверский, звездочки блещут! Жрать и правда охота! Думаю, и правда, хороший поросенок, да только огонь в ямине не развести! А то бы сожрал, вот ей-богу! День займется — я опять ну орать! И приперлись... эти. Вытащили нас... обоих... мы уж отощали совсем... с ног валились... пацаненок концы отдавал... уволок его... в лазарет, так думаю... а в меня полстакана водки влили, я разум утерять... очухался — на койке лежу, и укол ставят... А до конца срока знаешь сколько мне было?.. не знаешь. И не надо тебе знать! Верушка ты глупая, как пробка!

Он так ласково вылеплял это губами, что Вера вся покрывалась стыдным потом.

Когда поезд докатил до Челябинска, бритый помог Вере надеть на спину ранец и подал ей руку, когда они выходили из вагона.

Зимний Челябинск мало чем отличался от зимнего Красноярска. Пожалуй, дымящих заводских труб было больше, и дышать было тяжелее. Они с бритым дядькой брели сквозь город медленно и тяжело, будто слоны, нагружены поклажей, и Вере ее школьный ранец казался неподъемным кованым сундуком. Быстро смеркалось, зажигались витрины магазинов, продуктовых лавок, универмагов, ресторанов, кафе, кинотеатров, близ театральных подъездов загорались торжественные старинные фонари, и все сильнее и острее пахло бензином, из приоткрытых дверей харчевен тянуло вкуснейшими яствами: жареной курицей, а может, тушенными в сметане грибами, а может, просто капустой в томатном соусе, с мелко накрошенным чесноком, с молотым красным и белым перцем. Вера нюхала вечерний зазывный воздух, и все труднее становилось его, плотный, вязкий и дымный, вдохнуть глубоко. Ловила воздух ртом, как рыба. Бритый покосился на нее. «У нас тут с непривычки все так вот дышат, как ты теперь. Ртом, и зенки выкатывают. Ничего, привыкнешь!» Вера робко улыбнулась ему. Все больше робела она, все бесповоротней превращалась в забытую дуру-школьницу с ненужным ранцем за худыми плечами, за тощей хордой звенящего позвоночника.

Она сама не поняла, как так вышло, что она оказалась не дома у своих родичей, а в домишке у бритого: этаж под крышей, коммунальная кухня, бабки варят в кастрюльках нищую еду, чад и грохот, и бритый открыл дверь свою не ключом, а ногой, на кровати спали мальчишка с девчонкой, до затылка закутавшись в клетчатый дырявый плед; бритый сбросил на пол сначала юнца, потом девчонку, они по-кошачьи уползли на животах, на локтях за приоткрытую дверь. Бритый цапнул по столу почва-

тую пачку сигарет, закурил, подошел к окну и вытолкнул наружу створку фортки. Снег, вихрясь, забытым безумьем полетел в чадную комнату.

— Рассупонивайся, лошадка, — хриплый голос бритого опять мазнул по Вере забытым детским весельем. — Станция Березай, кому надо, вылезай. Прибыли.

Вера так и стояла, ранец не снимала, ремни давили на плечи, обрывками мыслей она пыталась поймать летающую над головой опасность. Опасность тихо села ей на лоб и касалась кожи нежными крыльями.

Бритый затянулся, вынул сигарету из рта, держал двумя скрюченными пальцами на отлете, медленно подошел к Вере.

— Ну что? — Тихо спросил. — Мужика, что ль, никогда не видала, старая ты уже баба? Что зыришь? Если не нравлюсь, пнула бы давно, еще в вагоне. А то за мной потащилась, с нашим удовольствием. Спать с тобой буду. А как же. Мужик с бабой да не поспать. Чай, не нехристи мы! Все у нас, как у людей, устроено!

Махнул рукой, как медведь лапой, вниз.

— У нас все спереди!

Он медленно снял с нее детский ранец. Размотал платок с кистями и бросил в угол. Все больше девчонкой чуяла себя она. Речь потеряла, не нужна была речь. Села на койку, бритый присел на корточки и медленно стащил с Веры сапоги — один сапожок, второй. Стянул грубовязанные носки. Она медленно пошевелила застывшими пальцами.

Бритый погладил ее щиколотки в толстых коричневых чулках.

— Что ж ты, блин, моя лучинка, неясно горишь, — вышептал, как спел. — Что тебе надо-то в жизни?.. не пойму. Куда-то в путь пустилась. К родне какой-то непонятной, мать твою. Или еще куда? А не открываешь, куда. Молчишь! Падла! — Он сказал «падла» как «красавица моя». — И, главное, зачем. Не жилось тебе в Красноярске твоим? А? Вот со мной связалась. Зачем? Да, зачем? Затем, что ли, что я человек? Да? Человек я? Человек?! А может, я зверь?!

Вера молчала. Ноги ее холодели.

На лбу бритого, под отросшей за время пути седой щетиной, блестели капли пота, как мелкая чешуя детишек-карасей.

— Может, и зверь, — сам себе ответил и для верности даже сам себе кивнул. — Кто меня знает. Меня тут ведь уже забыли. Туда мне и дорога. А знаешь, за что сидел? Долго сидел. Угадай с трех раз. Угадаешь — конфетку дам. Живую, ха! Сладенькую, хо-хо! Не угадаешь...

— Нож под ребро? — тихо спросила Вера.

Хотелось шутиливо, а вышло страшно.

Бритый зашелся в беззвучном смехе. Вытирал смешные слезы. Царапал наждаком ладоней щеки. Вера тоже заплакала. Он и ей щеки грязными ладонями вытер.

— Бабенка! Драная юбчонка! Парня я пришел. За дело. Ножонки-то задрогли. Щас согреешься!

Он встал с корточек, подхватил из-за стола стул легко, как щепку, подошел к двери и воткнул ножку стула в старинную, выгнутую стеблем озерной лилии медную дверную ручку.

Он рассказывал, как спал наяву. Так во сне бормочут. Призрачный голос Бритого обволакивал Веру, и она постепенно и позорно засыпала, откидываясь на подушках, несвежих, с наволочками в кровавых и масляных пятнах, — шея ее закидывалась, хрящи гортани просвечивали сквозь натянутую кожу. Бритый продолжал говорить, хрипло и путано. Иногда его голос с силой вырывался из него, как птица из силков. Тогда Вера вздрагивала всем телом, как ребенок после рыданий, и на миг просыпалась. Во сне она намертво запоминала все, что он ей наборматывал — о лагере, о судьях, о гаденыше прокуроре, что накинул ему на шею длиннющий срок, о человеке, которого он убил; и как убивал, тоже говорил. Ему нужны были уши. Или хотя бы ямка в земле или дупло в дереве, чтобы исповедаться.

Вера впервые, после вязких лет бесконечного одиночества, легла с мужчиной. Она боялась, зубы ее стучали. Она все забыла, что и как надо. И что она должна испытать. Бритый оказался разным. То таким, то саким. Он то приказывал Вере, то молился ей. Он изголодался, а она не чувствовала никакого голода, только боль и жалость — матери к больному младенцу. Вытирала ему простынкой лоб. Морщины бежали по этому живому лбу, как корни вырванных трав по вскопанной земле. Он говорил, как во сне, а она просыпалась и тесно, судорожно обнимала его. Он ощущал жар ее тощего твердого тела, впалого живота и торчащих ключиц и тоже обнимал ее, сильно притискивал к себе. Так замирали оба. И опять засыпали. И опять разнимались, обессиливали их руки. В щели незаклеенного окна дуло, северный ветер гудел в трубах, качал голые деревья, мело все жесточе, все яростнее, толстый слой снега ложился на мертвую землю и укрывал ее, крыши, карнизы, ветви, тротуары и их обоих, бездвижно плывущих в продавленной узкой кровати.

Дни в Челябинске летели сном. Таким же, как их совместный сон на узкой кроватенке с панцирной звенящей сеткой. Сетка, прогибаясь под ними, издавала почти церковный звон. Тишина сменялась коммунальным застольем. Дом был старый, и люди в нем старые, только молодая пара — парень хилый, на ерша похожий, девка потолще, с тоской во взгляде, глядела так, как везомая на бойню скотина, — слонялась там и сям, сидела на кухне, локти уткнуты в грязную клеенку, перед подбородками пустая бутылка; пара моталась на лестничной клетке, безотрывно целуясь, а иногда доходя и до наглого непотребства. Жизнь тоже была старая. А город за окнами чужого дома был новый; Вера его не знала. И не хотела знать.

Фонари светили, свет горошинами скатывался по узким зондам зрачков прямо в душу. Вера днем готовила Бритому на обшей кухне еду, ночами подставляла ему свое угловатое тело. И спрашивала себя: долго я еще тут проторчу? Надо вперед.

Где-то маячило, двигалось и шевелилось это изумленное «вперед». Она не знала, как сорваться с места. Сон длился, ноч-

ные разговоры текли и вязались в плотные веревки. Ее связали по запястьям и по щиколоткам, как того бедного пацанчика в волчьей яме. «Пойдем со мной!» — однажды сказала Вера Бритому. «Куда?» — спросил он и всунул в рот мятую сигарету. Они лежали на кровати, скатившись оба на дно железной лодки. Слепились, как свечи плавущим воском. Лодка качалась и баюкала их. Дым обволок Верину простоволосую голову. «В Иерусалим!» Верин голос не пресекся, не охрип. Бритый погладил ладонью голую свою голову. Сигарета мелко, мышинным хвостом, дрожала в углу его рта. «А это что за хрень?» — «Город». — «А, город! Ну и имечко у городка!» — «Уж какое есть». — «А ты туда, что ли, ехала? Ах да, туда. А я тебя, получается, спымал. Хо-хо!»

Молчали. Бритый курил. Искурил сигарету и затушил бычок об стену. Вера косыми глазами следила, как он кладет табачную ладонь себе на лицо и так лежит.

Звонить братьям и сестре? Рука зависала в воздухе, набирая номера. Голоса в трубке плыли и уплывали. Они тоже были частью уральского сна. Один мужской голос вяло, через пень-колоду, пригласил Веру в гости; другой жестко, грубо отрубил: «Нет у нас никакой такой родни, ни в Красноярске, нигде! прекратите нас шантажировать! и больше не звоните сюда!» Женский голосок проворковал мило, музыкально. Вера ободрилась и вежливо сказала: «Это Марина? Вы дочка тети Славы? Здравствуйте, Марина, это ваша сестра Вера!» — «Пошла в задницу!» — сладким голоском ответила Марина, и Вера рухнула в пустоту.

Давно закончились остатки Вериной пенсии. Они тоже приносились. Еду приносил Бритый; Вера не спрашивала, откуда. Она его ни о чем не спрашивала. Слушала, что он говорит ей ночью. После того, как сомнет ее живым, больным тестом на кровати, под ржавый звон пружин.

Он зорко следил, чтобы Вера не убежала. Ему было с ней удобно, в самый раз. Вера и сама притерпелась. Уже стала забывать про Иерусалим. Он торчал внутри, в потрохах, невынутой занозой. Однажды Бритый закатил пирушку. Выгнал Веру на кухню, стряпать. Она приготовила солянку, холодец, жареную кури-

цу с чесноком. В комнату, за круглый старый стол, набилась куча людей. Люди, люди! Гомонили, пели, пили, плевались, ругались скверно и страшно, и страшно плакали, утыкаясь лбами в жесткие плечи друг друга. Баб не было ни одной. Все сильнее пахло мужиками. Вера разрезала дрожащий, как жирная бабья ляжка, холодец острой финкой. Подцепляла вилкой и швыряла на битые тарелки. Губы ее, как обычно, были в нитку сжаты. Бритый забросил в рот кусок холодца, жевал и долго смотрел на Веру. На нее ли?

...Иерусалим, я забыла, что это, хрустальный дом, а может, дом на слом... Ие-ру-са-лим... сизый дым, дым...

Дверь приоткрылась. Вполз холодок. Вползла в щель нога-змея. В черной потертой туфельке, остроносой. За ногой вдвинулось в прогал бедро, черная юбка качнулась. Шаг внес в комнату тело. Бритый ловил глазами глаза вошедшей. Слишком бело, снежно мерцало ее лицо. Обычно щеки румянят. Эта — набелила. Или отморозила? Лицо повернулось вбок, Бритый глядел на него в профиль. Потом опять маска уставилась прямо в комнату: широко стоящие глаза новой бабы глядели на старый, половинкой шелкового лимона, абажур и не видели света.

Бритый чуть не присвистнул. Баба как две капли воды была похожа на Веру.

Он не знал, что за баба. Гости пригласили? Чья-то шмара? Не все ли равно. Он сделал жест: давай, не стой в дверях, шагай! Вилка из его кулака упала на стол. Тарелка зазвенела и треснула. Вера сидела прямо, не оборачиваясь. Будто боялась обернуться. Бритый чуть не крикнул ей: «Не вертись! Не смотри!»

Потер переносицу кулаком. Помял пальцами глаза. Баба в черном, копия Веры, не исчезала. Только тихо, медленно попятилась в коридорную тьму.

В стену застучали. Шумную компанию к порядку призывали.

— Что копытом колотите! — вскричал Бритый. Глаза его тонули в раскрытой черной дверной щели. Пьяный озноб танцевал по спине. — Спать им хочется, охо-хошечки!

Вера, твердо, железно глядя перед собой, на скатерть, где валялась вилка и лежал отбитый зуб фаянса, поднялась, глаз от яств, посуды и скатерти не отрывая. Уцепилась за спинку колченогого стула, будто падать собралась. Медленно развернулась живой баржей и выплыла вон из дымной бешеной комнаты. Лимонный абажур качнулся. Бритый сунулся вперед, хотел Веру остановить, но будто споткнулся и упал грудью на стол, подбодрком в крупно, грубо накрошенный салат.

Вера сама не знала, зачем вышла. В голову ей вступила лютая боль, заплесала под черепом, торжествуя и бесясь впотьмах в просторном костяном зале — без мыслей, без огней. Она прошла по половицам и встала, как на льду, как на краю. Черная река ее сна неслась под ней, под ногами, мимо.

— Не пей больше, Верка... козленочком станешь...

Кто шепнул это? Она или кто другой?

Озиралась. Глаза еще не привыкли к темноте.

Вера, подняв руки ладонями вперед, сделала шаг, другой. Зеркало в коридоре? Спасибо соседям, что повесили.

Она стояла и смотрела на себя в зеркало. Только почему она в черном? Кто пошил ей этот ночной наряд? Погребальный, одно слово. Вера передернула плечами и пощипала себе плечи, обласкала ладонями рукава. В зеркале она не сделала этого. Просто стояла, и все. И смотрела сама на себя. Мимо них обеих, между их лиц вился белый дым. Вера будто ногами в снегу стояла. Только снег мерцал не белым, а черным. Как антрацит.

— Не пей... Верка...

Губы шевелились, а в зеркале ее губы молчали, стиснутые крепко.

Она выше подняла обе руки и прижала ладони к своему отражению. Живое тепло под ее руками сказало ей, что это зеркало повесили не соседи. Она оторвала руки. Будто пальцы стали — корни, и она вырвала их из теплой земли.

— Ты... кто такая?

Зеркало улыбнулось. Вера отразила ее улыбку.

Губы ее свела легкая, дикая судорога.

— А тебе какое дело?

— Никакое.

Вера шагнула назад.

«Бежать, и все!»

— Скрыться хочешь? А зачем?

— А зачем?

— Обезьяна!

— Это ты обезьяна!

Они препирались, будто торговались на рынке.

— Что ты повторяешь за мной! За собой повторяй!

Вера сжала кулаки.

— Слушайте, — она перешла на ненужное «вы», — дуйте отсюда.

— Зачем?

— Затем!

— Я в гости пришла!

Бросали слова резко, отчетливо, тихо. Чтобы никто не услышал.

Вера взялась обеими руками за голову. Наклонила лицо, мрачно глядела в пол. Ничего не видела. Тьма, и мусор, окурки шуршат под ногами. Рыбьи кости под подошвой хрустят.

— Ну и гостюй, гостья!

— Ты тут тоже гостья.

— Откуда знаешь?

— От верблюда! Уходи лучше ты!

— А не то?

Зеркало качнулось в сторону и начало падать. Вера рванулась было поддержать его, чтобы не разбилось на тысячу кусков. Не успела. Женщина выскользнула из-под ее рук, из-под жизни ее, как резкий зимний ветер. Вере почудилось дальнейшее пение сойки. Потом говорящий попугай провизжал: «Война! Война! Спасайся!» Раздался звон: это в приоткрытую дверь вы-

бросили выпитую рюмку, и она нежно и отчаянно разбилась о кирпичную кладку старой стены, устлая половицу под Вериными ногами осколками детского льда.

— Я хочу уехать.

— Много хочешь, мало получишь!

Бритый показал Вере кукиш. Она с кукишем молча согласилась. «Значит, надо еще ждать», — сказала она себе. Ждала. Ее отражение больше не появлялось перед ней. Она поняла так: пить надо понемногу, а лучше вообще не пить, по-церковному это грех. Она вспомнила о том, что у нее в ранце, на самом дне, лежит таинственная книжка Евангелие, подаренное ей старушкой Расстегай. Она робела вынимать его перед Бритым, тем более читать из него. Да и шрифт она этот, старинный, с завитками, титлами, ятями и еще невесть какими хитрыми буквицами не очень-то разбирала; шрифт этот был ей как шифр, кто-то был на земле посвящен в него, она же нет, хотя слова навстречу ей попадались русские, и очень даже знакомые. Например, «блажени». «Это ведь блаженные!» — радостно догадывалась она. Или, к примеру, «юность твоя». Юность она и есть юность! Твоя, моя! Что тогда, что теперь! А тогда — это когда? Сто лет назад, тысячу?

И все же настал день, когда Вера, чуть Бритый исчез за дверью, быстро, будто мышшь из мышеловки вынимала, вытащила Евангелие из ранца. Открыла, уставилась в исчерченные загадочными письменами ветхие листы. Пахло воском и церковью. Она подносила книгу к носу, нюхала. Вспомнила, как старушка Расстегай книгу целовала. Как икону! Запах превращал время в прах. Отовсюду, с потолка, из окна, с небес лился мед, мерцало, вспыхивая на губах, вино, рассыпалась радужная пчелиная перга. Слова обдавали сладостью ноздри и язык, и першило в горле. Вера читала быстрым шепотом:

— Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии утешатся. Блажени кротции, яко тии

наследят землю... Блажени алчущии и жаждущии правды... яко тии насытятся!..

Насытятся... Она вспомнила, как жрут и пьют за столом друзья Бритого, уральские бандиты. Зачем она здесь? Ей жалко Бритого. Да, жалко! У него нет жены. Она хоть немного побыла ему женой. Да ей надо в дорогу. Алкать и жаждать правды? Зачем Бритому и его корешам правда? Они и без правды отлично проживут! Ограбят, убьют! И никаких вопросов! Душу ничто не мучит. Или мучит? Терзает?

— Блажени милостивии, яко тии помиловани будут... Блажени чистии сердцем... сердцем... яко тии Бога узрят. Блажени миро-творцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное.

Дальше пошло труднее. Слова слипались в единый ком, катились мимо глаз, лишь маня яркими вспышками, и укатывались в неизбежность, в бессловесную тайну.

— Блажени есте, егда поносят вам, и иж... иж-де-нут, и рекут всяк зол глагол на вы лжу-ще, мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яко... яко... мзда ваша многа на... небесах?... не-бе-сех...

Дверь стукнула, распахнулась во всю ширь, и вошел, колотя об пол сапогами, Бритый.

Вера вздрогнула и сделала движение — спрятать Евангелие под юбку, под колено; не успела. Бритый шагнул и выхватил книгу у нее из рук.

— Ух ты, ах ты, сбухты-барахты! — прохрипел он. От него пахло сивухой. — Книжечка церковная, буковки любовные! Загнать ее старьевщику — дорого даст! И еще кусок жизнешки проживем. А толку что старье мусолить! — Затолкал Евангелие за пазуху. — Мое будет теперь! Откуда у тебя, Верка ты фанерка? Соседки подарили? Чтоб за меня молилась, за грешки мои, так?!

Похлопал книжку по торчащей из куртки кожаной корке.

— Дорого дадут. Не сомневайся! Я недавно одного художника обчистил, много всего потырил у него: и камеру старинную, и кольцо с сапфиром... а может, пес его знает, с лазуритом...

и иконку этой, как ее, Богородицы, и чайник золотой, и чайничек серебряный... ты, начальник, ключик-чайничек, отпусти на волю!.. И, главное, книжищу, книжищу такую, не приподнять кирпич, толстенную, все вот такими же ятями... ять, мять, начирикано... Подлатался, мать! И жили мы не тужили! Ты-то, шушара, как будто не догадываешься, на какие шиши лямку тянем!

— Догадываюсь, — ровным голосом сказала Вера. И вдруг сделала радостное, восторженно-детское личико. — Дай книжку обратно! Ну дай, дай!

И протянула руку к ней, высунувшей кожаную старую, исцарапанную щеку из-под бандитской куртки.

Бритый попятился.

— Эге-гей, вор-воробей! Деньги не клюй, получишь плюй!

Положил ладонь на Евангелие.

— Отдай!

— Хренушки! Я его — хорошо загоно! Знатно! Какой тут год издания? А шут с ним! Сразу видать, что старье! У старьевщиков чем старше, тем моднее; они знаешь что покупают-продают?! Время! Время у них ценится. Не вещь, запомни, фефёла! Время! А время что, пощупать-понюхать можно? Да ни шиша подобного! Время, ты вот объясни, никто не объяснит, что оно такое, откуда оно...

Ушел и хлопнул дверью.

Ночью, когда Бритый, натешившись ею, сладко захрапел, Вера выпросталась из-под него, оделась быстро, быстрее солдата по тревоге в казарме, обвязала голову белым платком с розами и метельными кистями, ранец на спину взгромоздила уже в коридоре. Глаза ее шарили по темным непроглядным стенам — она искала то, живое зеркало. Зеркала не было больше. Его разбили. Разбило время. Или память. Обезьяну застрелили. На мясо пустили, а из шерсти ее связали кому-то жалкому, бездомному теплые носки.

Тут вдруг стукнуло ей сердце изнутри в ее железные ребра. Она подошла к вешалке в коридоре. Высоко над головой торчали серебряные крючки. Тихо спали, висели без шелеста и шороха, казенные временем старые плащи и грязные куртки вечно пьяных соседей. На одном крючке висела куртка Бритого. Вера ощупала ее, как человека. Нашупала твердое. За пазухой, под рваной подкладкой, лежало и спало Евангелие старушки Расстегай. Вера вытащила его и, дрожа, засунула в ранец, утолкала на самое дно.

Вера сбегала по лестнице, и ей чудилось: за ней бежит Бритый, орет: «Стой! Зарежу! Хо-хошечки!» — и она бежала еще быстрее, ноги мелькали, как спицы в колесе, на крыльце она все-таки споткнулась и растянулась ничком, во весь рост, и разбила скулу об острый каменный край ступени, и набирала в ладонь снега и прислоняла к разбитой щеке звонкий, звериный холод, ладонь пачкалась кровью, Вера зло смеялась и, волоча ушибленную ногу, шла вперед по ночным улицам, ранец за спиной, упрямо шла, обреченно, вольно. Все шире становились ее шаги. Все сильнее болела скула. Глаз заплывал. Никого не встречалось на улице. Пустота и зима. «Увидит кто — подумает, муж побил, от мужа сбежала». Ничего не маячило впереди, на эту ночь, чтобы угнездиться и переждать, кроме вокзала. Вера шла на вокзал пешком, через весь город, мучительно и нелепо вспоминая незнакомые улицы, шла наугад, наудачу, по нюху, по тусклым звездам в туманном ледяном небе. Когда вдали послышались гудки поездов, она прикрыла глаза тяжелыми веками, изпод их чугуна на разбитые щеки полилась горячая соленая влага, и собственные слезы Вере казались белой теплой кровью, что текла из слепых, будто выколотых глаз.

Вера потянула на себя увесистую дверь и вошла в полутьму, мрамор и огни. Лестницы двигались и шуршали. Алые цифры и буквы возникали из ничего. Пахло пирожками, и отчего-то фиалками. Щетка скребла, вычищая до зеркальной гладкости гранитные плиты, а человека близ щетки Вера не видела. Может, и правда ослепла? «А вдруг Бритый меня здесь догонит? Вот бы

нынче уехать!» Денег — ни копейки. Вера всю ночь просидела на жесткой скамье, продрожала, вместо мыслей взад-вперед бегали пожарищные искры. Ближе к утру она попросила телефон у соседа по залу ожидания. Нажимала на бестолковые кнопки. Делать было нечего — она звонила сестре Марине.

— Марина? Марина! Ты слышишь меня?!

Она назвала далекую вредную сестру на «ты», и та вдруг трубку не бросила.

— Марина, помоги мне! Со мной тут плохо!

Через ветер и ночь до Веры донеслось безумное эхо:

— И ты мне помоги! Помоги!

Голос Марины хлестнул Веру правдивым отчаянием.

— Ты где?! Куда мне идти?! Я с вокзала! Железного!

— Как идти?! Пешком?!

— Ну да! У меня денег на проезд нет!

— Северное сияние, восемь! Это частный дом! Бери такси, я заплачу!

Вера опьянела от такой внезапной щедрости.

— Да, да! Да-да-да! Он украл у меня дочку! Нагло причем! О-о-о-о... Восемь лет девчужечке моей! И он орал как резаное поросё: ты никогда больше не увидишь ее! Никогда! Никогда-а-а...

Марина и Вера сидели на огромной, как танцевальный зал, роскошной кухне. Слишком чисто. Слишком блестит. Слишком весело играет радуга в слепящем хрустале рюмок. Крики чело- века среди этой чистоты казались потоками страшной грязи, липкой, яростно стекающей по мертвым стенам, по живым ще- кам. Бутылка початая — на столе, пустая — под столом. Темная, цвета темной крови. Такого вкусного вина Вера вроде бы не пи- ла никогда. Нет, пила, только у Расстегайки, а еще на кладбище, когда мать хоронили, и звалось оно кагор, и Расстегай быстро, будто семечки из кулака голубям сыпала, рассыпала шаловли-

вые слова: «Кагорчик, однако, сладенький, я батюшке бутылочку купила, и с молитвою, пусть моих всех помянет, а чо, я рыжая, чо ли, а другую себе вот припрятала! Грешница я великая!» И закатывала глазенки под изморщенный лоб, а Вера скорбно глядела на больничную мензурку — темный церковный кагор стоял в ней жидким турмалином, светился.

И тут, у Марины, так же сладко, томно пахло в хрустальных наперстах древнее южное вино.

— Ты пойми, пойми! Он меня ненавидит. И он меня лишил ребенка, чтобы мне сделать больно! Больно!

Вера морщилась. Помаленьку отпивала из рюмки храмовую сладость.

— Марин! Ну брось ты, а! Он ведь тоже любит свою дочь! И он просто похитил ее, чтобы... ну, чтобы она жила у него! А не у тебя! Потому что вы разошлись!.. да?.. разошлись?..

— Нет! Ничего мы не разошлись! — кричала Марина. Потные кудряшки облепляли ее розовое, толстое лицо. И нос ее нюхал воздух, как поросычий пятачок. А в глазах застыла каплями мороза пьяная, бешеная ртуть. — Пошел он в зад, сволочь, гад! Я все равно верну дочь себе! Хоть бы для этого пришлось мне его убить!

Дикое слово вырывалось, Марина пыталась затолкать, влить его обратно, внутрь, вместе с крупным жадным глотком вина. Цапнула из шкафа третью бутылку. Открыла — зубами, ножом. Хохотала беззвучно. Рюмки Марине было мало. Она нашарила чашку и перевернула над ней бутылку кверху дном. Темная струя забулькала бешено, чашка наполнилась вмиг, кагор пролился на стол и капал на пол. Пьяная Марина наклонилась и слизнула красную лужу языком.

— Кошмар ты лепечешь... Маринка...

— Ты! — Палец Марины выстреливал в Веру. — Что ты знаешь о кошмаре?! Да ты... домашняя ты кошенка, ты!.. псина ты у порога, псиной жила, Верка, псиной и помрешь... А я... я — живала! И с золота едала, и из серебра пивала! И сейчас — пью! — Марина обводила рукой вокруг себя. — Сама видишь! Я — не чета тебе!

Вера старалась не глядеть на блеск богатства, щедро рассыпанный по широте и высоте огромного, как пустынная пирамида, особняка.

— Ты — здесь... а он с девчонкой — где?

— А у него еще один домина! — гордо и яростно вопила Марина. — За городом, у дряни! Там его мать обитает! Свекровка моя! Чернобурка! Вся в жемчугах! От Сваровски! В алмазах от де Бирс, падла!

— Марин... это ж ее... личное дело... жемчуга...

— Они хотят мою белочку, котеночка моего вот так же наряжать, падлы! Превратить ее... в игрушку... в куклу!.. для богатых, для магнатов... Что ее ждет?! Верка, ты представляешь, что ее ждет?!

— А разве ты... не богата?..

Теперь Вера обводила рукой и глазами шикарный, алмазно-блесткий оком: сталь, стекла, хрусталь, позолоту.

— Я-а-а?! Ну да! Да! Да-да-да! Богата! Еще как богата! Жру это богатство, жру, жру, все никак не сожру! До скончания века хватит! Обожрись и сдохну от обжорства! Пошло оно, богатство это, в задницу!

— Маринка, — хрипела Вера и сама наливала себе в рюмку вина, и выбулькивали в хрусталь остатки, — ты похожа на свинью... Свинья — доброе животное... у нее даже кровь как у человека... я читала... А давай я тебе... ну!..

— Ну?! Что замолкла, как немтырь?!

Вера молчала и качалась из стороны в сторону. Она в первый раз в жизни была пьяной. Это было ново, странно, страшно и вызывало восторг, смешанный с последним ужасом: сейчас протрезвею, и все закончится — и застолье, и жизнь.

— Я тебе... дочку верну!..

— Как ты ее вернешь?!

— Я ее... у него — украду... ну, он украл, и я — украду... для тебя...

— Моя дочь не вещь!

— И я... Марин!.. я тоже... не вещь!.. Я... человек... и — украду...

Марина глядела на Веру круглыми, крошечными пороссячими глазками. Ее пороссячий носик смешно шевелился: нюхал воздух вокруг Веры, пытался учуять, правду она говорит или врет.

— Украдешь?

— Ук... раду!

— Правда?

— Век, это самое... — Вера вспомнила, как божился Бритый. — Воли не видать!

— А ты что, мать, сидела?..

— Я?... я...

Вере нечего было ответить.

— У меня... отец сидел...

— А, да!.. точно. Товарищ Сургут!.. за колючкой помёр... А что ты за это... хочешь?... А?..

Вера крепко, до белизны пальцев, сжимала в кулаке пустую рюмку.

— В смысле?..

— Ну да! В дурочку-то не играй! Что ты у меня за это попросишь?..

— За что?..

— Идиотка!.. за то, что ты мне дочку...

— Ах...

Вера наконец поняла.

— А ты мне... Марин!.. ты мне... денежек дай немного своих... ну, это... совсем немножко... хотя я понимаю, там надо множко... ты только не смейся... я знаю, будешь смеяться, ржать просто будешь... мне, это... в другую страну надо... в Иерусалим!.. добраться...

— Куда, куда?.. Громче говори! Губешки-то разлепляй!

Марина и правда не расслышала.

Вера медленно, по слогам выдавила из себя:

— В И-е... ру... са... лим!

— Черт! — выкрикнула Марина, помолчала немного и захотала.

Она хохотала так громко, что звонко лопнул один стеклянный шарик на кухонной французской люстре.

— Что ты... ржешь как... конь?..

— В Иерусалим! — заходилась в умалишенном смехе Марина. Тряслись на щеках кудряшки. — На Святую Землю! Вон оно что! Так далеко! И что тебе приспичило?! Что ты-то там забыла?! А загранпаспорт у тебя есть? А деньги на билет? Нет?! И что, я теперь твой кошелек?! Ишь ты! Все так просто решила! И меня не спросила! Ты что, меня вот так вдруг на улице нашла?!.. ночью, на тротуаре... и подобрала, и раскрыла... а там... пара-тройка тысяч баксов!.. а то и десятка!.. аккурат до Иерусалима хватит... и чтобы там помотаться... всласть пошиковать... А-ха-ха-ха-ха!.. ах...

Обиженная Вера встала, чтобы выйти из кухни. И тяжело, смешно упала около стула. Свалилась как сноп. Марина хотела встать, не смогла, смеялась еще сильнее, залиvistее.

— Ах!.. ха-ха-ха... Верка! я ж подняться не могу... ноги отяжелели... и вроде винцо чепуховое... это мы слабачки... и вроде три бутылки — это слону дробина в левое ухо... а вот поди ж ты!.. не смогаю...

Откинулась на спинку стула, продолжая улыбаться, и громко запела, и посуда зазвенела на столе и за стеклянными створками шкафа:

— Дура я, дура я, дура я проклятая! У него четыре дуры, а я дура пятая!

Сговорились. Ударили по рукам. Вера чувствовала себя молодой хулиганкой. Похитить ребенка! «Но ведь у нее тоже украли. А она мать. Она больше прав имеет», — бормотанье мыслей пыталось, сгорая во мраке безмыслия, оправдать то, что ждало впереди. Они все сами придумали и продумали. И как Вере переодеться нищенкой, и сесть у крыльца, и дожидаться, пока отец с дочкой выйдут на прогулку, и протянуть руку за милостыней,

и потом будто в обморок покатиться, и, пока отец будет ковыряться в телефоне, вызывая врачей, внезапно воскреснуть, подхватить девчонку на руки и побежать, а за углом — машина ждет; да, все было продумано до мелочей, и даже настоящий пистолет в руке у Марины, отстреливаться, и даже настоящие патроны в нем; но все вышло иначе. В жизни всегда все получается иначе.

Перед похищением Марина пила не коньяк, не кагор — сердечные капли. Высоко взбила волосы, накрасила ногти. Настоящий пистолет, тяжелый, оттягивал сумку от Гуччи. Они обе домчались к дому Мариной свекрови за пять минут. На солнце уже снег таял, обнажалась земля. Густой дым валил из труб ближних заводов. Каменная грудь, железный скелет. Город глядел в живое небо мертвыми глазами. Марина то и дело щелкала замком сумки и ощупывала мертвый сгусток смертоносного железа. Ее рука тепло обнимала железную гибель. «Ну же, иди!» — закричала она на Веру, будто Вера была шкодливой школьницей. Вера, одетая в бедняцкое потрепанное платьишко, вздрогнула и торопливо распахнула дверцу громадного «джипа». Марина подгадала верно. Мужчина и девочка вышли из двери вскоре; девочка, с двумя толстенькими косками по бокам широкоскулого румяного, как у матрешки, лица весело помахала рукой седовласой старухе в дверях. Старуха клюнула воздух гордым носом-крючком и исчезла. Перед глазами Веры пронеслась призрачная черная птица. Вера рухнула на колени, сложила руку черпачком и заблуждала: «Подайте бедненькой, подайте несчастной!» У нее получилось правдиво. Мужчина, в красивой кожаной куртке с песцовым воротником, остановился, пошарил в кармане. «Черт, черт, налички никакой с собой, одни карты, доченька, у тебя какая копеечка в кармане есть?»

Девочка тряхнула косками, они запрыгали по плечам. Вынула из кармана сто рублей. «Есть, папа!» Вера стала падать на землю; упала на бок, скрючилась, чтобы удобнее было вскочить. Мужчина рванул на шее шарф. Сморщил нос. «Фу, да она больная! От нее воняет! Бомжиха! Дочь, не подходи, у нее вши!»

Девочка сунулась к Вере. Вера слишком рано схватила ее за руку. Слишком рано ожила. Богач не добыл из кармана никакой телефон, не стал вызывать никакую «скорую». Вера подхватила девочку под мышки, она завизжала, Вера в ужасе пустилась бежать, волоча девочку за собой. Мужик нагнал их в два счета. Вера зажмурилась. Она поняла: сейчас ее ударят по голове, сильно, кулаком. И мира больше не будет. На время или навсегда, неизвестно. Навстречу им уже неслась на всех парах бешеная кудрявая Марина. Она держала на вытянутой руке пистолет, сделала два выстрела: один, второй. Первый — мимо, вторая пуля попала мужику в руку. Третий выстрел он не дал ей сделать. Ловкая подножка, и кудрявая баба с харей хрюшки падает навзничь на снег. Мужик выхватывает оружие из ее руки и стреляет, стреляет, стреляет ей в лицо. Пока не расстрелял всю обойму. Лицо бабе расквасил в красный кисель. Нажимал, бестолково и зло нажимал курок, а пули уже не вылетали из горячего ствола. Вера стояла и смотрела, крепко прижав к себе девочку. Ощущала, как мелко дрожит маленькое живое существо. Девочка подняла лицо, и Вера увидела ее глаза. Вера снова заглянула в зеркало. Нежное зеркало! Человек глядится в человека, и зачем тогда плакать о том, что ты на свете одинок? Ведь все лишь отраженья друг друга. Все повторяют друг друга, перетекают друг в друга, как реки, и нет ничего единственного, все всеобщее, все повторяется, все навязло в зубах, все давно выучено наизусть.

Она оттолкнула от себя девочку. Надо было бежать, а ватные ноги не слушались. Поодаль стояла машина. Вера никакую машину водить не умела; она умела только молчать и бояться. И еще ухаживать за людьми, когда они болеют. Мужик перевел взгляд на красное месиво, что застывало на асфальте вместо пухленького поросячьего личика Марины, и вдруг, как Вера давеча, упал перед убитой на колени. Пистолет медленно выпал из его руки и воткнулся в снег. Торчал из снега черной костью. Вера пятилась, она уходила, неужели уходила, она себе не верила, но шла, шла сначала задом, потом чуть не упала и отверну-

лась от людей, от плачущей навзрыд девчонки и застывшего в ужасе мужика: ей повезло, ей подфартило необычайно, ее отпустили, ей давали свободу, на миг, на час или навсегда, это уже было неважно, ей молча говорили: уйди! убеги! спасайся! — а она будто не хотела спастись, все медлила, и тоже стояла в снегу и смотрела, и сугроб возвышался перед ней, как мраморный пьедестал, и сама она была памятник, до ушей закутанный в белую простыню последнего страха.

Наконец ее ноги налились жизнью. Задвигались сами. Она пошла, спиной ощущая: смерть отвернулась от нее. Кто бережет ее? Кто позволил ей жить? Кто были эти люди, у которых она на время побыла слугой, помощницей, лгуньей, любовью? Зачем она сунулась им под ноги? Кто ее об этом просил? Кто ей это запрещал? А она все равно... все равно...

«Все равно это я, я одна», — повторяла себе Вера бессмысленно и беспощадно, медленно уходя от места смерти, вновь увиденной в жизни ею, еле ноги волоча. Она сама себе напоминала стебель, выдернутый из земли с корнями. Потом ей привиделось: она перевернута, и ее корни, ноги, глубоко и радостно вырастают в небо. И она их вырывает из неба и идет по небу, ощупывая руками синее сияние. И облака снегом сверкают, белые горы.

Вера пешком дошла до особняка Марины. Ключа у нее не было: кто бы ей его дал! Она обошла вокруг дома, глядя невидящими глазами. Перед ней мелькнул маленький деревянный, будто кукольный, весело раскрашенный домик. Поздно она сообразила: собачья будка. А где собака? Вера наклонилась и тихо свистнула. Из будки выполз огромный лохматый пес. На морде пса светилось собачье добро. Он облизал Вере руки, потом встал на задние лапы и излизал ей все лицо — губы, нос, щеки. Вера заплакала и упала в снег рядом с собакой. Обняла пса и уткнулась мокрым лицом ему в шерсть. Ей надо было вы-

плакаться. Слезы вывернули ее наизнанку, и она будто родилась вновь.

Живая, она умылась снегом. Солнце закатывалось. Она легла животом на снег и заползла в будку, с трудом протиснувшись. Пес прополз за ней. Он понял: он ей нужен. Вера крепко обняла собаку, как человека. Оба, зверь и человек, уснули в маленькой дощатой избенке. Ни о чем не думая. Ни о чем не жалея. Вера вскрикивала во сне. Пес подставлял ей теплый мохнатый бок. Вере в дреме казалось: она обнимает медведя. К утру у нее замерзли ноги, а грудь и живот сделались горячими, как печка. Пес слегка подвывал и дергал лапами. Ему снились сны.

Наутро Вера отважилась и выставила оконную раму. Залезла в дом. Осторожно, будто умный грабитель, поджав тонкие губы, шла по дому, рассматривая дивную мебель, богатые статуэтки и расписные вазы, удивительную, в виде морских ракушек, посуду за хрупкими стеклами. Она не хотела шарить по шкафам, искать обещанные Мариной деньги на дорогу. Она искала свой ранец. Нашла. Встряхнула: тяжеленький, вещи на месте, книга на месте. Нет, все-таки открыла, чтобы удостовериться. Запустила руку под белье. Под кружева покойной Анны Власьевны. Евангелие мирно лежало на дне ранца. Оно спало.

Она шла по городу Челябинску, и каменные дома наваливались на нее вечным холодом. Каменные гробы, каменные кресты. Она не боялась, что встретит на улице Бритого; не боялась, что ее найдет полиция и посадит за решетку за то, что пособляла убийце. Кто кого убил? И за что? В голове у нее гудело, будто она сама была поезд и издавала долгий, протяжный гудок, говорящий о бесконечной дороге и бесконечной тоске.

Ей надо было раздобыть денег, чтобы двигаться дальше. Она уже не мечтала о неведомом Иерусалиме. Только знала: надо ехать вперед, а если нельзя ехать, так хоть идти.

Так шла и вспомнила: была у матери подружка Лиза, да, точно, Лиза Матронины. Она жила вроде бы в Казани. Так и есть, в Казани! Вот бы до Казани добраться. А Казань, это где? Она об этом спрашивала себя, а себя бесполезно было спрашивать. Вся земля для Веры была на одно лицо. И мамкина подруженька Лизавета Матронины, может, давно уж отдала Богу душу. Богу? Душу? Зачем Ему чья-то душа? Он что, собирает их в лукошко? А потом варит из них варенье?

Вера вспомнила детство, и длинноносую Лизу, ее мать так смешно называла иной раз: «товарищ Матронины», и как Лиза приходила к ним в праздник Седьмое ноября, помогать лепить пельмени, великое, редкое блюдо, и тереть на терке морковь и свеклу, и строгать мороженую рыбу хариуса, и то, как Лизины руки, в бородавках, а Лиза все смеялась: «Лягушек ребенком убивала, вот Бог и наказал!..» — пахли странно и томяще, точно так, как сизый дым из железного золоченого крупного яйца в церкви, им всегда священник машет, когда поет, и все пьянящий дух вдыхают, и мощная цепь звенит.

Опять вокзал, и гранитные плиты под ногами, и эти гудки, они прокалывают уши. Жизни нет без дороги, а Вера слишком долго прожила на одном месте, и вот теперь идет, все вперед и вперед, и этот Ход Веры по земле казался ей самой гигантским серебряным коромыслом, слепленным из снега, льда и мерзлого асфальта, и на крюке коромысла висела она, как порожнее ведро, и кто-то Сильный, Мощный должен был наклониться над близким, непроглядно-черным колодцем и ею, Верой, зачерпнуть из черноты чистой светлой воды.

Так и видела перед собой глаза ребенка близ убитой матери. И глядела ее, детскими, глазами.

Глядела на все вокруг, и все узнавала — и когда стояла перед очередью в кассу и просила подлинную милостыню: «Помогите, родные, мне до Казани надо добраться, а денег на билет

нет!» — и когда ее грубо, кулаком в грудь, отталкивали: «Пошла прочь, побирушка!» — и когда малый мальчонка, годов семи, а может, восьми, в закрашенных известью круглых очках с проволочными дужками, вставал рядом с ней, за ее спиной, сдерживал с затылка кепку, протягивал людям и заводил гундосо, заунывно: «Друзья, друзья, я ничего не вижу, белый свет душой я ненавижу! Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите — ноги мои босы!..» — и когда мимо нее шла красавица, и падал на плечи красавицы шелковый богатый платок, и совала красавица Вере в руку красивые, расписные бумажные деньги и морщила, будто в смехе, нос, и говорила капризно, тонко и нежно: «На, держи, езжай куда хочешь!..» — и губы и зубы ее смеялись, а из глаз ее, ярких и синих, как уральское небо, текли мелкие, жалкие, птичьи слезы.

Все узнавала Вера, сначала глядя непонимающе, потом с болью, ярко вспоминая — и культы молодых парней, и седые космы безногих, на тележках-каталках, стариков, и живот-сугроб брюхатой проводницы, что все сдвигала набекрень форменный берет, подбитый мехом, и кричала на курящих: «Нельзя, нельзя! В тамбур, в тамбур выметайтесь!» — и сияющую, драгоценную зимнюю радугу над Уралом, когда поезд стучал ледяными колесами по серебряным длинным чехоням рельсов, и реки подо льдом, до времени спящие, с тайнымикладами рыбы, с россыпями мальков, раков и раковин внутри, в застылой, жидко-ртутной толще. Она ехала, сходила на землю на чужих вокзалах, снова влезала в поезд, боясь навек отстать от него, и ее подсаживали, и ей подавали руку, и на ее глазах люди били людей по щекам — и обнимали, лаская, в слезах; люди убивали людей — и люди вставали перед людьми на колени, прощенья прося; на ее глазах люди обманывали друг друга и обманывали ее, и исчезали, торжествуя, и, убегая, показывали ей зубы, открыто и нагло над ней насмехаясь; и тут же, рядом, люди совали ей в руку хлеба кусок, совали кольцо с ярким крупным камнем: «Продай и поешь себе купи, и билет куда хочешь купи, может, где другое счастье найдешь!» Ее мазали грязью — а за углом,

чуть отойти, выливали на нее ушат чистой ключевой воды, и обмывали ее, и обтирали ее, и шептали ей на ухо: «Ты так устала, отдохни у нас, вот вымылась, сейчас поешь, а мы постелем тебе вон там, на печи, на печь-то взберешься?» Вера наклоняла голову, не в силах говорить. Ночевала у добрых людей, и снова в путь. В адресном столе Казани ей сказали, что Елизавета Порфирьевна Матренина живет сейчас в селе Верхний Услон. «Это на Волге, матушка. Не сильно далеко. Быстро доедешь. Вот улица, дом! Найдешь!» Ей протянули бумажку, там аккуратно был написан адрес Лизы.

Из Казани до Верхнего Услона Вера шла пешком.

Иногда ее подсаживали к себе шоферы. Она все крепче сжимала рот, ни о чем с шоферами не говорила. Они не посягали на Верину честь: баба казалась им старой, скучной и слишком твердой, боялись зубы обломать.

В сельмаге не на что было Вере купить Лизе подарок, хоть какой гостинец. «Я сама гостинец», — усмехнулась она сама себе и вышагивала твердо, жестко. Юбка развевалась по ветру, облепляла ее жесткие, кочергами, ноги. Щурясь, читала названия улиц. Дул ветер с Волги. Вера видела Волгу отовсюду — и справа, и слева, и сбоку. Красота реки сбивала ее с ног. Ветер выдувал у нее изнутри всю боль, и прошлую и будущую. Около маленькой избы, вросшей в землю, Вера остановилась, сверилась с бумажкой: да, это здесь.

Калитка визгнула под рукой. Вера быстро прошла по тропке до крыльца, ветер взвивал ее юбку, рвал. Одной рукой юбку придержала, другой громко, звонко постучала в окно.

— Эй! Есть кто дома?

Прошло время. Вера ждала. Возник звук, перешел в мышинное шуршанье.

Дверь приотворилась. Лисий длинный нос высунулся. Подбородок, обтянутый сморщенной коричневой кожей, задрожал.

— Ихто тут?

— Лиза! — воскликнула Вера. — Лиза, здравствуй! Это Вера Сургут! Дашина дочка! Ну, Дарьи Сургут дочка! Из Красноярска!

— Не знам никакой я Даши! И мышей у мене нетути, морить не надоть! У мене кот живеть, знатнай! Усех мышей пожрал, как волк овец!

«Зачем я сюда приволоклась», — думала Вера, умоляюще прижимала ладони к груди.

Лиза сжалилась.

— Ну, взойди. Взойди! Не маячь у крыльца! Сургут, вишь ты! А ежели врешь ты все?!

И тут Вера взяла и перекрестилась. Широко, размашисто.

— Не вру, Лиза! Вот те крест! Я Вера Сургут!

И еще перекрестилась, и еще, для верности. Три раза.

Дверь распахнулась широко, створка ударила в стену.

Перед Верой стояла горбатая старуха, пугало огородное, ноги в дырявых валенках, кофта из развеселого цветастого ситца, как на сенокос собралась, кончик носа касается змеиной изогнутой губы, на лбу очки, толстые стекла грязны, мутны, впалые щеки исчерчены безжалостным резцом мертвых годов.

— Порог переступи!

И Вера переступила порог.

Вере показывали все то, чего у нее не было никогда.

За ней ухаживали; ей топили баню, величиною с собачью будку; терли ей спину мочалкой, поддавали кипятку в камеленку; ей пекли пироги с капустой и пироги с малиновым вареньем, ей постлали свежее белье, и простыни пахли полынью, ей даже расчесывали мокрые, после баньки, волосы старинным железным лошадиным гребнем. Вера оказалась в древнем убитом времени, а вернее, вне времени; она вышла из времени вон, в чистую любовь, вошла внутрь простых вещей — в чашку горячего крепкого чая, в блюдце, на него надо было наливать чай и дуть, остужая, — в запах хлеба и пирогов из русской печи, и слушала Вера внимательно, как на ночь старая Лиза читает из толстой мудреной книжки, — может быть, это было Евангелие,

такое, как у нее в ранце, а может, что другое. Она слушала и заслушивалась. «К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои, ибо вси терпящии Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующии вотще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день», — хрипло читала Лиза, держа на коленях громадную книгу, спящую кошку, откашливалась и тяжело дышала, как конь на пашне, и невольно Верин рот повторял за ней: «И Тебе терпех весь день!» Какой день, а может, век?

Старуха Лиза слюнила палец и с трудом, будто камень ворочала, перелистывала страницу, вытирала скрюченную руку о веселый ситец складчатой юбки, метущей дожелта высокобленный пол. «Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моея, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоея, Господи! Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающим на пути. Наставит кроткия на суд... да ты слушаешь ли, Верка?... да?... научит кроткия путем Своим!..». Вера кивала, будто одобряла Лизино чтение, и следила, как тянется все ближе к половице серебряная еловая шишечка старинных ходиков. Со стены на обеих женщин тихо глядели из овальных и квадратных рамок желтые, карие снимки: всех Лизиных детей убили на дальней, забытой войне. Только Лиза войну не забыла. И о сыновьях своих и единственной дочке Машеньке всю жизнь молилась. «Так вот и молюся всю жизнь, Верка, и никому мене от молитвы-ти не рыпнуться, и чту Псалтырь. Чти и ты Псалтырь! сие есть слово Божие, изреченное батюшкой нашим царем Давыдем! Да вы вси бесчестны людишки современны. Вси путие Господни милость и истина, взыскающим завета Его, и свидения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть!»

Псалтырь, это было для Веры новое странное слово. Она запомнила его: уж очень чудно звучало. Будто кто ударяет по стру-

нам — гитары ли, гуслей, а может, арфы. Когда Лиза засыпала, Вера подходила к столу и тихо, чтобы не разбудить старуху, листала толстенную, тяжелую книгу. На первой странице мерцала гравюра. Оттиснута двумя красками — черной и красной. Царь, в короне, сидел на троне, одна рука протянута в сторону, и в ней крупный, будто елочный, шар лежит; в другой руке зажато перо. А у ног его музыкальный инструмент. Вроде арфы: натянуты струны, гриф изогнут лебедино. Черная арфа молчит, алая корона на лбу сияет. И опять, опять эти витиеватые, безумные буквы! Вьются, текут, завиваются хмелем, перевиваются струями ручья. Поют! Их не читать надо, а петь. Как это сегодня баба Лиза читала? «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну...»

Не читала, а пела...

Вера сама не замечала, как огненно впечатывались, вжигались в нее странными, светло-навечными клеймами эти неведомые слова, никогда ею не слышимые; незримыми пчелами роились вокруг, жалили, и больно было и хорошо. И жар по душе разливался.

И телом весело становилась немая душа.

Перед староверской иконой Богоматери Казанской, перед еще более древней иконкой Параскевы Пятницы горели Лизины цветные лампы: перед Божией Матерью красная, перед Параскевой — зеленая, цвета яркой весенней травы.

Лампы мстились Вере горящими буквицами, словно они прыгнули со страниц Псалтыри и загорелись сами в темном, зимне-сумеречном воздухе избы. О чем они говорили, шептали? Пели? Старуха Лиза читала, как пела, и Вера, сидя за столом и положив на стол чистые, розовые после бани руки, тихонько раскачивалась из стороны в сторону и неслышно пела псалмы и кафизмы вместе с ней.

Лиза расспрашивала ее о жизни в Красноярске. Вера отвечала жестко, скупно: «Ничего, хорошо жила». — «А какова беса

в путь пустилася?» — «Не беса, а... — Перед Верой распахнулись нежные синие небеса. — А Бога, лучше скажи. Меня подруга попросила в Иерусалим за нее сходить». — «За ее? Как это, за ее?» — «Померла она». Лиза троекратно перекрестилась и с чувством вымолвила: «Царствие Небесное рабе Божией... как бишь ее?... Анна?... Анне. И вечная память».

Вера сидела застыло. Вечная память? А кто будет помнить о ней, когда она умрет? Кто по ней заплачет?

Время катилось тряским колесом старой забытой телеги.

...век, а может, день, а может, тень.

...дня не будет, и ночи не будет, и времени не будет...

...и небеса совьются в свиток...

...в какой еще свиток, ты спятила...

Настал день, когда Вера униженно, кляня себя за смущение, попросила у Лизы денег взаймы. На дорогу. От Казани до Москвы. Я отдам, я занять, на время, я без обмана, бормотала Вера, а Лиза презрительно махала высохшей рукой: «Да ни в жись не отдашь, рассказы все это! вильнешь хвостом, и поминай как звали!» Потом вздыхала глубоко: «Я-то стара перешница, зачем мене монеты эти, бумажонки. В гроб с собой не возьму». Подошла к палехской шкатулке, что стояла на старинном телевизоре — огромная линза, полная мутной воды, закрывала, увеличивая, крохотный болотный экран, — повернула изящный, как из сказки, ключик. «Верк, тут у мене пеньсия скоплена, на похороны! Так я тебе из ее дам! Много, пойми, не дам! Не обессудь, матушка!» В сухих птичьих лапках шуршали бумаги, испещренные пятнами и цифрами. Лиза протянула деньги Вере, сморщила лицо и заплакала, и беззубый рот ее растянулся в плаче, будто в улыбке.

Вере было жаль уезжать от Лизы. Они сроднились сильно и быстро. Вера понимала: уедет, а возвращенья не будет. И жизни Лизиной не будет. На прощанье Вера обняла Лизу крепко, крепко, и смутно, жарко, торопливо выдохнула ей в сморщенное печеным яблоком ухо, под серебряную метельную пряжку: «Прощай, товарищ Матренина».

Гуляла по Казани. Добралась до Кремля. Белокаменные башни напоминали ей толстых баб в белых поневах, стояли крепко, ноги расставив крашенные, кирпичные, и руки в боки. Перед кремлевской стеной горделиво застыл громадный железный павлин, хвост у него настелен по земле из елового темного, изумрудного лапника. Сам стальной, хвост живой. Павлин должен был напоминать о немыслимой роскоши ханов, что сотни лет назад обитали тут. Башня царевны Сююмбеки кренилась, падала набок. В небе плыли теплые облака. Снег таял стремительно и озорно, превращаясь в бормотливую воду. Вера, стоя у бордюра тротуара, зачарованно глядела на бурливый водяной бег, на ноздреватый грязный хлеб оседающих сугробов. Еще одна зима миновала. Весна налетала быстро и властно. Вера у всех спрашивала время. Часов у нее не было с собой. Отродясь наручных часиков не нашивала. Ей отвечали, и все по-разному. Она заволновалась, слишком рано пришла на вокзал. Сидела в зале ожидания. В жизни всегда надо чего-то ждать. Все ждут, ждет и она.

«Ие-ру-са-лим», — шевелились упрямые губы. Объявили посадку.

Весь путь до Москвы Вера просмотрела в окно. Она там видела землю. В темноте — свет. Фонари, рекламу, дрожащие во мраке неоновые яркие трубки. При солнце — снег, грязь и камни. Дома. Людей. Люди шли мимо. Они не видели ее, свечой горящую в холодном окне. Иногда в стекле она видела себя. Зеркало пугало ее. Она не хотела заглядывать в свое отражение. Хотела быть свободной, и от самой себя тоже. Это было глупое желание: она зависела от всего — от денег, от голодного желудка, от зла и добра встреченных на пути людей, но превыше всего она зависела от времени, и, хоть немало лет жила она уже на свете, ей все-таки было не понять, из чего время состоит и отчего оно движется. Так же, как непонятно, нелепо движется человек.

«Если оно движется и живет, как мы, значит, оно и умирает, как мы», — мысли текли, а пальцы звенели ложечкой в вагонном стакане, размешивали ненужный снеговой сахар.

Казанский вокзал в Москве бросился ей в лицо гомоном и раскосыми лицами, родная Азия наплыла на нее и закружила в песчаном раскосом хороводе, бежали сломя голову девчонки в кожаных островерхих шапках с меховой оторочкой, волокли тюки толстопузые дядьки в полосатых халатах; еще лежал снег, а внутри вокзала плыл маревом зной, и узоры под потолком кричали о давно забытой, алмазной и кровавой ханской власти, а может, о красоте, тоже забытой в погоне за жратвой и жильем, — красная лепнина выгибалась, мраморные дамские пальчики шевелились и манили, безмолвно соблазняя, совращая тайной легендой. Быль это боль! Все, что было с тобой, все равно ты забудешь. Как и этот день, и день вчерашний. Ноги ступают по земле, а какая разница? Точно так же они ступали бы по облакам, дай им волю.

Вера шла по вокзалу, выходила из него вон, на воздух, на широкую площадь, и вопросы кипели у нее на сжатых в нитку губах: где старая Россия? кто ее помнит? где тот СССР, в котором жили ее отец и мать, ее бедный отец Емельян Сургут, за что посаженный за колючку, она так никогда и не узнала, ей не сказали, ребенка берегли, — за все хорошее, а может, и ни за что, — и ее бедная мать Дарья Сургут, крепкая сибирская баба, чертоломила всю жизнь, перепробовала на зуб сто работ, а смерть настигла, как всех, и не увильнешь, не отвертишься, — все случилось, как надо, и кладбище, и крест, и на снегу торопливые поминки. Где старики, и где новизна? Новая страна, Вера в ней сейчас и жила, ее новое обиталище, новая ее гостиная и спальня, была непонятна ей, она пыталась прочесть ее, как книгу, как ту толстую чугунную Лизину Псалтырь, да еще чуднее расползались по чадным снеговым, земляным страницам новые каменные, железные буквы. Новые рисунки: охальные, непотребные. Стыдно? Отвернись! Да невозможно всю жизнь прожить с отвернутым вбок лицом. Веру приучили глядеть правде в глаза. Она и глядела.

Она шла по Москве и искала в ней ту вечную Москву, о которой она в книжках читала, будто в сказках, и которую воображала себе часто и радостно, как летом — новогоднюю елку: вот кремлевские башни, и алые на них звезды, вот танки на параде, вот полосатые, дынные и яблочные купола знаменитых пряничных церквей, — где все это, родное до слез? Небоскребы, блеск стекла и металла, до рези в глазах, дымная гарь, грохот колес и крики гудков заслоняли живой яркий цвет и живой дальний колокол. Тихо, шептала она себе, тихо! Не возмущайся! Это же она, твоя Москва! Твоя любимая столица! Спасибо Иерусалиму, а то так бы и прожила в Сибири, и Москвы бы не увидела, не пошла вась вдоль по ней, по родимой! Глаза против воли все запоминали. Зачем человеку память? К чему помнить все? В гроб с собой не возьмешь, повторяла она изогнутыми насмешливо тонкими губами ворчливую Лизину присловицу.

На Красную площадь Вера все-таки выбрела. То в метро, то в троллейбусе, то пешком, — ей казалось, она движется ползком, — то и дело выпрашивая у прохожих дорогу, нарываясь на иностранцев, они беспомощно растопыривали пальцы и лопотали по-ихнему, Вера извиняюще улыбалась, она ни одного чужого языка не знала, и это тоже бросало ее в краску, топило в глубоком стыде: вот мы неграмотные какие! а простые! а сибиряки такие вот, лапотные! Она словно бы попала из незапамятного времени, а чуть ли не из-за тюремной колючки, в новый мир, в странный, резкий его свет и гром, — у нее было чувство, что ее выбросили в пустое открытое небо, в черный, всеми звездами сверкающий ночной оком, и все взблескивает вокруг, светится и рушится в бездну, а ей надо пройти над бездной по самому краю жизни, по ее узкой, как ладонь или ступня, дрожащей кромке.

...скажите мне имя времени! Оно — мое. Крепче кремня, нежнее, чем белье!

...прозрачней и призрачней, чем свадебная фата...

...страшней, чем на тризне... в крови его пята...

Многоглавая мощная церковь ударила ее по глазам ярким бешенством, безумием куполов: желтый! звездный! алый! в ко-

лючих гранях, будто самоцветная друза! полосатый, как матрац! золотой, тяжкий сгусток счастья, хоть лизни золотой сахар, да не отравись только, закрой глаза, застынь, слушай! Как раз зазвонили с колокольни. Вера стояла и слушала звон, будто всю жизнь была глухая и вот услышала мир. «Как чудо», — подумала она с легкой улыбкой — над собой, над миром, что вот внезапно взял да подарил ей столицу, и она невольно сравнивала ее с Сибирью, и выходило так, что все равно Сибирь сильнее, мощнее, — грандиознее. «Наша Сибирь главное чудо», — думала Вера, задирая голову и восторженно, как дитя, разглядывая яркие сумасшедшие купола Василия Блаженного. Стекло и сталь за спиною померкли. Новизна сдохла, рухнула и разбилась: умерла. Вечность моталась перед Верой в небе, синем уже полетнему, в виде этих разноцветных круглых разбойничьих голов в расписных роскошных тюрбанах. Вечная Русь принесла ей на голубиных крыльях большую радость, и Вера не знала, куда ей эту радость спрятать: за пазуху ли, в ранец за спиной.

Ни на какую гостиницу денег у нее, конечно, не было. Лизины дареные купюры из ее кошелька исчезали так же быстро и внезапно, как и появились. Она старалась их сберечь, и тем быстрее и насмешливей они, разменные, утекали. Столько поджидало в Москве соблазнов! Как это вкусно, и это, и еще это, а голод не тетка! А это, разве можно такое пропустить, не посмотреть! Вера забредала в зоопарк, в планетарий, дивилась на ночное искусственное, под куполом, небо, полное звезд, и планеты по нему катились, и Юпитер с Красным Пятном, и круг лунного сыра, и Сатурн с кольцами, подобный детской юле; даже на концерт звезды, модной певицы, однажды попала — так долго перед ней трясли билетом, и так красиво, медово светились из вечернего мрака толстые, в три обхвата, колонны громадного театра, что Вера не устояла, махнула рукой и вынула деньги из потощавшего гомонка. Певица пела так красиво! Слишком красиво; Вера даже подумала — она не живая женщина, а красивая кукла, и внутри нее завели голосовой автомат, и он выпускает на волю, в публику, красивые соловьиные рула-

ды. Певице громко хлопали, хлопала и Вера. Она хотела, вместе с другими людьми, увидеть еще раз, хоть на миг, красивую певицу; толкалась около тяжелого занавеса в потной нарядной толпе, протягивала руки, кричала вместе со всеми: «Бис!» В гардеробе, когда она брала свою одежду, она поймала ненавидящий взгляд гардеробщицы: Вера ничего за услугу не дала ей, никакой денежки, не вынула из кармана. Ночевала на Казанском вокзале: быстро и сурово сдружилась с дежурной из Сибири, и та милости ради, без всякой оплаты, пускала Веру в зал ожидания, где можно было угнестись в железном неудобном кресле и сиротски дремать в тепле.

Ночью, на вокзале, она просыпалась, будто кто ее в бок толкал. Вытаскивала из ранца Евангелие. Нырля в него, и страницы, как чьи-то живые ладони, грели ей холодные руки. Свои руки чудились ей шуршащей погиблой бумагой, а со страниц золотой волной шло такое дивное тепло, что ей хотелось склониться и тайком припасть к буквам губами. Евангелие от Матфея. Кто такой Матфей? Зачем он все это написал? Иисус, Бог Он или же человек? Никто не мог ответить ей на эти жаркие вопросы, кроме этой истрепанной святой книги старушки Расстегай. Вера читала, читала и читала, повторяла шепотом иные слова; бросив непонятное слово на полдороге, возвращалась к нему. Снова вылепляла его губами, и мужик с белой бородой в соседнем кресле завистливо и хрипло просил: «Эй, женщина, почитайте и мне! Скучно!» Вера возвышала голос, мужик приставлял ладонь к уху — он был глуховат. Вокзальная уборщица терла каменные полы мокрой щеткой. Баба в собачьей шубе просыпалась рядом, грубым лаем бросала Вере: «Што трещишь, трещотка! Заткнись! Ночь-полночь, а они расчитались! Чтецы! Песцы! На радио иди работай!» Вера зажимала рот рукой. Белобородый старик мучительно морщил лоб, бывалое лицо его сминалось жалостью и обидой. «Ну, не велят, значит, не велят. Просют! Покоя просют! Спать оне хотят. Пускай спят! Смолчим. А ты мне, женщина, потом, как прочитаешь, расскажешь, как

да что оно там?» Вера наклоняла голову. «Да, дедушка, расскажу».

Вера подождала немного, наклонила голову над книгой и стала читать вслух, тихо.

«В то время следовало за Иисусом множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, Он взшел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах».

Она читала все тише и тише.

Она читала нежно и неслышно.

Она читала, беззвучно шепча. Старик засыпал. Потом засыпала она. Потом просыпалась, и мужика с белою бородой уже не было рядом. И книги в руках тоже не было: она валялась у нее под ногами, выпала, когда Вера уснула.

Она поймала себя на мысли, что стала забывать о Иерусалиме; Иерусалим казался далеким видением, его призрачные стены осыпались, продуваемые пустынными ветрами, окна и двери глядели небесами, дома проглядывались насквозь, и в этих сквозных дырах виднелась иная жизнь — та, которую Вере, она знала это, уже никогда не прожить. Сладкая, милая жизнь! Неизвестная вечность! Подарки звенящих звезд! Тогда, давно, над Вифлеемом, над Иерусалимом горел хищный глаз ослепительной Звезды. Цари из далеких земель ехали на слонах и верблюдах на яростный свет этой Звезды. Не цари, а волхвы, поправляла она себя, а может, это одно и то же. Волхвы, у них мешки,

полные халвы. Сидят на верблюдах, башки в тюбанах, на лбах короны, звезды жемчугом падают с небосклона. Она вычитала в Евангелии от Матфея, что волхвы принесли младенцу Христу, лежащему в яслях рядом с мамкой, в подарок гостинцы: золото, смирну и ладан. Она не знала, что такое смирна. Что-то смирное, наверное, так весело думала она. Такое тихое, нежное, как овечка. Может, овечье руно. Ну, золото, с ним все понятно. А ладан? Что такое ладан? Какая тишина летит вдаль от этого слова! Ладан, да, это в церкви; это из церкви. Да, так пахнет в церкви.

И вокруг Веры пахло ладаном, а не кофейным, грязным и хлорным духом вокзала.

Восстани, что ж ты спиши, душе моя ты, душе!
Воды зачерпни — вся жизнь отразится
в Звездном Ковше.
Я ночью, на лубяном вокзале, на жесткой лавке
спала —
И вдруг пробудилась, и заплакала, оплыла,
свеча на краю стола.
Свеча в пустой банке консервной... а я, как дитя,
все жду,
Все жду подарка, как Бога, — ой, нет, Бога-подарка,
на льду-холоду!
Васильками лед искрит... на зуб попробовать...
зимы кусок откушу —
Вот и сыта... и напиться — впрок на свете
нажиться — губами припасть к Ковшу...
А как жизнь жила? Не вспомню! В катанках, чунях,
чулках,
В стряпне, в голодухе, в краснофлажных ветрах,
в штопанных, утаенных грехах,
А тут время сжалось, в кулаке голубенком пищит,
сизый пепел и прах, —
И голос высоко в небесах слышу: конец скоро,

суд при дверях!
Руку ко рту прижала. Рыданием давлюсь.
Ворочается вокзал
На жесткой стальной подушонке. Как верить,
мне никто не сказал.
Как это — персть, Благою Весть, ко грешному лбу
подносить
И будто солить себя, благословить, вязать
нательный на нить
Этот крест дорог, этот крест путей,
распятие серебряных рельс,
И я горько восплакала, чую, чугунных времен
в обрез,
И с лавки железной встала, и вижу: мрачно стоит
за мной
Смерть моя — в платке моем шерстяном, с косой
за спиной.
— Ты, смерть, ты слишком рано явилась, уйди!
Я мир люблю. Я сплю с ним, святым, на груди.
А ты? Что глядишь пропастями
пустых, угрюмых глазниц?
Я все равно не упаду пред тобою ниц!
Я грешница, смерть! Мне — мои грехи отмолить,
разбивая лоб,
Во всех церквах, горьких, как сныть,
без сна, пьянея, вздохлеб!
Уйди! Колеса стучат, и вдоль перрона бегу в мой
железный дом —
Ушло тепло, разбито стекло, гудок, и грохочет гром!
А смерть смеется всеми зубами, оскал у людей
на виду:
— Какая горячая... что тебе пламя!.. нет, я от тебя
не уйду.
Я тюремщица, надзирательша, я сторожиха твоя —
Проси не проси, а пойду за тобой, по рельсам,
по выюге белья,

По жесткой стерне, по жнивью в огне, по камню
больших городов —
И можешь мне врать, что ты молода, что
не искупила грехов!
Плевать мне на все грехи твои. На запах
сырой пустоты.
А злата и серебра нет у тебя — ничем
не откупишься ты.
Ты мнила —пустишься в дальний путь, и удерешь
от меня?..
И ноги уже — не протянуть... и нет панихиде —
огня...
А все так близко... небесный плот... ты думала,
рыба-жизнь
На леске горит?!.. на червя клюет?.. ловись без
конца, ловись?..
Я смерть, не бойся, я — мать Тьмы — послана
Богом тебе:
Ты мыслишь — зло, а я ведь добро, я вышита
по судьбе
И кровью, и гладью, золотным шитьем,
Счастливым навечным сном...
Что, дура, ревешь?.. от меня не уйдешь...
ни сейчас, ни потом...
— О милая смерть, я тебя молю, пропади, скройся
ты с глаз,
Я даже потом тебя полюблю, но только уйди
сейчас!
Я Бога жду. Он еще не пришел. Он там,
за вокзальным углом,
Дыханьем греет руки Себе, мороз загребает
веслом.
Еще не вкусила я сладко, сполна сужденную мне
судьбу.
Еще не готова я — дева, одна — лежать в богатом
гробу!

Так мы стояли друг против друга. Я и смерть моя.
И старик разлепил глаза на лавке, и проснулась
моя семья,
Мой великий люд, мой гул и гуд, мой пасхальный,
каторжный труд, —
Весь проснулся, весь востепенулся, — даром знал
он, что все умрут!
Но какие счастливые, светлые лики! Ах, народ мой,
иконы для
Твои руки, и нимбы, и слезы, и крики, под ногами
твоя земля!
И никто, да, никто часа не знал, пока проходили
века.
И никто под выстрелом не упал, обливая кровью
снега.
И метелью наследных кружев не бинтовала я
страшных ран —
И меня на поминках не угощал кутьей ты, мой
дуже,
северный ветер, пьян...
И сказала мне смерть:
— Умереть не посметь тебе нынче, царица зимы.
А настанет день — и наляжет тень — и обнимемся
крепко мы.
Ты сегодня гуляй. Волю пей через край. Всех в лицо
ты запоминай —
Ведь настанет срок, и шагнешь за порог, и тебе
улыбнется Рай.
Спит под яблоней Змей. Там вместо людей —
Серафимы. И счастье — навек.
Жизнь окончена. С подносов седых площадей
Ты скатилась яблоком в снег.

Однажды шла она по улице, даже запомнила, как она назы-
валась: Ордынка, вот как. Люди шли навстречу, и Вере казалось,

вся земля ей навстречу идет. Она остановилась у фонаря, ей стало жарко, она стащила с себя все теплое и утолкала тряпки в раздувшийся, как тыква, ранец. «Сейчас треснет по швам», — подумала Вера испуганно и ощупала ранец, как ушибленного ребенка.

Еще она придумала: надо устроиться работать. И заработать денег на Иерусалим. Вот просто! Как ей раньше это в голову не взбрело? Ведь Москва, тут же столько возможностей! Тут такие деньги крутятся! Она облизнула рот. Ну конечно, она зарабатывает себе и на поездку, и на паспорт, и на эту, как ее, визу!

Она уже знала, что требуется для выезда за границу. Ей та дежурная, в синем форменном костюме и блестящих погонах, сибирячка с Казанского, разъяснила. Не боги горшки обжигают. Она всего добьется. Руки у нее рабочие, и сама она еще сильная. Крепкая она баба, в общем и целом. А Москва большая. И она, понятно, никаким слезам не верит. Да Вера и не из плаксивых.

Вера шла по Москве, по своей тоске, попирала тоску свою ногами, напрягались ее икры, расталкивали юбку бедра, и длинная, как у монахини, немодная и уродливая ее юбка развевалась по теплему ветру за Вериными быстро идущими ногами, за спиной, и со стороны казалось, будто ветер Веру легко и весело несет над закованной в камень землей. Она шла, а музыка сама звучала в ней, и складывалась в слова, и лепетала, и стонала, и всхлипывала, и Вера сама себе, неслышно, пела на ходу чудесную песню.

Тихо я иду по земле... По свету иду, и по дождю, и во мгле! Тихо, тихо голос во мне звучит, без тревог, без боли, без обид... Я иду... а куда я иду?.. Где я счастье свое найду?.. Боже, Боже мой, Боже, есть ли Ты, нет ли Тебя, а мне делать что же?.. Боже мой, милостивый мой! Может, и дойду когда к Тебе домой. А где Твой дом, мне скажи?.. от холода, от страха, от боли не дрожи... Я Тебя уже немножечко люблю. Я Тебя уже ночью и днем хвалю! Только слишком слабые пока мои уста, и сама я пока грязна, не чиста... чтобы забыть все печали и грехи мои... чтобы сказать

Тебе, мой Боже, о любви... Я не знаю, не знаю, где же Ты живешь... Я иду к Тебе через бурю, снег и дождь... Я свое сердце бедное для Тебя держу в горсти: Ты прости меня, мой Боже, пожалуйста, прости!.. Прости меня... если что не так... Я зажму печаль свою в кулак! Я Тебе выплачу всю боль-тоску мою... у Твоей любви постою... на краю...

Что это такое с ней было? Она сама не знала. И никому она этого не смогла бы объяснить, и меньше всего себе. Есть и есть, ну и пусть. Хорошо слагались эти песни под ритм ее жестких, упругих шагов. Она толкала кулаком тяжелые двери, входила, читала объявления, стучалась в кабинеты. Ее спроваживали вон, указывали ей на дверь. Она пожимала плечами и выходила на волю из душных дворцов из камня и стекла. Работа не давалась ей в руки, как птица: плохо был связан ее силок.

А деньги тем временем кончились.

И тогда она почувствовала себя ребенком.

Брошенным ребенком.

На каждого глядела, как на мать, на отца; нет, все, беда, ты теперь сирота.

Угостите меня! Накормите, напоите меня! Я вам отплачу! Я вам хорошо заплачу! Только не сегодня, а завтра! Сегодня — нечем! Разве только собой! собой... от себя отщипнуть кус и вам подать... да вы ж мою плоть есть не будете, кровь мою пить не будете...

На бульваре села на скамейку. Рядом с нею упоенно целовалась влюбленная пара. Молоденькие совсем, дети. Кончили целоваться, мальчишка полез в карман и вынул кусок пиццы. Кормил свою девочку из рук, как зверька. Она откусывала от пиццы крупные куски и хохотала. Живот Веры свела голодная судорога. Она, сама не зная, что делает, и стыдно ли это, и правильно ли, и можно ли, протянула руку. Мальчишка воззрился на нее.

— Что?! А ну-ка пошла отсюда!

Девочка прожевала пиццу и вскинулась:

— Эй, полегче! Она же просто жрать хочет! Не видишь, какая худая!

Мальчишка вскочил с лавки.

— Идем, быстро! А может, у нее вши!

Девчонка хохотала как безумная. Икала. Утирала жирный рот ладонью.

— Блохи, блохи...

Парень схватил девчонку за руку, плюнул на землю перед Верой, и оба побежали прочь. Вдруг остановились. Девчонка что-то сказала парню. Он вернулся к скамейке и, не глядя на Веру, сунул ей в руку деньги.

— Возьмите... простите.

И теперь оба уже побежали, не оглядываясь.

Вера купила в ближайшей лавчонке пирог с мясом и ела его, урча по-собачьи, постанывая, обливая тесто слезами. Она ела пирог и молилась за того мальчишку. Господи! спаси его. Господи, да ведь он добрый, даром что грубый! Дети всегда грубые. Дети жестокие! Но вчера они злые и жестокие, а вот сегодня, сегодня... сегодня... они ангелы, просто ангелы... Господи! Спаси малого ангела своего! Спаси человека!

Когда она, наевшись, воскреснув еще для одного дня жизни, дошла до конца бульвара, в воздухе грохнуло, и близ Веры раздался зловещий, острый и резкий свист — будто бы плоть разрезала плотный воздух. Голос рядом заорал: «Пригнись! Ложись!» Она послушалась крика и упала на землю. Животом прямо в грязную лужу. Выстрелы грохали. Пули свистели. Вера осторожно подняла голову. Глаза ее метались. Наткнулись на двоих людей, они валялись около скамьи. Мужчина и женщина. Оба в крови. Мужчина стонал. Он был еще жив. Женщина лежала недвижно. Она умерла.

Шорох шин скользнул прочь. Люди бежали и ослепленно орали. Вера чьи-то сильные руки перекатали с живота на спину. Голос над ней вспорол невыносимую тишину. «Эта — жива!».

— Я теперь знаю, — прошептала Вера очень тихо.

Этот шепот услышали.

— Что — знаешь?! Ну, что, что?!

Человек тряс ее за плечи, дождь пошел, вода с небес хлестала людей по щекам, по затылкам. Вера лежала на земле, в грязи и песке бульвара, ее ранец больно вдавился ей в спину.

— Как свистят пули, — вышептала она, и мир колесом покатился вбок от ее глаз и исчез.

Когда очнулась, увидела рядом с собой великое множество людей. Люди сустились, тащили на носилках других людей, испятнанных красным; кричали, плакали, кулаками размазывали слезы и грязь по щекам. Беспощадно ругались. Трясли кулаками. Звали кого-то: и друг друга, и того, кто уже никак не мог сюда вернуться. Женщина, обезумев, прижимала к груди ребенка, всего в крови. Кровь впитывалась в песок, как в хлеб, и алыми чернилами стояла в ямах асфальта. Вера встала сначала на четвереньки, потом на колени, потом поднялась, шатаясь, и пошла меж убитых, настороженно вглядываясь в их лица. Она будто искала кого-то. Никто не знал, кого и зачем. И она не знала. Вот увидела. Лежит. Еще миг назад он был живым. Теперь он умирает. У него прострелена голова. При таких ранениях не выживают. Этого она не знала. Просто — догадалась. Не жилец ты, мужик. Она встала перед умирающим на колени. Стащила со спины ранец. Вытащила из него кружева Анны Власьевны. Размотала, встряхнула кружевами в воздухе. Стала заматывать кружевной вьюгой чужую раненую голову. Раненый человек мычал, как бык, время от времени открывал глаза, глядел бессмысленно, страдально, снова закрывал. Со лба обильно текла кровь. Вера обмотала кружевами лоб и виски, перекатила вьюжные мотки на шею, на плечи. Она не думала, что делает; она просто бинтовала раненого. На миг в нее занозой воткнулось запоздалое сожаленье: а кружево-то, ведь это ценность! «Для кого ценность? Для меня?» Она никогда не знала, что такое ценность, драгоценность. Утешила себя: «Да у меня в ранце еще кружевной Аннин моток остался. До Иерусалима сберегу. И там кому-нибудь подарю. Русский сувенир».

К ней подбежали люди в белых халатах. Веру посетило чувство, что она, вместе с людьми, варится в огромном страшном

котле. И в него все сыплут и сыплут с неба живую заправку; все крошат и крошат тела, кожу, резину, куски железа. Крошат жизнь, а варят смерть.

Из-под рук у нее выхватили обмотанного сибирским кружевом умирающего; потащили куда-то, поволокли. Вера проследила за ним взглядом. Она видела, как раненого человека поднесли к машине с широко распахнутой дверцей, втокнули внутрь, во мрак. Дверца захлопнулась, вспыхнул огромный красный крест. Вера не видела вспышки. Не слышала хлопка. Не слышала ничего. Мир опять перестал звучать.

Она пришла в себя в больничной палате, где беззвучно сновали медсестры, беззвучно и осторожно клали на тумбочки ампулы и шприцы, и молча, хмуро ощупывали и обсматривали лежащих на койках людей строгие врачи. Тишина царила тут и торжествовала. Тишину никто не смел нарушить. Когда больной стонал или, еще хуже, кричал, тут же подбегали люди в белом, делали ему быстрый укол, всовывали пилюлю под язык. И человек утихал.

Вера старалась не кричать, не стонать. Сильно болела голова. Стены палаты были выкрашены масляной краской в белый цвет, и ей казалось, она лежит засохшей бабочкой в бумажной коробке. Ее спросили тихо: где ваш полис? Она так же тихо ответила: в ранце. Потом спросила еще тише: а где мой ранец? Открыли тумбочку и показали ей ранец. Вера закрыла глаза. Из-под ее век на подушку медленно текли слезы. Она оплакивала погибших. А еще плакала перед будущим — она уже не знала его.

Когда худенькая медсестричка с ярко накрашенным ртом пришла делать ей очередной укол, Вера тихо спросила ее:

— Скажите, что это было такое?

Медсестричка вытащила иглу из Вериной кожи, поправила белую шапочку и пожала плечами:

— А вы разве не знаете? Один безумец перестрелял народ. Кучу народу! Дрянь такая! Точное число жертв неизвестно! Мертвых много. Разные цифры называют! А живые, вот, в больницах валяются, в разных. Вот у нас, все палаты забиты, к нам много привезли, мы рядом с бульваром, нам и карты в руки! Многих мы спасли! Вот вас!

— А я разве раненая?

Вера выпростала из-под одеяла руки и изумленно ощупала себя: плечи, шею, подбородок, грудь.

— У вас сотрясение и ушиб мозга, — веско сказала медсестричка, изо всех сил пытаясь поменять воробьиный голосок на важный и знающий, врачебный. — Контузия. Ну, как на войне, знаете? Но сейчас опасности нет! С вами все будет хорошо!

Вера повернула голову на подушке.

Она не хотела, чтобы птичка-сестричка видела ее слезы.

Слезы текли восторженно, отчаянно, обильно, — непонятно. Внутри Веры будто переключили запретный слезный тумблер. Она лила слезы, задыхалась, звала ночами мать, звала шепотом умершую Анну Власьевну, но больше всего, чаще всего она звала к себе Бога. Его имя всплывало на ее губах само собой. Как песня. И нечего уже было Его стыдиться. Она сама себе была церковь, в этой сверкающей чистым льдом кафеля белой палате, среди этих молчаливых, со снадобьями в ладонях, одетых в белые одежды людей, спешащих к тем, кто должен быть умереть: продлить, хоть ненадолго, им единственную жизнь.

Она стала понимать, что такое жизнь. Жизнь была, оказывалась, постоянным прощанием с жизнью. Она сама с собой все время прощалась, и троекратно целовалась, и махала рукой, и уходила, и вставала на подножку вагона, и все никак не могла уехать, бросить влюбленных в нее, жалких людей. Жизнь каждый день прощалась и с Верой, она поняла это, и все не могла Веру отпустить, а может, просто жизнь знала, что ей еще рано покидать Веру, такую хорошую, такую смирную и верную, — молчаливую, выносливую.

...вынести, вот это и это... и еще... и всегда и везде...

...не ослепнуть от света. Не утонуть в воде.

...на койке выгибаться... в любви столбняке...

...помогите, братцы... а надо прощаться... чтобы рука в руке...

Вера понимала: вот в нее стреляли и чуть не расстреляли, и она осталась жить, и это означает, что к жизни надо, надо еще тянуть руки, надо крепко обнимать ее и шептать ей на ухо простые и добрые слова. А рядом не было никого, кроме Бога. Вера, лежа на больничной койке и глядя долгими ночами в потолок, видела Его. Переводила глаза на окно. Крестовидная рама чернела на фоне светлого неба. Забыли задернуть шторы: полночный свет наполнял палату белым молоком. Луна лила этот свет, и Луна была настоящая, а все больные тут — потусторонние, и Вера тоже. Она глядела на этот тихий, нежный свет как из могильной ямы. Черный крест обнимал чугунными руками нежное молочное серебро. Ночь текла и плакала. Луна сияла. Черный крест ее сторожил. Мрачно и бессонно.

Внезапно Вера стала арфой и зазвучала. Ее волосы обратились в струны, тело, изгибаясь, дрожало и отзывалось огненным биением. Так, музыкой, билось ее сердце.

На фоне светящегося окна сидел человек. Она еле видела его. Сидел, закрыв глаза. Длинные спутанные волосы текли с темени на лоб, виски, на плечи. Сгорбился. Голый: голый торс, голые ноги. Белой простыней обмотан живот. Худой. Щеки ввалились. Будто деревянный. Не шевелился. Пальцы сцеплены на коленях. Сидит, молчит. Слушает, как бьется его сердце. Одинокое.

Музыка, музыка, далеко, на том свете, бьют в барабан.

Люди бьют человека, привязанного к столбу, плетями. Слышен хлесткий стук ударов.

Полосы крови по телу. По голому телу — полосы боли.

Он ночью, один, сидит на больничном табурете.

Вера поняла: это он на ней играет, на живой арфе. Струны рвутся.

Нет, он сидит неподвижно. Она сама, одна, поет и плачет.

Вся дрожа музыкой, она привстала на койке на локтях, и койка прогнулась. Человек, сидящий на табурете, не двинулся. Луна обливала его посмертным молоком, и оно густело, застывало потоками льда, и снова таяло, и плакало. Музыка становилась громче, Вера села в койке и обхватила себя за плечи, так сильно ее трясло. Человек на табурете открыл глаза и увидел ее. На кого он был похож? На миг Вере показалось: это ее отец. С того лагерного снимка, где ээки сидят за длинным столом в столовой. И перед каждым алюминиевая серая тарелка. И перед каждым ложка. Лица серые глядят и не видят. Зачем видеть время, которое распорол по швам в прожарке и сожгли, и нет его?

— Отец, — неслышно сказала она, крепче вцепляясь себе в плечи, — ты прости меня, что я такая.

Длинноволосый голый человек на табурете ничего не ответил.

Луна вошла в палату и задернула штору. Серебряная прозрачная занавесь протянулась между голым заключенным и Верой. Арфа стонала, разламывалась надвое. Из Псалтыри скрюченные, дрожащие пальцы старухи Лизы судорожно вырывали страницу с любимой кафизмой. Зрение и слух Веры ломались, кричали и таяли, истекая ночной кровью. Напоследок Вера успела заметить, что вдоль по его нагому телу, по груди, плечам, ключицам бегут вспухшие алые полосы. «Избили, в лагерях-то вон оно как, бьют, лупят почем зря, всего отделали, вот так оно в лагерях, долго будут рубцы заживать, и в сырой земле не заживут, какие глубокие раны, как жестоки люди, жестоки».

Ее выписали через неделю из столичной больницы.

Зимнюю одежду, теплую, сибирскую, зипунчик на козьем меху, Вера подарила воробынку-медсестричке — тяжело таскать в ранце лишние тряпки.

Вера вышла на улицу, улица ударила ее по щекам, — вонь бензина, машинные фары, неоновая кровь, каменный базар, —

и есть-то надо, опять есть, в больнице хоть кормили, а теперь опять еду добывай. Шла в никуда, ни о чем не думая. Поправляла ремни полегчалою ранца. Из черной пасти метро вываливались черные гудящие рои людей и разлетались, чтобы собрать дневной горький мед, а к ночи опять уснуть в каменных ульях.

Перед Верой внезапно затанцевала змея. Она думала, такая реклама, и змея механическая. На асфальте старый потертый ковер расстелен, на нем изгибается кольцами крупный питон, а рядом дядька, красивый и небритый, щетка щетины серебряно играет в солнечных лучах, прохожие спешат, смеются, швыряют деньги в железную миску. Дядька, белокурый, с профилем старого ангела, протянул руку. Питон подставил плоскую хитрую голову. Скосил глаз. Дядька слегка сжал питону шею, и питон обвился вокруг руки мгновенно и бесповоротно. Вера испугалась: а если будет кольца сжимать! Рука тогда хрустнет в кости!

Она бросилась к облыселому коврику. Вцепилась питону в хвост.

— Отпусти сейчас же!

Небритый старый красавец хохотал, закидывая шею, кадык его хищно торчал.

— Осторожно, сударыня! Он сейчас на вас перекинется!

— Какая я вам сударыня!

— Ну, госпожа!

— Какая я госпожа...

Питон повернул голову, высунул язык и в одну секунду покинул руку дрессировщика и обмотался вокруг ребер Веры.

Она не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ее лицо посинело, рот приоткрылся.

Красивый, как старый принц, небритый дядька хлопнул в ладоши. Быстро вынул из кармана крохотный пузырек. Надавил круглую крышку. Разнесся нежный тревожащий запах. Питон разжал кольца. Его тело, все в таинственных разводах и малахитовых узорах, обмякло, опало. Словно нехотя, он сполз на ковер, подполз к ногам дядьки и улегся уютно и покорно, как кот на печи.

Народу возле ковра столпилось много. Аплодировали. Вера глядела туманно, невидяще. Колени ее подломились, и она гра-

циозно, вроде как восточная пери, опустилась на колени. Змея косила на Веру бусиной круглого злого глаза.

— Bravo, bravo!.. а женщина тоже с вами работает?..

— Видишь ли, змея вместо ребенка, жалко их до чего...

— Брось, может, у них дома семеро по лавкам...

— Ты что, не видишь, дурень, она же не из цирка... так, прохожая, а змеем напал... все взаправду...

— Э-хе-хе!.. а мужчина что, разве из цирка?.. сам по себе... теперь все частники...

— Меня несчастную... торговку частную... ты пожалей...

— Теперь все торговцы... все торгуют всем... эти вот — змеем торгуют...

— Ну так ты и заплати!

— И заплачу... не возникай...

Вера, чтобы рассеять все сомнения, взяла да и поклонилась. Озорство разбирало ее, распирало изнутри. Красавец-дядька оценивающе проехался по ней быстрым, цепким взглядом, быстро оценил обстановку, будто держал Веру на ладони, как кусок хлеба, и думал — съесть не съесть, свежий ли, черствый, а зуб не сломаю?

Тоже прижал растопыренные пальцы к груди и поклонился. В поклоне ловко подхватил питона на руки. Змея очухалась от жестоких, на нее выбрызнутых духов, ожила, дрожала расписной роскошной кожей. Дядька положил питона себе за шею, держал его одной рукой за голову, другой за хвост.

Вера следила за ним, как за врагом из засады.

«Жизнь и смерть держит. Вот голова, это жизнь, а хвост это смерть. Или — наоборот?»

Люди кричали:

— Повторить! Еще!

Дядька, улыбаясь, обернулся к Вере.

— Слышите, гражданка, еще хотят.

Во рту его, среди прочих, еще крепких и белых, а может, нарочно выбеленных зубов не доставало глазного зуба. «В драке выбили», — подумала Вера.

— Какая я... тебе... — Она скатилась на грубость. — Гражданка!

— Ну тогда товарищ.

Она уже смеялась.

— Товарищи зрители! — зычно возгласил воспитатель змей. — По вашим многочисленным просьбам... и заявкам! Концерт продолжается! И сейчас вы увидите смертельный номер! Называется «Неверная жена султана!»

Обернулся к Вере. Она сразу поняла, чего от нее хотят. Хотела воспротивиться. Восстать, оттолкнуть дядьку и сломя голову убежать. Вместо этого, как под гипнозом, она стащила с плеч ранец, легла на ковер на спину, головою на ранец, сложила руки на груди и сделала вид, что сладко спит. Красавец сложил руки на груди и прохаживался по ковру взад-вперед, изображая бессонного грозного султана. Потом и он улегся на ковер. Вынул из кармана изогнутую в виде рога деревянную дудку с утолщением на конце. Дунул в нее: дудка издала тревожный гулкий звук, будто далекий муэдзин на минарете в ночи кричал, а может, пел в нос святые слова. Питон вздрогнул всей кожей, высоко поднял голову, поводил ею туда-сюда, быстро-быстро высывал и прятал язык, а потом медленно, страшно пополз — все ближе и ближе к Вере.

Вера сама не понимала, что с ней такое стряслось. Руки ее превратились в лианы. Тело — в крупный гигантский стебель. Она, глядя перед собой расширенными глазами и не видя ничего, изгибала шею, сгибала ноги в коленях, сидя на ковре, исполняла древний, неведомый ей танец, играла в любовь, играла в смерть. Питон подполз совсем близко к Вере, и она положила обе руки ему на узорчатую кожу. Он полез вверх по Вере, как по дереву. Верины руки скользили по змее. Она трогала ее локтями, кистями рук, потом губами. Змея обвилась вокруг Вериных плеч. Вера гладила змею, приближала лицо к ее голове и приоткрытой пасти. Змея высывала язык и касалась им Вериного рта. Публика затаила дыхание. Вера легла спиной на ковер, раскинув руки и раздвинув ноги. Питон свивался на ней кольцами.

Кто-то в толпе крикнул. И засмеялся. Небритый дядька вздрогнул: изобразил, как султан проснулся, встал и прокрался к любимой жене в спальню. Люди молча следили за искусной пантомимой. Питон обвил ногу Веры и положил плоскую, как пирожок с капустой, голову ей на низ живота.

Дядька швырнул на ковер дудку, разинул рот и беззвучно заорал, потрясая в воздухе кулаками. Протянул вперед указательный палец. Это был приказ о казни неверной супруги. Питон сполз с тела Веры и, повинувшись владыке, обвился вокруг Вериней шеи.

И стал ее душить.

Толпились. Каждый превратился в только один звук. Из криков и воплей складывался, грохотал хор. Орган испускал волны света, они плыли в мареве, над людским морем. Визжали скрипки и альты, звенели бубны и тимпаны, и киннор гудел под влюбленными, горячими руками. Они кричали об одном. О том, что смерть такая страшная. Что умирать негоже. Что смерть приходит, когда не хочешь, когда ее совсем не ждешь. И ты не поешь, а хрипишь. Кому — проклятья? Некого проклинать. Каждый сам себе царь и сам себе власть. Все боятся войны, а вот она! И, да, все боятся смерти: какая она? Никто не заглянул в ее лицо так, чтобы достоверно все рассказать об этом. Крупная тяжелая змея душила женщину, лежащую на ковре на асфальте, и дрессировщик ничего не мог с ней поделаться, и все брызгал чудовищным раствором в змеиную морду, а она все сжимала, сжимала тугие страшные кольца, она не хотела отпускать добычу, Вера была ее добычей, а с добычей так просто не расстаются. За добычу — борются. И приказов не слушают. Змея оглохла и ослепла ко всему, что было не Верой.

Что не было — Верой.

Дядька упал на колени перед Верой и обвинившей ее змеей и сам стал ее отдирать от тела женщины, напрягая мышцы, по-

нимая: все бессмысленно, видя: все беспощадно, и ничего не повернуть, хотя вернуться очень хочется, но куда, позади все разрушено, а впереди, что там впереди? Он привез эту змею из Азии, из кишлака около Ташкента, выкупил у бандита-узбека, и тот продал ему царя-питона за бутылку настоящей, из Мексики, текилы и пачку краденых долларов, и узбек даже деньги не считал, положил в жадно оттопыренный карман заляпанного бараньим жиром пиджака, подмигнул дядьке, и вместе они выпили тогда эту изумительную, пахнущую дохлыми ящерицами текилу, и бандит-узбек нарезал к текиле маленькими дольками зеленый терпкий лайм, и у них обоих сводило скулы от удачной сделки; а питон, тогда еще небольшой, еще подросток, змеиное дитя, мирно спал в корзине, прикрытый, от яркого света ламп и чадающих свечей, толстой верблюжьей кошмой.

Дядька был азиат, но ненавидел азиатов. По отцу он был еврей, по матери таджик. Родился в Душанбе, отслужил в армии на Камчатке, жил в Ташкенте, потом, когда все всех начали убивать направо и налево, перебрался в Москву. С питоном под мышкой. И в цирке работал. И косметику продавал. И апельсинами торговал. А питон рос. И вырос. И, когда дядька принес домой первые деньги, вырученные за уличное представление, он весело сказал змее: с тобой не пропадем!

Отдирал, рвал упругое злое тело питона с тела теряющей дыхание женщины, орал, но змея будто оглохла. Пожалуй, питон и вправду решил пообедать Верой, вместо кролика. Из вопящей толпы вырвался мужик. Он на ходу отдирал зубами водочную пробку. Ухватив бутылку в необъятный кулак, мужик плеснул змее в морду водкой. Змея задохнулась, пасть ее раскрылась, блеснули зубы. Мужик изловчился и всунул между змеиными зубами водочное горлышко. Влил еще водки в змею. Питон яростно забил хвостом и разжал кольца. Вера лежала мертво. Дядька наклонился над ней, прижимал рот к ее рту, дышал в нее, нажимал ей на грудь кулаками.

— Сильнее, сильнее! Она уже розовеет!

— Она уже дышит! Дышит!

— Да нет, померла...

Верины ноздри раздулись. Она судорожно вдохнула. Раз, и другой, и третий. Небритый красавец выдохнул. По его лбу и щекам тек крупный пот. Пьяный питон валялся рядом и вяло изгибал по ковру хвост. Зловещий рисунок на его спине побледнел. Плохо ему от водки стало.

Дядька подхватил Веру подмышки и усадил. Пригладил ее растрепанные жесткие волосы.

— Ты... Ну как ты?..

Вера не расслышала его слов в тумане людских оголтелых криков.

Она прочитала слова по губам.

— Я-то?... а пес знает, как... Ох, извини... Бог знает...

— Бог, Бог, — ворчливо выцедил дядька, сворачивая ковер, вешая себе безвольного питона на шею мертвым корабельным канатом, — дура ты... я знаю, я теперь твой Бог...

Пошел вперед, с ковром под мышкой и со змеей, и Вера, качаясь, как пьяная, шла за ним, его служанка, его актриса и публика, а может, даже будущая его любовница, или даже там, вдали, в сизом мареве непонятных диких лет, его жена.

А может, никто ему. Ни ему; никому.

«Стать бы монахиней. Вот что лучше всего. Да! в монастырь! и никакого тебе Иерусалима».

Шла и улыбалась.

«Иерусалим-то тогда прямо со мной будет. На моей родине. И никуда ехать не надо. Мотаться за Богом, ради чего? Ради душеньки усопшей Анны Власьевны? Так Анна Власьевна мне простит. И Бог — простит!»

Шла за дядькой с питоном, послушно, тихо. След в след.

Дошли до перекрестка, дядька усадил Веру в бывалую машинешку, сам сел за руль, питона уложил на сиденье рядом с собой. Тронул старый транспорт. Машина пошуршала по асфальту, и, только они отъехали от стоянки, пошел ливень. Серебряный, стеной.

— Во дают небеса, — грубо выдохнул старый красавец. — Вовремя мы смылись. Спасибо тому парню, теперь всегда буду с собой водку в машине возить. На всякий пожарный. А то ведь я думал, индийских этих чертовых духов достаточно, чтобы Дервиша вырубить. Брызгал ведь ему всегда в морду! И ничего! Сразу расслаблялся! А тут как заколдованный. Приколдовала ты его. И чем, мать? Ни кожи в тебе, ни рожи.

Вера стала жить у дрессировщика в квартире. Две комнатенки на окраине, около шоссе Энтузиастов. Полупустые, в одной физкультурный мат на полу, в другой пружинящий матрац. Крошечная ванная, в ней маленькая стиральная машина. Кухня-скворечник. На кухне машина кофейная: красавец страстно любил кофе. Пил его без перерыва. За день мог выпить десять чашек, когда и больше. Питон Дервиш спал вместе с дядькой. Ласково обвивал его, клал огромную плоскую башку к дядьке на подушку. Звали дядьку женским именем Валя. «Валентин — это здоровый», — назидательно говорил он Вере, поднимая палец, словно определяя направление ветра.

Вера молча наклоняла голову.

Она не знала, сколько проживет здесь. Время сложилось цирковым веером.

Когда-то Валя работал в цирке. Потом цирк умер. А Валя остался жить. Он похитил из цирка любимого питона и стал на нем зарабатывать. Заимел удивительную, немыслимую лицензию частного дрессировщика. За питоном ухаживал образцово, мыл его, чистил, ласкал, хорошо кормил. Питон жил всяко-разно лучше человека. Валя сам недоедал, питону жрать давал от пуза. Дервиш заглатывал на обед живых кроликов. При этой трапезе Вера уходила на кухню, зажмуривалась и зажимала ладонями уши.

Валя брал с собой Веру на уличные представления. Хотел было купить ей блестящие, броские наряды, а потом сощурился,

рассмотрел ее, будто увидел впервые, и махнул рукой: «Да будь ты так, как есть, нищенкой приبلудной! Тем роскошнее выглядит мой парчовый Дервиш, на твоём задрипанном фоне!» Дервиш свивал и развивал кольца, лоснился, маслено посверкивал яшовыми замысловатыми узорами.

Вера боялась есть на кухне у Вали. Она боялась его объесть. Отщипывала от хлеба крошки, клала в рот жалкий кусочек курицы. Жевала медленно, чтобы Валя быстрее ее все съел. Она глядела на Валу, как на питона с руками и ногами. Валя ел быстро, жадно и весело, потирал ладони, подмигивал Вере и громко возглашал: «Завтра пойдем на Славянский бульвар! Там народу много!»

И они шли на Славянский бульвар, и вокруг них собирались зеваки, и в старую засаленную кепку Вали люди кидали и монеты, и бумажки, а иногда клали котлеты в целлофане: для змеи.

Вечерами Валя любил раскупорить бутылку красного, они оба сидели на кухне, и Валя толкал витиеватые речи про жизнь страны, про политику, про богатых и бедных, про город и деревню.

— Вот ты, Вера, говоришь, ты из Сибири. Ну и что, там у вас, в Сибири, хорошо, что ли, живут? Плохо там живут. Плохо, как везде!

— Нет. Не плохо, — подавала голос Вера из-за громадного, как ледяная фигура, бокала.

— Врешь! Плохо. Ну, в городе, может, еще ничего. А ты отъезжай от города хоть на тридцать-сорок километров. Воткни нос в любую деревню. А, что?! Запустение! Избы сгнили все! Коров дано нет! Ну, у кого-то есть, не спорю. Бабы вдоль дороги с яблоками стоят, с огурцами: купите за копейку! Работать негде. Это наша Москва зажралась! А ваши деревеньки — у!.. у...

Отхлебывал вина. Вера бормотала:

— Есть и богатые села... зажиточные... всякие деревни есть... и строится народ, и скотину заводит...

— Скотину! — орал Валя и вливал в себя все вино, опустошая бокал. — Скотину! Вон у меня скотина так скотина! Наилуч-

шая! Доить не надо, чесать не надо! На мясо не пущу! Красоты необычайной!

Питон спал в кухне, рядом с людьми, пьющими вино, на старом, обитом жостью сундуке.

— Красивый, — соглашалась Вера и опять подносила бокал ко рту. Вино ударяло ей в голову, Валя казался ей могущественным султаном, самым царственным и самым умным на свете.

На окраине, где они жили, между домов белой шкатулкой из слоновой кости приткнулась старая церковь. Валя однажды послал Веру в магазин, купить для питона мяса, и много, дал ей кучу денег и большую сумку, грозно сдвинул брови: «Деньги не считаны, да только попробуй укради!» — мясо было куплено, и говядина, и свинина, и куры, Вера еле поднимала огромную сумку, тяжело тащила ее за кожаные уши, и все-таки ноги сами занесли ее в этот белый, как мел, маленький храм. Она вежливо поставила тяжелую сумку у двери и прошла внутрь. Тихо горели свечи. Печаль объяла ее, слезы сами выступили на глазах. Она стеснялась плакать, а они уже лились. Она утерла мокрое лицо рукавом и стала просто стоять и смотреть.

...ни кожи... ни рожи...

...а все же... а все же...

...кочерга живая... дуга трамвая...

...по вас, люди, плачу кровью горячей... вою-завываю...

Люди входили и выходили, в основном старые. Нет, молодежь тоже появлялась. Помаячит человек, перекрестится, повертится и уйдет. Службу ожидали, а сейчас читали часы. Печальный голос размеренно говорил древние слова. Вера тихо стояла возле большой застекленной иконы, сквозь равнодушный блеск стекла на нее глядели большие, в форме речной перловицы, глаза Богородицы. Они фосфорно светились на темном медовом лике. Вера стала искать глазами Младенца, нашла: совсем темный, будто железно-ржавый, хитон, мудрые скорбные глаза старика на детском круглом личике. Ярко пылает золотом нимб над затылком. А у Матери нимб потемнел, только по ободу горит тонкой огненной полосой. Женщина и ребенок смотрели на Ве-

ру, а Вера на них. Она вспомнила, как покойная Анна Власьевна рассказывала ей про царя Ирода, что он чуть не убил малютку Иисуса; про владыку Пилата, приказавшего Христа казнить. Власть! Это большая сила. Власть может все. А ты не можешь ничего.

— Но должен же кто-то нами владеть, — вышептали мокрые губы. — Управлять... всеми... Иначе все развалится...

К иконе подошла женщина в туго повязанном вокруг лица черном платке, стала дрожащей рукой ставить свечу в медное колесо кандила. Свеча падала, женщина ловила ее, как воробья, и опять втыкала в подсвечник. А она опять валилась набок.

— Не хочет принимать мой огонь Бог, — сокрушенно прошептала женщина в черном. Покосилась на Веру. — Нет, ничего, ничего, сейчас уйду. Я не мешаю вам молиться.

Свеча наконец-то устояла. Женщина вздохнула, перекрестилась, поклонилась и ушла.

Свечи в кандиле горели ровно и ярко, а над Богородицей висела еще одна икона, в грубом медном окладе, вниз надменно глядел царь в золотой веселой короне, изукрашенной огуречно-зелеными и речными, небесными самоцветами. Вера крепче сжала губы. И тут царь. Царь — везде. Иногда люди восстают на своего царя. Но чаще ему поклоняются. Слушаются его и служат ему.

Человеку надо кому-то служить.

А ей — есть кому служить?

Некому. Одинока она.

Вале? Его прожорливому питону?

Мысль проколола ее копьем.

«А если — Богу? Если Богу мне служить?»

Вылетела мысль сквозь нее, просвистело копье и кануло во тьму, в шепот и сон.

Мимо Веры быстро, спеша, как на пожар, прошагал дьякон и недовольно бросил кому-то невидимому:

— Ты подумай-ка, как у нас тут сырым мясом пахнет!

Вера попятилась, подхватила сумку и выволокла ее на улицу.

Ей казалось — она в сумке чей-то расчлененный труп несет, так сумка оттягивала руки.

«А ведь и правда мертвечину тащу. Мясо! Вчера еще живое!»

Еле дошла до Валиного дома.

— Валя, — тихо, уставясь в кухонный пол, сказала она ему, — я от вас уйду.

Сидели за голым столом. За их спинами, в сковороде, ждал приготовленный Верой обед: шницеля, поджаренные с грибами и луком.

— Куда ты уйдешь?! — расхохотался Валя. — Побираться? Или в Сибирь вернешься автостопом?

— Что такое автостоп?

— Ну и дура!

— Я вам не говорила. Но сейчас сказать хочу.

— Ну, валяй! Колись!

— Мне в Иерусалим надо.

Валя присвистнул, потом зашелся в хохоте. Булькал, как чайник на огне.

— О-ха-ха-ха-хах! Ха-хах! Куда, куда?! Во, тетка, даешь! А поближе куда тебе не надо?! Париж открыт, но мне туда не надо! А-хах!

Вера терпеливо выслушала весь его смех, до конца.

Бросила в наступившее молчание:

— В Иерусалим надо мне, и я туда доберусь. Вы меня отпустите, пожалуйста.

Валя прищурился, шагнул к шкафу, раскрыл дверцу и вынул темную бутылку.

— Красненького?

— Я вина с вами пить не буду. Мне с него плохо. У меня к вам просьба.

— Валяй!

— Мы будем выступать, вы мне денежек откладываете. Я на поездку так заработаю. А то где же мне заработать. И жить мне негде. Если вы, конечно, согласитесь. Если нет, я от вас уйду. Бог... — Она запнулась, произнесла это слово. — Мне что-то другое тогда пошлет. Кого-то.

Старый красавец склонил голову набок, как птица; рассматривал Веру, как заморскую колибри.

— Ишь! — выцедил. — Обо всем рассудила! Все взвесила! Да-а-а-а... Умна баба. Да нища, старая тряпка! Да ты никто и звать тебя никак! Да ты... да ты... — Вера видела, как у него перехватило дыхание. Он ловил воздух ртом. — Ты, знаешь что... Оставайся! Ну, насовсем! Я привык к тебе!

За руку ее схватил. Крепко, цепко. Вера от боли сморщилась.

— Я женюсь на тебе! Хотя ты и старая кошелка!

Захотел опять. Хохот тоскливо повис кухонной гарью, угас.

В открытую дверь вполз питон, подполз к ногам Вали, обвился вокруг его ноги и положил по-собачьи голову на его колено. Валя рассеянно гладил голову змеи, сам безотрывно глядел на Веру.

— Дура. Я привык к тебе. Дура!

Вера все ниже опускала голову.

— Мне надо. Я уйду все равно.

— Куда ты без денег потопаешь!

— Бог поможет.

Слово «Бог» она произнесла на этот раз более твердо. Даже радостно.

Валя то бледнел, то краснел. Потом с грохотом вытащил из ящика штопор и зло раскупорил бутылку. Вера уже вынимала бокалы. Валя уже разливал красное.

Ударил бокалом о ее бокал.

— За твой отъезд, дура, — тихо сказал. — Дам я тебе денег. Есть у меня. И загранпаспорт сварганю. Палец о палец не ударишь. Принесу, дура, на тарелочке. С голубой каемочкой.

И он сдержал свое слово.

Они вместе укладывали Верин ранец. За окном осень уже завывала ветрами. Вера дрожала, как струна. Она превратилась в музыку, и ей казалось, что все слышат, как она звучит и плачет. От счастья? От горя? Где же тут было горе? Оттого ли, что она покидала доброго человека, что так помог ей, и его золотую, в разводах, страшную змею? «Я буду помнить вас», — сказала она Вале на прощанье. Он сказал: «Давай провожу тебя в аэропорт! Дура!» Она сказала: «Не надо, у вас и так дел много, и Дервиша кормить».

Валя, обвязав вокруг груди питона, проводил Веру до автобусной остановки. Когда подошел автобус, он посадил ее на ступеньку и сказал ей в спину, мрачно: «Я люблю тебя». Веру затрясло, она обернулась в дверях, чтобы ответить, шофер в это время захлопнул двери, и автобус тронулся. В запыленное окно Вера видела дрессировщика; он стоял и плакал, старый красивый дядька, а потом пытался улыбаться, смеяться сам над собой, и дыра у него во рту черно зияла, наверняка у него за всю жизнь было много любовниц, а может, и жен, его красивая змея обвиняла его нежно и ужасно, он махал Вере рукой, и холодный ветер срывал слезы у него со щек, сушил ему лицо холодным грубым платком.

Вера добралась до метро, долго ехала под землей, потом пересела на автобус и опять ехала долго, протяжно, чуть с тоски не умерла. «Когда уже это Шереметьево будет?» Аэропорт, его серые мрачные здания появились внезапно, Вера бы никогда не подумала, что это Шереметьево, если бы не дикий самолетный гул. Самолеты взлетали и садились кучно, густо, как жуки или стрекозы. Вера подивилась: как это они друг на друга не натолкнутся в воздухе! Люди сошли с автобуса, она вместе со всеми, и тут ей стукнуло в голову: забыла она Валю спросить, взял он ей билет в один конец или обратный тоже взял? Как это все узнать? Она вытащила заграничный паспорт, развернула его, долго разглядывала бумаги. Поняла так: одна бумага на самолет

до Одессы, другая — бронь на паром Одесса — Хайфа. А потом из Хайфы как, до Иерусалима? «Ничего, там близко уже, доберусь». Вчитывалась; сообразила, что от приземления самолета до отплытия на пароме ждать ей пять дней. Ух, как долго! Пять дней... Валя дал ей с собой денег. Она не знала, сколько это; он дал ей доллары и немного евро, она их путала, он объяснил, хоча, что доллары это зелененькие. Деньги лежали у нее на груди, в лифчике, а мелочь на дорожные расходы — в кармане длинной юбки. Перед отъездом она ее тщательно выстирала и высушила на Валиной кухне, на веревке над плитой.

Она впервые в жизни летела самолетом. Да, ей было страшно, но не настолько, чтобы паниковать. Когда самолет загудел и стал набирать скорость, она вцепилась в подлокотники кресла; когда взлетел, она разжала руки, глубоко вздохнула и заткнула пальцами уши — гул показался ей невыносимым. Потом привыкла. Самолет нырял в воздушные ямы, Веру тошнило. Она изо всех сил подавляла приступы рвоты. Стюардесса подошла к ней и сладким голосом спросила, чего ей надо. Ничего не надо, замотала Вера головой, спасибо. Стюардесса быстро убежала по ковровой дорожке и быстро прибежала, с подносом в руках; склонилась перед Верой, будто перед шахиней, и быстро щебетала — угощала. Вера протянула руку и смущенно взяла с подноса тарталетку с красной икрой и толстопузый бокал; ей почудилось, в бокале сок. Поднесла бокал к губам, в нос ударил мощный спиртовый дух. Это оказался коньяк. Вера никогда не пила коньяк, только водку и вино. Она осторожно втянула запах ноздрями, нюхала долго, пьянела от запаха, улыбалась. Чуть пригубила, держала бокал на коленях, обнимая обеими руками, грела ладонями. Она не знала, что именно так, в ладонях, греют коньяк.

...черный крест... самолет...

...красный плот...

...красный крест... нет мест... норд-ост, зюйд-вест...

...красный крест. Он горит. Я баба, я должна его вышить. Тогда... еще можно выжить. Но я не рукодельница. Я моей жизни

мельница. Я не Анна Власьевна. Лечу. Слетаю с ума. Я лучше тем крестом стану сама. Раскину руки... будто обнять... я — мать... всеобщая мать... Железный гроб в небесах. Я лечу. Я дух. Я прах. Свечой — свечу.

...крыла... я — в небо ушла...

Откусила от тарталетки, чмокала, наслаждаясь, ну, красную икру она ела в Сибири не раз, чаще в гостях, а когда распродажа, задешево и сама покупала; прихлебывала коньяк, так потихоньку и выпила все, до дна, захмелела, развеселилась. Спать захотелось. Вера уснула, и бокал вывалился у нее из рук и покатился по проходу салона. Ранец ее торчал из-под сиденья: ей разрешили пронести с собою ручную кладь.

Когда она проснулась, она услышала рядом разговоры других людей. Люди беседовали о чем угодно: о здоровье, о еде, о войне и о мире. Вера поняла, что все боялись близкой войны и только о ней и говорили, а если даже не о ней говорили вначале, то на нее все равно сбивались. Она прислушивалась. Толстый, как сдобный пирог, мужчина, шикарно одетый, с золотым, с алмазом, перстнем на безымянном пальце, громко вещал кудрявой болонке-соседке о том, что он скоро уезжает в Канаду на Пээмжэ. Вера думала, Пээмжэ, это такой город в Канаде, и может, даже курорт, с лечебными ваннами и спа-процедурами, а потом догадалась: это Постоянное Место Жительства. «Дура ты и есть дура», — презрительно подумала о себе. Толстяк возглаголовал:

— Да вы знаете, сударыня, сейчас все отовсюду бегут! Украинцы бегут в Америку, в Канаду. Азиаты — в Европу. Тучами наваливаются, роями! Германия вот точно скоро потонет в турках! Там в школах, знаете ли, учатся одни турецкие дети! Немчиков раз-два и обчелся! Наши евреи бегут, миль пардон, в Израиль! Вся моя родня — давно в Израиле! В Яффо, в Тель-Авиве, в Хайфе! Хайфа, о, знаете, сударыня, это такой красивый город! Красивейший! Одесса-мама ну просто отдыхает!

Вера не расслышала толком, что ответила дама. Кажется, она воззрилась и стала защищать Одессу. Толстяк поморщился.

— А чего в Одессе такого уж эффектного?! Оперный театр?! Потемкинская лестница?! Ланжерон?! О, Господи... Ланжерон... Сколько я там ракушек очаровательных находил когда-то... Сейчас, перед Канадой, вот тоже, знаете, хочу по Ланжерону побродить, ракушку, черт возьми, поискать... черт меня возьми совсем... да...

Он повернул жирное блестящее лицо к Вере, тройной подбородок дрогнул, и Вера вытащила из кармана носовой платок и протянула толстяку.

— Вот... вытритеесь...

Толстяк оттолкнул ее руку.

— Фу! Какую грязь вы мне предлагаете! Вытирайтесь сами!

— Он чистый, — растерянно возразила Вера, — я стирала...

Толстяк вынул из кармана свой платок и утер глаза, рот и подбородок. А слезы все мелко, градом, катились, лились ему за шиворот, под крахмальный воротничок.

Стюардесса подкатила тележку на колесах. Сначала по-иностранному спросила, потом по-украински, потом наконец по-русски:

— Обед желаете? Курочка с рисом, салат, сок, вода, коньяк?

— Коньяк, — сказала Вера и протянула руку.

Толстяк захохотал, и подбородки его затряслись.

— Ишь, какая лизоблюдочка! А закуски к коньяку? Давайте, милочка, давайте все, что там у вас есть!

— Не все, что есть, — строго сказала стюардесса, продолжая мило улыбаться, — а то, что полагается.

Откинула раскладные столики, расставила бумажные тарелочки с яствами, бокалы с коньяком, улыбнулась до ушей, унеслась, катя тележку перед собой.

Толстяк заинтересованно глядел на бедно одетую Веру.

— А вы, сударыня, смею полюбопытствовать, к кому в Одессе? К родне?

Вера держала бокал в руке и весело глядела на толстяка. Глаза ее, широко, по-коровьи расставленные, чуть раскосые, серым жемчугом блестели.

— Или Одесса для вас перевалочный пункт? Хм, ну, транзитом проедете?

Хмельная Вера сощурила глаз и посмотрела на толстяка сквозь прозрачную толщу коньяка.

— Транзитом. Я — в Иерусалим еду.

— О! — закатил глаза толстяк. — На Святую Землю! Недурно, сударыня, недурно. Паломница?

Опять окинул насмешливым взглядом ее бедный наряд.

Вера поежилась, собрала пальцами на груди воротник темной кофты на мелких пуговицах.

Бокал с коньяком дрожал в ее другой руке.

— Да. — Врать так врать. — Паломница.

— Хм, святое дело. — Толстяк тоскливо вздохнул. — А я вот... в город детства. Может, там, на пляже, вместо ракушек... свое детство найду! Выпьем?

Соседка-болонка обиженно кашлянула. Она привлекала к себе внимание.

Толстяк поправил в кармане роскошного пиджака белый торчащий уголок платка. Помял шелковый узел галстука. Вдруг рванул галстук, стащил его, бросил на пол самолета. Сложил губы в улыбку, и на Веру изо рта его блеснул старинный золотой зуб. «Как у бандита», — подумала Вера. Толстяк взял с раскладного столика бокал и двинул им о бокал Веры.

— За наше детство, — сказал, задыхаясь. — Ой, нет! Давайте лучше за...

— За любовь! — задушенно, высоким журавлиным голосом, крикнула кудрявая соседка через их головы. И ближе посунула к ним свой бокал.

— Елочки же палочки! — выдохнул толстяк. — Конечно, за нее, родимую! Со мной, в этом же самолете, летит моя любовь. Девушка моей мечты! О, если бы вы видели мою девушку! Ну, в Одессе по трапу будем сходить, увидите! Принцесса!

— А где она? — спросила Вера.

— В бизнес-классе! Со всем шиком! А я тут! В эконом-дерьме! Я — ближе к народу! Потому что я сам народ! Выпьем!

Они выпили. У Веры загудело в голове. Она опять вся и вдруг стала музыкой, звучала, вибрировала — звучали пальцы, дрожали плечи, тихо пели ноги, шелестели губы, звенели волосы, развиваясь, выпадая из пучка, похожего на кукиш. Вера косилась на толстяка и думала: «Вот, у такого жиряги, и девушка-красотка есть, ну, небось она за деньги замуж вышла, а может, и не замуж, а так, а может, он добрый хороший человек, а может, он мужик хороший, ну, в постели, даром что жирняй», — и пугалась своих грубых, циничных мыслей, как пугаются летящего под откос поезда. Кудрявая болонка улыбалась толстяку коралловыми крашеными губами, поправляла на морщинистой шее ослепительно сверкающее кольцо. «Драгоценности все на себе везет, и не боится, что сорвут с груди».

— Вот вы, паломница, — толстяк отпивал коньяк из бокала медленно, вкусно, — а коньяк пьете!.. вы вот скажите мне: каково это, верить в Бога?.. Ну, какое у вас чувство, ну, что вы верите. Я вот не верю, мне интересно. Как вы... ну... Его — чувствуете? Или никак? Нет, как-то ведь чувствуете все равно. Без чувства веры нет. Чувство... это... это ведь как любовь! Вот я люблю мою девушку. О!.. очень. Так люблю, так!.. жизнь за нее отдам. Я ей и так все состояние свое отписал! Все — ей — завещал! Кожу с себя готов содрать — и ей отдать!.. А вера... вера... что она такое? Ну, что вы... да, вот вы... паломница... ощущаете, когда губами к иконе прикасаетесь? Или вот в Иерусалиме пойдете ко Гробу Господню? Или там... в Вифлеем поедете, туда, где Иисус в яслях лежал, с коровами и овцами?.. А?.. Благоговение... или что другое?.. что... другое...

Самолет внезапно накренился на один бок, перекатился на другой, чуть не сделал «бочку», с трудом выравнивал полет, потом его сильно, мощно потрянуло, и он задрожал крупной противной дрожью — так, что зазвенели все его стальные сочленения, кольца и винты.

— Трясет как в преисподней! — сказал толстяк.

Коньяк выплеснулся из бокала ему на штаны.

Самолет клюнул носом воздух и стал падать. Люди в салоне завизжали. Спящие дети проснулись и громко, пронзительно заплакали.

— Мы умрем! Умрем!

Кудрявая болонка поднесла оба кулака ко рту и кусала их, и орала как резаная.

Вера ни на кого не смотрела. Она смотрела вперед.

«Ну вот и все. Как все просто! Какая же простая и маленькая жизнь! Сколько ни живи, а все будет мало. Как все вопят! А вокруг нас, в небе, какая тишина! Никому нет дела до людей, что орут в самолете. И даже Богу до нас дела нет! Падаешь — и падай! И не плачь, потому что некому и незачем плакать! Зачем они все так страшно кричат?»

До нее донесся дикий голос:

— Люди! Люди! Я поганец! Я людей убивал! Люди! Каюсь! Боже! Если Ты есть! Прости меня! Люди! Простите! Простите! Я не хочу так просто уйти! Непрошненным! Простите!

Голос поодаль закричал с надрывом:

— Да простили тут давно все тебя! И Господь простил!

Вера глядела прямо перед собой и не видела, как торопливо, истерично, мелко дрожащей рукою крестится толстяк. По толстому лицу тек пот вперемешку со слезами. Толстые, вывернутые по-негритянски губы бормотали:

— Люсенька... Люсенька... я тебя... не увижу... не обниму... где ты, крошечка моя... красавица...

Опять на одно крыло, на другое перекатился железный бонок. Люди плакали. Крики бились о стены салона. Кудрявая болонка низко нагнулась, приблизила лоб к согнутым коленям и обхватила ноги руками. Как кошка, она пыталась свернуться в клубок, чтобы спастись.

Вера сидела деревянно, пристегнутая ремнем. Мысли сначала еще жили в ней, потом враз все умерли. Во рту у нее пересохло. «Питья, — подумала она жестоко и жестоко, — на том свете уж точно не поднесут». Стюардесса металась по салону, потом не удержала равновесия и упала, и поползла, хватаясь руками

с намазанными лиловым лаком ногтями за кресла, за ковер, за подлокотники.

— Уважаемые пассажиры!.. господа!.. гос... по...

Она еще пыталась быть вежливой. Ее выучили правильно.

— Эй! — крикнул толстяк Вере в ухо.

Она обернула к нему невидящее лицо.

— Увидимся на том свете?!

Что ей было делать?

Надо было говорить ему правду.

Или — солгать.

Беда была в том, что она не знала ни лжи, ни правды.

Ничего не знала.

— Увидимся! — крикнула она ему в ответ сквозь вой в салоне и людские вопли.

И сама заплакала, оттого, что человеку перед смертью неправду сказала.

Самолет будто провалился в вату. Выровнял полет. Гудел ровно и мерно. Больше не трясло.

Все изумленно оглядывались, смотрели друг на друга, смотрели и не верили тому, что живы. Что все кончилось. Кончился страх и ужас.

Стюардесса, стыдясь, одергивая задранную юбку, медленно поднялась с пола. Поправила волосы. Заученно улыбнулась. Сверкнули зубы. Она стала говорить, и ее голос напоминал голос сломанной куклы, заведенной сломанным позолоченным ключом.

— Уважа... емые!.. пассажи... ры. Мы попали в зону... тур... тур... бу... лентности... и теперь вышли из нее. Мы!.. продолжаем наш полет. Просьба всем... кто не... пристегнуть ремни... а кто... не... отстегивать... до посадки... и полной остановки самолета. Мы!.. скоро!.. прибываем в аэропорт города...

— Одессы, — хрипло dokonчил за стюардессу толстяк. Она

нашел пухлой, как подушка, рукой руку Веры и сжал ее тепло, больно и отчаянно. И Вера ответила на пожатие.

— Просьба всем оставаться на... местах!.. до полной остановки... двигателей...

Самолет начал снижаться. Это уже не было падением. Он снижался по глиссаде, в иллюминаторах вспыхивал облачный туман. Когда шасси коснулось земли, Вера прикусила зубами губу, потекла кровь. Когда самолет встал на месте и затих, толстяк отстегнул ремень, уткнул лицо в ладони и затрясся в неудержных, совсем бабьих рыданиях.

Спускались по трапу. Ноги подгибались от слабости. Кого-то неукротимо рвало прямо на асфальт летного поля. Вера все-таки увидела девушку богатого толстяка. Она была и вправду красавица. Толстая русая коса, жемчуг в розовых маленьких ушах, брови вразлет, талия тоньше, чем у пчелы. От пережитого ужаса ее лицо было цвета молока. В небесных огромных глазах стояла влага. Она поджидала своего толстяка внизу, у трапа. Когда он спустился, девушка схватила его за руку и капризно прокричала:

— Яник! Ну и рейс! Поганцы пилоты! Я чуть не родила на борту!

Вера перевела взгляд на живот девушки. Под обтягивающим платьем живот предательски выпирал, торчал дыней. У Веры стало горячо под лопатками. Наблюдая чужую беременность, она опять почувствовала себя высохшим старым деревом. «Как это в Евангелии: высохшая смоковница, как там про смоковницу?.. эх, забыла. Надо прочитать».

— Не нужна ли вам врачебная помощь? — подскочил к Вере мальчик в белой шапке и в белом халате.

— Нет, не нужна, — помотала Вера головой, — спасибо.

Рядом кричали:

— Такий божевільний політ був, просто жаж!

Вера вошла в здание аэропорта, колени ее подкосились, и она рухнула на пол. Мир крутился вокруг нее, а она была веретеном. Голоса лепетали и вспыхивали рядом:

- Допоможіть, допоможіть жінці!
- У кого є нашатир?.. дайте скоріше!
- Бідна, вона з того самого рейсу?.. так?..

Ее жалели, вели под локти, усаживали на скамью. Подносили воды, заставляли проглотить неизвестные таблетки. Она послушно делала все, что ей предлагали. Ее трясли за плечи: «Вас встретят?.. Нет?! У вас паспорт с собой?! Где вы остановитесь?!» Наконец ее оставили в покое.

Она не хотела ни есть, ни пить. Она очень хотела спать. В брюхе большого белого, как белый ленивый кит, вонючего автобуса она доехала до старого центра Одессы. «Где тут пляж Ланжерон?» — робко спрашивала прохожих. Ей отвечали бойко, любезно, весело: «Та вот туточки!.. Остановочка!.. Сідайте ось на цей автобус, миттю доведе куди треба!»

Вышла. Ветер с моря дул в лицо, в грудь. Море катило под ветром серые, в бело-желтых барашках, мелкие волны. Тучи налетали с запада. Вере захотелось содрать с себя все одежки и залезть в эту холодную, соленую воду. Омыться. Просолиться. «Купальника же нет у меня, как же я голая-то полезу. Никак». Стояла, ловила ветер ноздрями. Пошла по сырой кромке песка, у самой воды. Море лизало ей сапожки. Натекало перед нею на песок. Отхлынет, и опять дышит вода, вздыхает и поднимает соленую грудь. Медленно, вдавливая ноги в песок, шла Вера, и в каждый отпечаток ее ступни за ее спиной мгновенно текло море, и быстро, ментально ее следы на песке становились морем, серой водой в разводах водорослей, как будто и не было ни узких следов, ни ее самой.

Она не оглядывалась.

Все шла и шла, сама не зная, куда, зачем. «Пять дней до паррома, — повторяла себе как заклинание, — пять дней, пять дней». Как-то надо было прожить эти пять дней. «Ничего, — шептала, — проживу. Переплыву». И правда, эти дни представлялись ей морским заливом, такой вот серой, дрожащей под холодным ветром бухтой; догола или в одежде, все равно, но надо было зайти в воду по колено, потом по пояс, потом по шею — и, взмахнув руками, плыть, ну ведь плавала ж она в ледяном Енисее, и ничего, и здесь тоже окунется и поплывет. Делов-то!

Накатывала на берег холодная волна, Вера шла, и ей казалось, вечно она так будет идти. И от этого становилось холодно спине и радостно сердцу. Она на одно мгновение ощущала себя ангелом, только без крыльев; крылья еще должны были вырасти. Она выпрямляла спину и сдвигала лопатки, и смеялась сама себе, своему безудержному детству. Одна, на морском берегу, она стала ребенком. Она теперь поняла толстяка, что хотел найти на пляже, на песке, свое утраченное, милое детство. Себя, мальчишку.

Вдруг Вера поняла, что продрогла. Болеть нельзя! Согреться, где? Повела глазами. Вдали маячил дом, похожий на кафе. Она побрела по песку туда, и ноги ее вязли в песке, и она беззвучно смеялась. Иногда наклонялась и вынимала из песка ракушки. Складывала их в карман. Они звенели.

Все ближе подходила она к домишку на берегу, и да, это было крохотное приморское кафе; смеркалось, и в полумгле оранжево, лимонно горел и переливался дьявольский неон в неуклюжих буквах над крышей: «КАВЯРНЯ». Ветер выдул из Веры последние остатки тепла. Дрожа, вошла она в кофейню, поднесла ко рту руки, дышала в ладони, даже пососала грязные пальцы, как леденцы.

— Ви продрогли? Погрійтеся! — Бармен, с полотенцем через запястье, склонился перед ней в радушном поклоне. — Сідайте, пані, ось вільний столик!.. Чашку кави бажаєте, або чого міцніше?..

Она села, стащила со спины ранец, затолкала его под стол и щупала ногами, чтобы не украли; ей принесли на подносе ко-

фе и в блюдечке — темный коричневый сахар. Она впервые грызла такой сахар. Фруктовый?.. медовый?.. Окунала кусок сахара в кофе, пила вприкуску. Блаженствовала. Как ей было хорошо! Забылась. Забыла, кто она, куда и зачем движется по земле. В зал вошел человек. Она сперва не заметила его. Такой он был серый, как мышь, незаметный. Низкорослый, худой. Будто невесомый. За его плечами болтался то ли старьевный мешок, то ли старый рюкзак. То ли бродяга, то ли прокуренный рокер, то ли несчастный бомж, то ли тайный наркоман, неприкаянный, неслышный, он прокрался сквозь столы, выбрал Верин стол и сел за него, ощупывая странную суровую женщину глазами, будто то была нарядная рождественская елка.

— Можно мне с вами?

Бродяга говорил по-русски.

Вера вздрогнула, и ее глаза стали опять видеть.

— Да. Конечно.

— Добрый вечер.

— Добрый.

К бродяге тут же подскочил официант; судя по всему, его тут хорошо знали.

Он уже отхлебывал из огромной чашки кофе, и уже курил, ссылая пепел в пепельницу, не глядя; и уже улыбался Вере беззубым жалким ртом, и уже говорил, и болтал, слово за слово, а Вера хранила молчание, как хранит его холодное море.

— Вы тут одна сидите!.. я и думаю, развлеку. И сам развлекусь. Знаете, тяжело мне жить. Несладкая моя жизнь!.. а у кого она сладкая?.. сладкой, ее просто нет. Все мы, блин, сладкоежки!.. а надо мясо грызть, мясо, и крепкими зубами. Вы знаете, я ведь гений. Ну да, не делайте круглые глаза!.. Не думайте, я не псих. Я настоящий гений! Чистой воды. Алмаз «Шах». Или там «Орлов». Без примесей. Играю на солнце! А меня — в грязь, в грязь! Да сапогом, сапогом! И булыжником — вдребезги!.. да я привык. Я написал гениальную книгу!.. да!.. подобную Псалтыри!.. новую, не побоюсь так сказать, Псалтырь, да у меня рукопись утащили. Да, так просто, взяли — и украли! А у вас что, ни-

когда ничего не крали? И даже деньги?.. и даже губную помаду из сумочки?.. ну да, вы не краситесь... вы — без макияжа, ах... это тоже сейчас модно, мода такая, голое лицо... Я плакал! Дико, страшно плакал! Потому что рукопись моя была в тетради, никакая не виртуальная! А потом, знаете... больно говорить, да... — Отхлебнул горячего кофе. Закрыв глаза. Вера глядела на его впалые щеки, на его щетину и морщины, длинными стрелами через все лицо. — Ну как не сказать... У меня жена ушла... и унесла с собой ребенка... моего ребенка... но это полбеды... она... она... убила меня.

Вера думала: «Господи, да воистину сумасшедший».

Но слушала молча, терпеливо.

— Что, думаете, безумец я? — Бродяга криво усмехнулся. Грел руки о чашку. — Думайте на здоровье. Это ваше право. Жена ударила меня ножом. Вот он след! — Бродяга внезапно со звоном отставил чашку и потянул вверх рубаху и полу куртки, под рубахой мелькнули полоски тельняшки, он бесстыдно обнажил ребра, через ксилофон тощих ребер тянулся длинный белый, грубый шрам. — Хороший след мне женка оставила?.. да, знатный. На всю оставшуюся... да ладно, это бы еще полбеды. Знаете, что потом-то было?.. а?.. не знаете. А потом она себе по ребрам тем ножом полоснула, да так, шутиливо, чтобы только поцарапать... а рукоять ножичка сухо-насухо вытерла... и мне в руку всунула... чтобы мои пальчики отпечатались. Лежу на полу, в кровище, нож у меня в руке, сжимаю его, да все я понял тогда сразу, а куда бежать, кровью истекаю, сознание уходит!.. она убежала, стервь. И дочку, дочку унесла... так орала дочка... как поросенок под ножом... Короче... женщина... и вы женщина, и она — женщина... в тюрьму меня-таки посадили!..

— В тюрьму, — эхом повторила за бродягой Вера.

Кофе в чашках остывал.

Она не могла оторвать глаз от его лица: оно светилось.

— И — отсидел!.. еще как отсидел... оттрубил... тика в тик... десятку... адвокат как ни бился, чтобы до пятерки скостить, не смог... И — вышел! И... в монастырь двинул!.. вот куда. Мона-

стырь, счастье мое и проклятье мое. Оказался я там, в келье — и что?.. одинок, матушка. Одинок! Впору меня самого свечой у аналая жечь. Так и сгореть хотел, такой свечой. Тосковал!.. выл. Ночами — выл! Вслух Псалтырь читал. И Евангелие — читал. И, пока читал, знаете?.. много постиг. Главное — постиг!

Вера дрогнула бескрылой спиной. Под лопатками заболело, заныло.

Что это такое он главное-то постиг?

Любопытство разобрало ее. Боль прошла вдоль хребта, вспыхнула и умерла в горячо бьющемся сердце.

— Вокруг меня стали, знаете, монахи толпиться. А я им — свои мысли излагал! И вроде как мое учение это было. Не смейтесь! А впрочем, можете и смеяться. Я не запрещаю. Смешно, да, смешно все, что я вам тут болтаю. Жизнь вообще смешная штука. Монахи меня слушали, раскрыв рты!

И тут Вера раскрыла рот.

Она не могла удержаться.

— А о чем... вы им говорили?

— О чем?! — Бродяга хитро прищурился. — А вам так хочется знать?.. Извольте!.. расскажу. Пока нас отсюда никто не гонит. Кавярня эта не круглосуточная, но до двенадцати ночи мы точно посидим. Не попрут. Меня тут любят. Я тут все починяю. И электропроводку... и полки прибиваю... и люстры прикручиваю... и... О чем?! О том! Делай что хочешь, да, только потом будь готов, что придется отвечать. За все, что сделал. И не обязательно на небе. И на земле — ответишь! Обманываешь? Тебя тоже обманут, и еще как! Сворюешь?! Тебя обворуют, да всего обчистят, до нитки! Изобьешь кого втихаря?.. не взыщи: тебя так отделают, маму родную не узнаешь. Исхлещут всего, в кровь, до кости!

Вера цапнула бродягу за локоть. Ее затрясло.

— Так, значит... — Она дрожала все сильнее. — Вот Христос! Вот его избили... ну, мучили Его... в тюрьме, когда Иуда Его поцеловал и Его в тюрьму солдаты забрали. Били Его солдаты! Смертным боем били! Мне старуха Расстегай говорила. А потом я и сама прочитала. В Евангелии! Истязали! К столбу привяжут

и бьют! В смерть бьют! Без пощады! И что же?! Что ж это значит, а?.. что Христос кого-то, значит, сам когда-то избил... над кем-то надругался... а теперь — Его самого пытаются?! Так, выходит?! Не понимаю. В этом твоя истина, что ли?! Ошибаешься ты!

— Нет! Не ошибаюсь! — Бродяга тоже кричал. — Все — так! Все! Кроме — Христа! Он ведь за нас за всех муку принял, ни одному живому существу не причинив зла! На то Он и Бог! Поэтому — Бог! А все мы — грешники!

— Господа-товарищи, — по-русски, презрительно бросил бармен от уставленной бутылками стойки, — пожалуйста, потише... у нас посетители, неудобно... Алешенька, ты-то что разорался на ночь глядя...

— Прошу прощения, — бродяга прижал ладонь ко груди и поклонился в сторону бара, — больше ни-ни...

— Тяпнул, что ли, уже где?

Бармен сердито протирал полотенцем бокалы.

— Нет, нетушки... ни в одном глазу... я трезв как стекло...

Вера заглянула в чашку. Черная кофейная гуща стояла на дне чашки нефтяным озером.

Бродяга вздохнул раз, другой тяжело, длинно.

— Жизнь... жизнь... Я говорил монахам: не бойтесь любить! Вы боитесь даже другу, соседу услужить, доброе слово сказать. Что толку, что вы молитесь? Вы делами — молитесь! Делами — Бога славьте! Я учил: есть люди, совсем не верящие в Бога, они даже над Богом смеются, атеисты, глухие к Богу и слепые, и обижают Его, оскорбляют... Но они так живут... так!.. что они — самые подлинные, настоящие христиане! И людей любят. И им помогают. И слабого — жалеют. И все строят, создают, и бескорыстно, не за мзду! И милость к врагам даже имеют! И четко — по Христу! — после удара по правой щеке — левую смиренно подставляют! И смеются над мучителем! И живут полной жизнью, и снова любят, любят! Ближнего — любят! И что? Что после этого ты скажешь? Что они — не во Христе живут?.. Еще как во Христе! Еще какие они христиане! Самые наилучшие! Честнейшие! Только что — лоб не крестят! И их-то

надо уважать, и приветствовать, и любить, потому как они — наиглавнейшие дети Христа! А не те, что в монастырьках за трапезой сидят да к обедне гуськом тянутся! И вот так... вот так я монахов-то там, в монастырьке моем, и учил... А игумен пришел как-то раз... перед дверью стоял — и все подслушал... и меня после за шкуру схватил!.. и орет: ересь глаголешь, ересь! Вон, кричит, из монастыря! Мирской ты человек, и топтать ты тут нашу монастырскую травку, и сажать монастырскую капустку не должен, и кондаки и ирмосы с нами распевать — опять же не должен!.. ничего ты тут не должен... И — никому... И — жми отсюда... чеши к едрене-фене...

— К едрене... — Вера смешливо прижала ладонь к губам, — так прямо... и сказал?..

— Ну, там я дословно не помню... но смысл такой... Короче, собрал я манатки... не ко двору я пришелся. Да там послушник был один. Молоденький! Совсем юный. Ко мне так привязался! Я ему как брат был. Родной. Он мне все услужить старался. Помочь. Я там, в монастыре, руку сломал. Ремонт у нас был, я белить стену известью полез, на леса взобрался, люльку со мной стали на ремнях поднимать, ремень оборвался, ну, и я упал. Об пол шмякнулся. Рука — хрясь! Так тот послушник сам гипс раздобыл, сам лангетку наложил. Руку мне забинтовал, как младенчика. Все спрашивал: больно? больно? Заботливый. И вот, когда я уходил... ну, разжалованный уже, расстриженный... послушничек этот как метнется ко мне! Как обнимет! Крепко-крепко! И зарыдал у меня на плече. Как, знаешь, Давид с Ионафаном обнялись... и рыдаем оба... ну, он мальчишка, слабодушный... а я, взрослый мужик, и чего реву?

— Давид... — морщила лоб Вера, — Давид... это царь Давид, что ли? Который — Псалтырь сочинил?

— Сочинил... — Бродяга, вроде Веры, в чашку свою заглянул. — Такие книги, знаешь, не сочиняют. Они — богодухновенные. Тебя как звать?

Вера не заметила, как, когда они перешли на «ты».

— Вера.

— Хорошее имя. Крепкое. Такое... — Бродяга сжал кулак и потряс им. — А я...

— Ты Алешенька.

Бродяга изумленно воззрился на Веру.

— Откуда ты знаешь?!

— Я слышала. Тебя называли так.

Кивнула на бармена. Бармен сидел на круглом высоком стуле и медленно, важно курил. Алешенька откidyрял ему, как офицер генералу.

— Точно. Алешенька я. Неприкаянный. Да вот, Вера, в путь я собрался. В неблизкий.

— В путь?

— В путь.

Вера вздохнула.

— И я тоже в пути.

Алешенька улыбнулся ей так светло, будто среди ночи солнце взошло.

— Значит, мы с тобой оба путники.

— Да. Путники.

Ей понравилось слово «путники». «Путники, путники», — неслышно вышептывала она горячими губами. Сцепила чашку рабочими крепкими пальцами. Подняла. Стукнула чашкой о чашку Алешеньки.

— Давай допьем. Выпьем. Кофе. За нас.

Опрокинули чашки себе во рты. Проглотили холодный кофе и засмеялись.

— Кофе — за здоровье! Ну мы даем! А может, Вера, чего покрепче? Глянь, у них полно тут чего покрепче. Заказывай.

— А у тебя деньги есть?

— Есть. Не вопрос. Что берем?

Взяли пузатую бутылку местного, одесского коньяка. Бармен принес, откупорил, поставил бокалы, нарезал тонкими ломтями яблоко, в розетке поставил на стол маслины и сыр. Алешенька поблагодарил бармена гордым царским кивком.

— Потом рассчитаемся, Жорик.

— Я много не буду, — тихо сказала Вера, глядя на пузатую, как тот толстяк в самолете, бутылку. Алешенька усмехнулся.

— И мало тоже. Прозит, как говорится!

— Что, что?

— Темнота. Твое, типа, здоровье!

Вера больше нюхала коньяк, чем пила. Алешенька пил много, забрасывал в рот маслины, веселел, розовел. Его торчащие скулы пылали, как в жару. Пьянел он быстро и радостно.

— А-а-ах, Верчик! Хорошая ты баба. А куда стопы направляешь? Из нашей милой, славной... Одессы-мамы? Одесса-мама, Ростов-папа! Снимите шляпу!.. Одинокая? Или замужем?.. да мне-то что, мне плевать. Разные у нас дорожки!.. тришки-ешки!..

— А ты куда?

Вера уткнула нос в бокал. Коньяк пах черносливом и шоколадом, а еще немного дорогим табаком.

— Я-то? Я — в Хайфу. Паром мой через пять дней. Надо обождать. С тоски помру!

— Я тоже в Хайфу, — сказала Вера, искося, через стол, глядя на монаха-расстригу.

— И ты в Хайфу?! Вот так да! — Алешенька расплылся в широкой улыбке. — Промысел Божий! Вместе поплывем! И молиться, — он сглотнул и восторженно поглядел на коньяк, — будем вместе...

— А ты зачем в Хайфу? — Вера захотела блеснуть знанием. — На пээмжэ?

Алешенька захохотал. Оборвал хохот.

— Вроде того. У меня билет в один конец. Я там... Вера... в монастырек тамошний хочу попроситься. И... остаться. И чтобы укрыли. Там... там хочу. Хочу... На Святой Земле. Я тут, на грешной-то, хлебнул горячего!.. я не все тебе рассказал, не-е-е-ет. Не все! Я — грешник! Грешник великий. Отмолить грех свой хочу! А он у меня такой... такой...

Согнулся. Выгнул спину. Бессильными руками лицо закрыл. Пьяно заплакал. Стал раскачиваться за столом, чуть со стула не упал. В край стола вцепился, изругался шепотом.

— Какой? — тоже шепотом спросила Вера.

Спихватилась:

— Не надо. Не рассказывай.

— Не... буду... — всхлипывал Алешенька. — А впрочем, скажу... В двух словах... Ты — поймешь... Ты же Вера... Я обуреваем дьяволом был... в компашке тут одной мы собрались... Это уже на Украине произошло. Да... тут... под Одессой... за городом... хуторок на берегу... море такое славное, ласковое... и девочка... девчонка эта... Короче... еще короче...

— Я поняла, не надо! — тихо вскрикнула Вера.

Алешенька не слышал ее.

— Дочка хозяев... лет десять ей... банька там у них, во дворе... прибой в камни бьет... Гости орут: баню хотим! Баню — растопили... девочка эта — нам веники несет. Березовые... Паримся, хлещемся... и тут... собутельники мои делись куда-то... я — один... за стеной, на улице, на ветру — голосок... песню поет... Я вышел, сгреб ее в охапку, в баню внес... дьявол это, Вера, дьявол... Он — везде... вот он за тобой сейчас следит! Подсматривает! И только ищет удобного момента... ждет... выжидает... маленькая девочка... беленькая, как вареная курочка... глаза такие у нее были... я ей рот рукой зажал... она мне всю руку искусала... всю...

Вера оттолкнула от себя бокал. Он скользко проехался по столу и упал на пол. Нагнулась, подхватила из-под стола рабнец и побежала к двери.

— А платить?! — кричал вслед бармен.

Алешенька кинул на барную стойку купюру и, заплетая ногами, ринулся за Верой.

Догнал ее на ветру. Ветер крутил и мотал перед ее лицом ее жесткие волосы. Она сжимала руки в кулаки. Шла быстро, да ноги вязли в песке. Шла вдоль берега. Море плело дикие, разбойничьи кружева прибоя. Алешенька пьяно костылял за ней, протягивал руки к ней, будто ей молился, а она была икона, и ожила, и навек уходила от него.

— Вера!.. Вера!.. Ну что ты!.. брось!.. я пошутил!.. Я все придумал!.. чтобы тебя — напугать!..

Вера шла, в нитку сжав губы.

Алешенька забежал вперед. Раскинул руки. Вера остановилась, тяжело дышала.

— Пусти!

Она плюнула на песок. Ночное небо сияло кучей малой крупных и мелких, бешеных звезд.

Ветер крутил Верину юбку и редкие сивые волосенки Алешеньки на его голой голове.

— Ты как мать игуменя! Ну, накажи меня! Расстриги меня вдругорядь! Чтобы неповадно мне было! Епитимью на меня наложи! Кирпичи меня... заставь... всю жизнь таскать! Или... воду из моря черпать! И в пригоршне — на берег носить! Всякую чушь делать буду! Только... не... уходи!

Крикнул отчаянно, хрипло:

— Не покидай!

Вера дрожала. Ей было отвратительно и больно. Боль рвала ее на части, раздирала. Ее будто кто-то огромный ломал на части, как жареную курицу, рвал, терзал, вцеплялся в нее зубами. Будто звезды небесные превратились в острые зубы и грызли, жевали ее, перемалывали. Ветер налетел, мощный его порыв толкнул Веру в грудь и чуть не уронил ее на песок. Алешенька упал перед ней на колени.

— Я чудовище! Я дерьмо! Но я хочу... снова стать человеком! Я хочу... Вера... к Богу! К Богу вернуться! Меня же к Нему уже звали! Много званных, Вера, да мало избранных! Помогите!

Его руки обняли ее, его лицо уткнулось ей в живот.

Она, сама не понимая, зачем и почему, гладила его по затылку, как ребенка.

— Не плачь...

Его руки сжимали ее все крепче.

— Вера! Прости меня! Я пьянь, я дрянь... Но я тебе все рассказал! Как на духу! Ты — моя священница! Ты — исповедь у меня приняла! Так отпусти! — Он хрипел из последних сил. Ветер забивал ему глотку, перекрикивал его воем и свистом. — Отпусти мне грех! Не могу я с ним жить!

— Встань! — крикнула Вера. — Песок сырой!

Алешенька не мог встать. Он крепко запьянел. Вера подала ему руку и стала тянуть его вверх. Все вверх и вверх. И он вставал, поднимался, все вверх и вверх, все вставал и вставал, и все никак не мог встать.

Встал наконец, не вровень с ней, а ниже ее — маленький, щуплый. Жалкий.

— Где мы будем жить?

Ветер перекрывал тихий голос Веры.

— А разве мы... будем жить?..

Вера улыбнулась. Мимо ее глаз осеннее море текло белой суровой нитью прибоя, нить под ветром то и дело рвалась, и сыпались, печально осыпались крупные и мелкие, дальние и ближние, бедные звезды белыми тыквенными семечками в соленую пену.

— А как же... еще как будем... Ну где-то нам... надо... пять суток переждать... не на вокзале же... а можно и на вокзале...

— Нет... на вокзале не надо...

Уже оба друг другу улыбались. И губы их дрожали. Алешенька дышал хрипло, потом закашлялся, и кашлял надсадно, и вынул из кармана платок, и Вера, в свете звезд, увидала на платке красное пятно.

Алешенька быстро спрятал платок в карман, затравленно глянул на Веру и зло, резко спросил:

— Ну что зыришь?.. да, болен я... а помирать хочу там... там... у Христа... поняла?!

— Поняла, — сказала Вера.

Она взяла Алешеньку под локоть и повела. Потом он вырвал руку и взял под локоть ее.

Они шли по берегу и не знали, куда и зачем шли.

Шли, чтобы идти.

И в этом был весь смысл; и все чудо; и все наказание; и все прощенье.

У бродяги Алешеньки в карманах, как выяснилось, водилось много разномастных денег: и гривны, и доллары, и евро, и русские рубли, и даже почему-то дерзко затесались среди прочих купюр мексиканские песо. Они сняли в дешевой гостинице на отшибе номер на двоих. Гостиница притулилась у самого моря, ее стены сотрясал ветер, ветер выл в трубах, срывал с веревок на балконах белье постояльцев. Море грохотало, как в бубен. Алешенька смеялся над ранцем Веры: «Какой детский сад, старшая группа!» Вера хохотала над рюкзаком Алешеньки: ну надо же, столько валюты с собой, а рюкзачишко весь штопанный-перештопанный!

Ели в гостиничном буфете. Все просто: бутерброды, сосиски, чай. Буфетчица бойко сыпала и сыпала перед ними дробной чечеткой украинську мову. Вера пожимала плечами. Она иногда ловила в россыпи чужого языка знакомые слова. Алешенька важно, изысканно говорил по-украински, вел с буфетчицей душещипательные беседы: о детях, о моде, о загранице. Хохлушечка с метельной кружевной наколкой в пышных черных волосах уже знала, что они оба на днях уплывают на пароме в Израиль. «Які ви обидва щасливі, ви побачите Святу Землю! Я так заздрю вам!»

Буфетчица думала, что они семейная пара.

Кровати в номере стояли сдвинутые, они их растащили по разным углам. Когда Вера раздевалась, Алешенька выходил покурить. Курил он редко, и Вере казалось, он делает вид, что курит. «Тебе же нельзя!» — сказала она, намекая ему на его плохой, кровавый кашель. «Мне теперь все можно», — мрачно и твердо ответил он и подбросил на ладони пачку сигарет, и поймал, как жонглер в цирке.

Дни текли, накатывал прибой, бил в просоленные валуны, ласкал темный, серый сырой песок, и Вера с балкона глядела на море долго и нежно, слезно, — так глядят на возлюбленного, которого покидаешь навсегда. Приближалась зима, и не было у Веры теплой одежды, подарила она ее птичке в столичной больничке, ну да ладно, это ничего, успокаивала она себя,

на юг же еду, там зимы не бывает. Алешенька сказал ей, что в Израиле два раза в году снимают урожай апельсинов. Она дивилась, ахала. «Апельсинов с тобой наедемся до отвала!» — кричал он, а потом сгибался в три погибели и кашлял — надсадно, страшно. И кровь текла по его подбородку. И он утирал ее ладонью и страшно ругался. И Вера шептала: «Ты же бывший монах, и будущий тоже, тебе нельзя так скверно выражаться».

Алешенька брал ее руку в свои обе и погружал лицо свое в ее ладонь, как в теплую воду.

И так сидел, долго, не шевелясь.

Дни протекли, время отбило склянки стеклянным ледяным прибоем. В назначенное время прибыли они оба в одесский порт, там уже у пристани стоял громадный, как айсберг, паром, и по трапу на него всходили люди, и веселые и грустные. Веселые люди говорили громко, шумели, восклицали, обнимались. Грустные люди молчали.

Вера и Алешенька перешли по трапу с пристани на паром, его покачивало на волнах. Веру замутило. Она смущенно посмотрела на Алешеньку.

— Меня тошнит.

— Ничего! — Алешенька поправлял лямки рюкзака на одном плече, на другом. — С Божьей помощью!

— Это хуже, чем самолет, я чувствую.

— Море, матушка, море...

Их несло вверх и вперед в толпе пассажиров, у Веры было чувство, что случилась революция, восстание или же война, и всех зовут собирать ополчение, и всем надо быстро сбиться в строй и дружно, гневно идти на врага, а где враг, не знает никто, — Алешенька тянул ее за руку и все повторял: «Вера, у нас четырехместная каюта, это же просто роскошь, курорт, с видом на море, мы будем видеть море, Верчик, будем видеть воду и солнце!» — они шли по коридорам и переходам, между сдвинутых стульев и между тесно прижатых друг машин, и искали номер каюты, и наконец нашли, но располагаться там не стали: «Еще успеем налегаться!.. пошли море смотреть, и как отплыва-

ем!..» — и паром медленно, тяжело отвалил от пристани, переваливался на волнах, как чудовищная железная утка, волнение усиливалось, ветер дул с северо-востока, продувал насквозь, выдувал из людей все тепло, и Вера пряталась за щедедушного Алешеньку, а он обнимал ее, от ветра и холода спасая. Брызги летели в лицо, и Вера слизывала с губ соль.

Они оба смотрели на угрюмое море.

— Как бы бора не началась, — пробормотал Алешенька.

— Что? — не поняла Вера.

— Бора. Ветер такой. Сильный, ледяной. Паром обледенеет.

И его может перевернуть.

Вера нервно засмеялась.

— Знаешь что, не пугай меня! Я пуганая.

— Да. Стреляная ты воробьяха.

Взялись за руки, как дети. Так стояли, обдуваемые ветром.

Паром набирал ход.

— Ты есть хочешь?

— Не особенно. Я бы выпил.

— Губа не дура.

— Я и сам не дурак.

— Холодно? Может, в каюту пойдем?

— А давай еще немного постоим? Ветер такой... свежий...

Они оба не поняли, когда начался настоящий шторм.

Бора налетела быстро, никто и пикнуть не успел. Море вспучилось, темная зеленая вода вспыхивала зловеще, оживала взорванным малахитом, волны накрывали одна другую и рушились на палубы парома. Громадный и царственный возле пристани, в порту, он немедленно сделался белой нищей скорлупкой посреди безумия соли, ветра и льда. Релинги мгновенно обледенели. С капитанского мостика разнесся зычный ор, усиленный мегафоном: «Всем уйти с палубы в каюты! Всем быстро в каюты! Держитесь за релинги! Держитесь...» Голос оборвался. Гул ветра

заглушал крики людей. Паром раскачивало так, что Вера подумала: «Сейчас, вот сейчас перевернемся!» Они еще держались за руки, когда огромная, с целый дом, волна накрыла их.

Вере удалось уцепиться за железный выступ. Бешеная вода оторвала Алешеньку от нее и потащила вниз, все вниз и вниз по наклоненной палубе. Он катился, все вниз и вниз, и пучина уже была под ним, темно светилась рядом, и Вера, сцепив зубы, видела, как он скатился в море, — волна смысла его с палубы, быстро и просто, смерть выглядела очень просто, как всегда и везде: вода, и ветер, и назначенный срок. Вера смотрела, как Алешенька скользит все вниз и вниз, как палуба все круче наклоняется, кренится страшным последним креном, и вот уже человек бьется в волнах, еще ударяет руками, ладонями по соленой бешеной влаге, ловит соленую воду ртом, он еще пытается плыть, да вода слишком холодна, в такой долго не продержишься, — не проживешь. Алешенькина голова моталась над водой. Вера глядела, как он умирает: то погружается в воду, то всплывает опять, живой поплавок, — опять тонет. Вынырнул опять! Она поймала глазами его глаза. А он — ее. Он смотрел на нее безотрывно, смотрел навек. Навсегда. Он кричал ей глазами: не забудь меня! Не забудь! Прости хоть ты меня! Прости!

Его рот дрогнул, губы раскрылись, он закричал, Вера по губам его прочтала: «Ве-ра!» Он звал ее. Сейчас он нырнет и больше не вынырнет. Она схватила зрачками его последний взгляд. Он странно высветился последней, яростной радостью. Будто он встал за столом, за мощным пиршеством, и поднял над роскошью жизни бокал, этот свой любимый одесский коньяк, пять звездочек, и заорал: «За жизнь!» И Верины глаза вспыхнули, они вспыхнули слезами и ужасом, но она не видела этого. Зеркала же не было рядом. Не моталось никакое зеркало перед лицом. Мотались и прыгали, и сшибались, и разлетались, как зеленые камни, волны. Орал с верхней палубы все тот же гулкий голос. Навалилась волна, окатила Веру с головы до ног слезами и солью. Море плакало и ярилось. Голову Алешеньки захлестнула вода, она еще

мелькнула, дернулась, поторчала живым поплавком и исчезла. Вера вцепилась в крашеную железяку другой рукой. Обеими руками держалась за железо. За жизнь.

Не помнила, как буря утихла. Бора, дикая зверица, перестала терзать ледяными когтями зеленую шкуру моря. А ветер все не умирал. Вера, как привидение, пробралась в каюту. Там уже дрожали, сидя на жесткой койке, как воробьи на стрехе, плотно прижавшись друг к дружке, два парня, юные, почти подростки — а просто, должно быть, зверски худые. Они были очень похожи. Братья, видать. Светлые кудри вокруг тощих, с впалыми щеками, остроугольных лиц. И глаза ледяные, прозрачные, дно видно, зрачки будто режут тебя ножами.

Вера уселась напротив. Юнцы не заговаривали с ней. Они дрожали и молчали. Глядя на них, начала дрожать и Вера. Паром беспощадно, жестоко мотало на волнах. До штиля было еще далеко. В животе у Веры заурчало. Она вспомнила тот кофе в каюарне, и тот крепкий, царапающий глотку, как наждак, одесский коньяк. Ее одновременно и тошнило, и есть она хотела, и плакать, слезы уже лились, она их не вытирала, и сквозь слезы все смотрела, прямо смотрела в лица этим братьям, должно, близнецам, что сидели напротив.

Один из братьев не выдержал первым.

— Вам плохо?

Вера сплела пальцы на коленях. Удерживала внутри себя дурноту.

— Нет. Нормально.

Другой юноша вынул из кармана джинсов железную коробку. В ней лежали, пересыпанные сахарным песком, аккуратно нарезанные лимонные дольки.

— Возьмите. Пососите. Лимон помогает.

Оба парня говорили по-русски с акцентом.

Вера осторожно, как живого жука, взяла двумя пальцами из коробочки кусок лимона, засунула в рот, сосала. Кислота бросилась ей в голову, не хуже коньяка.

— Спасибо.

— Прошоме, — ответил первый отрок.

Вера долго не думала.

— Вы русские?

— Литовцы, — сказал второй.

— В Израиль... — Хотела спросить: «на пээмже», да смех сквозь слезы ее разобрал. — В гости?

— Visiems laikams, — сказал первый. — Навсегда.

Вера проглотила лимон. Он рыбкой проскользнул по ее потрохам.

— У вас там... родители?

— Никого, — сказал второй. Воткнул пятерню в растрепанные светлые кудри. — Но нас встретят.

— У нас там, — сказал первый, — эклесия.

— Что? — спросила Вера. — Кто?

Во рту было кисло. Тошнота отступила.

А может, просто море разгладилось под серым утюгом неба.

— Эклесия, — настойчиво, терпеливо повторил первый. — Церковь.

Вера вспыхнула. Ощутила себя девчонкой, ребенком несмышленым; и вроде как ее за ручку ведут во храм, а она не знает, что такое храм и что у него внутри, и как там надо себя вести, жарко там или холодно, и горят ли свечи, и все ли там прощают, все ли грехи.

— Православная?

Второй улыбнулся. Зубы во рту у него стояли кривым частоколом, как кривой, покосившийся забор.

— Не-е-е-ет. Нет-нет! Это не наше. Это — чужое. У нас — своя.

Первый вытянул шею, как гусь:

— Да! У нас — истинная. Наш владыка — наместник Бога на земле! О нем мало кто знает, но придет время, и все узнают!

Перекрестился странно: обе руки сначала положил на лоб, потом на живот, потом развел в стороны, потом прижал к сердцу. И так сидел, блаженно закрыв глаза.

— О нем уже тысячи знают, — сладким голосом выпел второй мальчик. — Миллионы! О Блаженном Андрее! Он незримо летает над землей и приходят к людям, невидимый, и сердцем их благословляет! Он — благовестник! Он несет великую любовь! Превышенебесную! Он — помазанник!

— И помазует всех нас, грешных, — первый сидел, все так же закрыв глаза, — сей любовью, как святым миром из золотого сосуда...

Во рту Веры стояла кислятина. Она дернула мокрым подбородком. Скосила глаза в иллюминатор: море укладывалось длинными, спокойными зелено-болотными пластами. Выглянуло солнце. Залило водный простор веселым изумрудным свечением.

Как и не было бури и смерти.

Слезы все лились и текли ей в рот. Она глотала их, как лимонный сок.

— Вы плачете? — участливо спросил второй юноша. — Чем помочь?

— Ничем, — шмыгнула носом Вера и утерла лицо ладонью. — У меня погиб... — Она не постеснялась вранья. — Муж.

Второй открыл глаза.

— Как?! Вот сейчас? В шторм?

— Его смыла с палубы волна, — с трудом сказала Вера.

Оба подростка поднялись. Потом опустились на колени. Так же странно, широко, смешно, будто обнимали кого-то после долгой разлуки, обеими руками перекрестясь, запели:

*— Блаженный Андрей, святой апостол
грешной земли!*

Приди, возлюби, исцели!

Святое солнце во тьме, апостол Андрей!

Прими в объятия ты грешную душу скорей!

Вера хотела им подпеть и не смогла. Горло перехватило. Она задохнулась в слезах. Мальчики вскочили с колен, сняли с нее ранец и уложили ее на каютную койку, привинченную к стене громадными железными болтами. Она отвернулась к стене и так лежала, молча, с мокрыми щеками.

ХОЖДЕНИЕ ВТОРОЕ. МОНАХИНЯ

Не помнила, как оба литовских парня посадили ее в автобус до Иерусалима. Туман, как плат, накрыл глаза, обвернул голову, она затащила туман на шее. По дороге на автобусную стоянку мальчишки все Вере рассказали про Блаженного Андрея, их святого апостола. Он раньше жил в Москве, в сан его рукоположили в Киеве, он крепко рассорился с православной церковью и написал против нее гневные книги, уличив священников и самую церковь во всех смертных грехах; не стыдясь, обзывал батюшек волками в овечьих шкурах; его за эти книги из церкви выгнали, а еще хотели два раза отравить, яд в пищу подсыпали, и три раза в него стреляли, и все мимо, да последняя пуля ранила его в ногу, и теперь он хромает; убоявшись убийства, он уехал из России вон, и не куда-нибудь, а в Гренландию, и теперь живет там в маленьком рыбацком поселке на берегу холодного океана. Мальчишки сказали Вере название поселка; она тут же забыла. Всюду жара танцевала бешеную хору; жара стояла неостывающим кипятком в стакане стеклянного дня и плыла пьяным маревом в воздухе, среди голых выжженных гор, белых и желтых, как древние монеты, рассыпанных на нищей голой земле зданий и нежных бессильных деревьев, их листья корчились и крючились на жаре в безмолвной муке, а Вере чудилось — вокруг холод, и метель, и лед. Под ребрами билось ледяное сердце. Ей хотелось есть, хотелось пить, и в то же время она понимала — есть и пить ей не надо, стыдно, это нехорошо, подло: Алешенька там, в соленых волнах, на дне моря, а она тут будет жрать, жевать и водой ли, вином запивать позорную еду. Автобус то трясся, то вкрадчиво скользил по шоссе, мелькали за окном камни, деревья, люди, и Вера глядела на чужую жаркую жизнь раскосыми зимними глазами, и в ушах ее звучал слезный хор, он вынимал из нее душу на свет, и все люди теперь могли разглядеть ее,

Веру, изнутри — и все видели, что у нее на душе темно и притворно, притворно, нет там ни ясности, ни силы, ни правды, — одно только бессилие, и боль, и нищета.

Автобус трясся, она закрывала глаза и видела: огромный овальный стол, и сидят люди, кто бородат, кто с голым лицом, сумрачны, насупились, огонь горит в плоских плошках, на железном блюде посреди стола лежит кусок мяса, печеные ребра торчат, да, это ягненок, а вроде как человечина; в узкогорлых кувшинах темное вино, и перед каждым чаша, и здесь все мужчины, никаких женщин тут нет и быть не может, одинокая женщина — далеко, за стеной, под лавкой, как старая сброшенная шуба, во дворе, там, где метет метель. Человек со светлым лбом и темными глазами, а глаза все равно светятся, берет хлеб, ломает его в сильных пальцах и протягивает старикам и юношам за столом, и все осторожно отламывают от его куска, и он говорит, а что, Вера не слышит. Потом он берет кувшин, наливает вина в большую медную чашу, вино выплескивается на дощатый стол, глаза человека возгораются ярче, обеими руками он высоко поднимает чашу над головой, капли вина со дна чаши падают на руку румяному мальчику, что сидит рядом и смотрит восторженно, ясно; мальчик быстро слизывает вино с руки и слушает, слушает. Пытается и Вера расслышать. Не может. Будто глиной, а может, воском заклеплены уши.

Она с горечью поняла: все это время она спала. Все время жизни своей. Все детство, и вся Сибирь, и Красноярск, дымный и безумный град на сморщенном теле земли, — все сон, и все вокруг нее спали, и спала она, и никто, никто не подносил ей эту, со сладкой кровью, единую на всех чашу. Не спи, Вера, молча крикнула она себе. Не спи! Молись! Она вспомнила, что там, в Сибири, все вокруг нее молились, и редко когда спали: мало спала мать, все время на ногах, все время работала, вкалывала, и мало спала покойница Анна Власьевна, неустанная кружевница, заботница, коклюшки так и стучали все время в ее сухих малых пальчиках, курьими лапками вывязывала она метелицу с виду длинной, а на деле такой кратенькой, куцей, как заячий

хвост, человеческой жизни, и мало спала старушка Расстегай, к ней как ни придешь, все бодрствует, все катается по избенке сморщенным колобком. Все это были знаки ей, думала Вера сокрушенно, и надо было узнавать в лицо, читать эти строгие, важные буквицы! Повторять их днем и ночью! Ну да, дура она и есть дура. Не воспитали ее, как надо. Автобус, трясись, вези Веру к правде.

«Может, и повезет мне. Может, и пойму что. Власьевна!.. подруженька, спасибо тебе. Неужели доберусь? Неужели уже добралась?»

Автобус перестал дрожать и подпрыгивать, встал, и Вера, едва перебирая слабыми от долгой дороги ногами, выбралась наружу. Стояла у гигантского автобусного колеса, озиралась. Перед нею лежал город, и все в нем было такое же, как и в других городах земли, увиденных ею: громады равнодушных домов, закованные в асфальт дороги, сухие, окутанные бензиновыми парами пыльные деревья на обочинах. Она заплакала в голос, никого не стесняясь.

— Вот я и в тебе, Иерусалим.

Стояла и плакала.

Плотной сбитой черной толпой шли монахи и монахини, и мужчины и женщины в одинаковых черных рясах. Пыльный ветер трепал и воздымал черные подолы. Высокий бородатый монах подошел к Вере. Она посмотрела ему в лицо. Лицо светилось добротой и правдой.

«Вот он знает правду. Знает, куда мне здесь надо идти. Я же не знаю ничего».

Монах положил теплую руку Вере на плечо. По его вискам тек пот. Жара усиливалась.

«Странно, а у нас ведь там, далеко, в России, в Сибири... холод лютый. И, может, уже первые снега выпадают».

— Что плачешь, дочь моя?

Повторил эти слова на чужом языке.

— Why are you crying, my daughter?

Вера закрыла глаза и увидела: человек стоит на высоком помосте, одетый в красное, а по его лбу, щекам, шее, рукам

и ногам кровь потоками течет, вокруг него толпа, и люди вопят, широко разевая рты, а тот, кто в красном, в крови, молча стоит, глаза широко раскрыты.

— Я сейчас. Ничего. Простите.

Вера крепко вытерла ладонями лицо.

Монах погладил ее по плечу, и его ладонь прожгла любовью Верино платье.

— Подожди тут. — И повторил ее слова: — Я сейчас.

Отошел, говорил с монахиней, у монахини кругло и мощно выступал под черной тканью толстый живот, и большой золоченый крест лежал не на груди, а на животе, именно что лежал, как младенец в колыбели лежит, руки раскинув, а не вниз свисал. Вера не слышала речь монаха — гудели автобусы, смеялись и восклицали люди, раздавались крики уличных торговцев, бешено грохочущая музыка из открытых дверей машин, из распахнутых окон ближних домов. Само небо гремело и шумело. Вера услышала рядом с собой спокойный голос монаха:

— Ступай, дочь моя, вон с той монахиней. — Указал на толстую в черной рясе. — Это мать игуменья. Из монастыря в Жалейке. Они тут тоже паломницы. Как и мы же. А мы из Вознесенского Печерского монастыря, что в Нижнем, на Волге. Все мы тут... — Вздохнул. — Ко Христу притекли. Благословенна да будет земля Иерусалимская! — Развел руки. — Святая Земля!

Перекрестился.

Вера, устыдившись, тоже торопливо перекрестилась.

«Безбожница я, чашка пустая, битая. Швыряли меня, швыряли, а я все не разбилась».

Мать игуменья сама, широкими шагами, и подолом вызывая еще, как веером, пыль мела, близко, вплотную подошла к ней. Тугим животом Веры касалась.

— Мать Варвара я. Тебя звать как? Вера? Ну вот что, раба Божия Вера, ступай с нами. Не бойся, не хмурься! Не обидим.

Скупно улыбнулась, вроде бы насмешливо, а на деле светло.

«Откуда святой этот отец узнал, что я тут одна, и не знаю, куда податься? Мысли, что ли, мои прочитал?»

Она послушно пошла за матерью игуменьей, как утенок за утицей. Монахиням был подан пустой маленький автобус; смеясь, бойко, будто не монахини они все были, а девчонки, уроки закончились, и их всех сейчас, скопом, в кино повезут, а может, в музей на экскурсию, — запрыгивали в автобус; запрыгнула и Вера, стараясь не отставать и стараясь так же, как монахини, весело улыбаться. «Покров, Покров скоро!» — звучали женские голоса, перекрывали радостью, смехом друг друга. «Гляди ж ты, монашки, а веселятся, как дети. И — не стесняются!» Вера смутно помнила про Покров: на этот октябрьский день обычно выпадает плотный тяжелый снег, хотя у них в Красноярске снегу и в сентябре может нападать выше крыши, а, да, это у Богородицы был, что ли, такой плат, ну, покров Она носила на голове... это Ее платок... в честь платка... да вроде бы... или нет, что-то другое... «Стыдно мне, стыдно, стыдно. Неученая я. Они все — ученые».

Скрипка, чистейшая, пронзительно плачущая, звенела рядом. Вера даже стала искать ту скрипку глазами. Не нашла, смущенно глядела на мать Варвару, игуменья сидела в кресле через проход. Строгие глаза игуменьи просвечивали Веру.

Игуменья подняла руку и пошевелила пальцами, будто хотела благословить Веру. Вера покраснела и отвернула к окну лицо. За окном неслась мимо, все мимо и мимо чужая, Святая Земля.

Она прибыла с монахинями в монастырь, глядела широко и туманно, все ей было в диво, всего она пугалась, всему изумлялась, всего стеснялась. Монахини подвели ее к матушке игуменье: «Это матушка Мисаила, ниже кланяйся, ниже!» Вера, на всякий случай, поклонилась матушке Мисаиле земным поклоном. Древняя, вся изморщенная старуха, с каменно-суровым, туго обтянутым черным апостольником твердым лицом, молча, грозно благословила Веру. Погляделась в Веру, как в зеркало. У Веры губы в нитку сведены, и у старухи тоже. Только у Веры

впалые щеки гладкие, а у старухи будто изрезанные острым скальпелем, в рубцах и шрамах времени. Старуху увели под руки. Монахини шептали: «Скоро ей девяносто пять лет, у нее всю семью при Сталине расстреляли, она блокаду пережила, ленинградка, здесь уже полвека, или даже больше. Святая!» Вера подумала: «Да здесь все свято, куда ни плюнь». Сама себя одернула: «Куда ни глянь».

Молоденькая монашка нежно, будто бы Вера была смертельно больная, и надо было срочно вести ее на операцию, взяла ее за руку и потянула за собой. Вера покорно пошла за ней, семеня, как балерина. Ее привели в пустую комнату; в комнате не было ничего, кроме приземистого сундука, и потолок низко висел, давил затылок. «Как в бочке тут, и я соленый огурец». Вера устало присела на край сундука. Монашка улыбнулась ей, как ребенку.

— Вы впервые в Иерусалиме?

— Да.

— Отдыхайте! Вы утомились.

— Да.

— Откуда добирались? Из Болгарии? С Украины? Из России?

— Из Одессы, — сказала Вера, и слезы снова залили ей раскосые глаза. — А до Одессы — из Сибири.

— Ой, как издалека! — воздела руки монашка. — Семь железных сапог износили!

— Нет, — сказала Вера и растерянно поглядела на свои ноги, — никаких... железных... вот кожаные — истрепались...

Монашка необидно, тоненько засмеялась.

— Вы потерпите. Сейчас сюда принесут постель. Будете спать на сундуке. Это келлия сестры Феодоры. Она умерла позавчера ночью. Завтра будем хоронить.

Монашка сказала о смерти легко и просто, и светло, будто о трапезе, о свадьбе или о крестинах. Вера содрогнулась. Опять рядом зазвучала скрипка, к ней добавила голос вторая, скрипки пели, как две женщины: одна высоким голосом, другая низким. Дверь открылась, и худенькая послушница внесла тонкий ове-

чий матрац, верблюжье одеяло, свернутое в шерстяную трубу, и сложенное в прозрачный конверт белье. Через минуту сундук превратился в кровать. Улыбчивая монашка указала пальцем на ложе.

— Молиться с нами не пойдете? Спокойного вам вечера. И ночи тоже. Спите с Богом. Мы за вас помолимся.

Монашка повернулась, чтобы уйти. Вера схватила ее за руку.

— Стойте! — Ей почему-то страшно было остаться одной в этой голой комнате. — А куда мне завтра пойти?

— Как — куда? — Монашка глядела ласково. — Вам никуда не надо спешить. Поживете у нас. Постоите монастырские службы. Помолитесь с нами. Потрапезничаете. Разговоры будете с матерью Мисаилой разговаривать, она у нас много чего знает, вы не глядите, что она старая и молчит. Она даже поет! Русские песни! Да еще как, в полный голос! И на клиросе тоже поет, вместе с нами. И апельсины весной сажает в саду! Весело тут у нас! Божья благодать!

— Да, — шептала Вера, — весело...

— А когда наживетесь, вот тогда по Иерусалиму и побредете! Перво-наперво пойдите на Виа Долороса.

— А что это?

— Это улица, по которой Иисуса вели на Распятие. Вы должны пройти Его Крестным путем! Я расскажу вам, как туда добраться. У нас еще будет время!

Вера поняла: времени у нее уже не будет.

— Я пойду туда завтра, — твердо сказала она.

— Завтра? — Светлая монашка опять забавно всплеснула руками. — Завтра! И не отдохнете как следует! Да куда вам торопиться!

— Я спешу, — сказала Вера еще тверже.

— Куда вы так спешите?..

Монашка все еще улыбалась. Вере захотелось смахнуть эту невесомую улыбку с ее лица, как дрожащую на ярком солнце стрекозу.

— Я жить спешу. Знаете, люди на моих глазах умирали. И я их провожала. У них, у каждого, была своя... эта улица, ну. И у меня тоже будет. Я хочу скорее ее увидеть.

Светлые, бледно-желтые, почти белые камни раскалились и прожигали Верины ноги даже через подошвы сандалий.

Сандалии ей дала игуменья Мисаила. И легкую кофту: «Накинь вместо своей, плотной, изжаришься ведь, сегодня такое солнце!» Солнце било сверху вниз копьями белых лучей. Вера уже узнала, что у нее именины — четырнадцатого октября, в самый этот Покров Богородицы. Монахини уже успели рассказать ей все про Виа Долороса: и про то, как Иисус шел по той мостовой и падал три раза, а последний раз упал, когда увидел Голгофу; и про то, что на пути Он встретил Матерь Свою; и про то, что Крест за него понес Симон Киринеянин, ибо Иисус медленно шел, через силу, и еле-еле Крест на спине волок, а злые воины спешили, с тоской посматривали, как на закат катится солнце, управиться поживей с казнью хотели. «Откуда улица начинается?» — спросила Вера. Ей объяснили. Она крепко держала в руке маленькую карту Иерусалима и все на нее смотрела: и когда ехала, и когда шла.

Виа Долороса, что это означает? Крестный Путь? Слезный Путь? Скорбный Путь? Зачем на земле столько языков, и все языки чешут по-разному, и люди разных народов друг друга не понимают, и плачут и смеются, пытаясь правду сказать, и жёстами показывают слова свои, и у них не получается ничего? Вера стояла на выжженных до белизны камнях, камни отдавали ей тепло, она щурилась от солнца, приставляла ладонь ко лбу и глядела из-под руки на каменные арки, на древние лестницы и стрельчатые окна, а небо синим вином лилось ей на платок. Монашки дали ей от солнца белый апостольник; она повязала его вокруг головы, как белый плат сестры милосердия, завязав на затылке толстый узел.

Вера морщила лоб. Тыкала пальцем в карту. Ей сказали: здесь, вот здесь Христа приговорили к ужасной казни.

Она вспомнила слова из Евангелия. Ей даже не нужно было лезть в ранец и вынимать его, и находить это место в Евангелии от Иоанна, где они были написаны. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: се Человек! Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни Его!»

— Распни... распни Его!

Воздух сгустился, ветки ближнего дерева отчаянно мотались на жарком ветру, и будто бы рядом тикали, как опасная бомба, незримые часы.

— Распни, распни Его!.. Распни... распни Его...

Вера повторяла и повторяла эти слова, а они все не отвязывались от нее.

Она медленно пошла вперед до улице. Вот здесь Его бичевали, свистели в воздухе плетки, глумились и скалились солдаты, кричали: «Царь Иудейский! радуйся!» — и били Его по щекам, и плевали Ему в лицо, в глаза. Потом Его бросили в темницу. Он всю ночь сидел на каменной холодной скамье. О чем Он думал? Он плакал. Истекал кровью. Никаким вином не была тогда эта кровь, никаким хлебом — Его плоть; раны горели, рубцы вспухали, Он понимал: завтра будет еще хуже. Еще больнее.

У Веры заболели руки, ноги. Будто ее самое избили, и она еле тащилась, окровавленная, по горячим камням. В сандалиях, а будто босиком; и на камнях — кровавые следы. Вот здесь Он упал! Зачем Он упал? Почему? Солдат ударил Его. Он не устоял на ногах. А может, просто солнце сильно припекло. Боль от ран стала невыносимой. Ад! Он близко. Ад — это и есть земля. Наша земля. Такая красивая! А люди на ней такие злые. И землю бичуют. И зверей на ней убивают: стаями, стадами. И сами себя убивают. Люди — людей.

— Люди людей убивают, а нам и телят не велят...

Ее губы шевелились через силу. Пить! Она хотела пить. А римские воины не давали ей пить. Всюду церкви, храмы! Ча-

совни! Понастроили... да, память, чтобы помнить... Кто вспомнит о ней? Кто о ней заплачет?

Ну да, да, просто вот о ней, о Сургут Вере Емельяновне, какого года рождения, какой адрес, какой там город, да разве это так важно для памяти, все это чепуха, все приметы нашей малюсенькой жизни, червяком малым сворачивается она у ног на лютой жаре, и идут ноги, и босые, пропыленные, и в сандалиях, а потом опять голые, без врезающихся щиколотки узких телячьих ремней, и ранят стопы острые камни, и здесь, да, вот здесь останавливается Спаситель, потому что из толпы на Него смотрит женщина, и Он слишком хорошо ее знает, ведь это — Его мать.

— А ты, ты ничья не мать... никогда, никого не родила... ни Бога... ни черта... ни человека!.. уж человека-то хотя бы постаралась... попыталась...

Затылок пылал под апостольником, Вера вся разжарилась, распухла, порозовела и посмуглела, как белаш на сковороде. Сорвала с себя апостольник и им вытерла лоб, лицо и шею. Потом опять накинула на голову белый кусок легкой ткани; так стояла. Чувствовала и даже слушала бешеное солнце.

На стене серого дома висели огромные пестрые ковры. Узоры на них вились одинаковые: круги, будто великанские клумбы, а внутри кругов еще круги, и так до самого крохотного круга, до центра. Ковры висели на петлях, а петли были накинута на гвозди чудовищной величины, вбитые в щели между громадными блоками известняка. «Вот такими гвоздями прибивали ко Кресту Христа».

Вера ту же затащила концы апостольника на потном затылке.

Интересно, сколько стоят такие ковры? Как турецкие... а может, и правда мусульманские...

«В Иерусалиме ведь разные народы живут... не только евреи... и арабы, и турки, и... а русские живут?... Русские — везде живут... Значит, разные боги тут... и как не передерутся... мечеть — с Христом, а католики — с Аллахом... а с ними со всеми — этот, как его, у евреев главный... имя забыла...»

Она подошла к бессильно, мертвой шкурой, висящему на древних страшных гвоздях ковро, пощупала его, помяла в пальцах. Погладила ворс.

— Красивый какой, — вслух сказала.

Торговец услышал.

На диком, вусмерть ломаном русском языке завопил:

— Гразив шеншин! Шеншин, даме! Ковере гразив, та! Ошен гразив! Губит, губит пошалта! Губит!

Вера с трудом уразумела: «губит» — значит «купить».

«Меня просят купить ковер. Но ведь у меня денег... а сколько у меня денег?.. я и сама не знаю... На обратный билет?.. когда?..»

— У меня денег нет, — просто сказала.

Усмехнулась. Развела руками.

Торговец закричал гортанно и тонко:

— Тэнг?! Тэнг?! Эсь в даме тэнг! Эсь! Эсь, йа знат!

— Какой упрямый, — шептала Вера, — прости Господи...

Свела брови и отступила на шаг.

«Вот еще влипла, не хватало».

На углу улицы торчала сапожная будка. Из будки высунулось широкое, сковородкой, лицо. Жгуче-черная, с редкими нитями серебра, громадная борода топорщилась, нависала над грудью черной лопатой. А на лопату налипла черная, живая, жирная земная грязь: земля.

За бородой показались руки. За руками — могучие плечи. Не сапожник — борец! За плечами высунулся весь торс, выдвинулась нога в черном, жирно блестящем сапоге, и вот уже из будки, расправляя плечи и поигрывая ими под легкой рубашкой, и полумесяцы соли под мышками, и ворот на жаре расстегнут, и маленькая серьга золотая, золотой клюв попугая, в огромном смуглом ухе, ослепляя, под солнцем горит, вылез весь человек, мощный мужик: то ли старый, а то ли вечный, — до того крепок и увесист. И нагл! И весел!

Сапожник, переваливаясь, как утка, с боку на бок, медленно, сгибая ноги в коленях и чуть приседая, приземисто, тяжело шел

к Вере и торговцу, шел, будто катился, и все мышцы у него под мокрой рубахой угрюмо и озорно перекатывались.

Когда он подошел совсем близко, Вера узнала его.

— Липа, — выдохнула она, — Липа Гузман...

И эти его оспины, одна на одной щеке, другая на другой...

И эта его черная, ночная мощная борода, щеки как нефтью обмазаны...

Пришел его черед рассматривать Веру.

Он свистнул громко, потом прижал ладонь ко рту. Потом отнял: широченная улыбка разрывала надвое его загорелые, потные щеки.

— Верундер! — заорал он недуром.

И стал так хохотать, что с гвоздей на камни свалился ковер чужого торговца.

А может, жаркий бешеный ветер его сорвал.

Бородач широко шагнул вперед и облапил Веру так, что она вздохнуть не могла. И только ловила ртом пыльный пылающий воздух.

— Хе! Хе! Верундер! Здесь! На Святой Земле! Какими судьбами?! Ох я и рад тебя видеть, мать! Ох я и рад! Как там наш Красноярск?!

Вера плакала от радости. Бородач огромными шершавыми ладонями крепко вытирал ей слезы.

— Красноярск? Да хорошо! Что ему делается! Стоит!

— Хе, я уж теперь Красноярск увижу, мать, только опосля кончины праведной, когда мой дух, веселяся, вольно полетит, поплывет под небесами... и доплывет среди туч до нашего Енисей-батюшки... до Караульной горы... и потом на Столбы полетит, на Деда сядет-посидит, на Слоника... на Такмак... эх-хе...

— Липочка, — Вера сильно, горячо тискала ему руки, — а ты вот тут сидишь, в этой будке-клетушке... что, другой работы тут нет тебе?

— К черту лысому другую работу! Я — эту обожаю! Моя лавчонка — моя крепость! Детки у меня зарабатывают сами, ну и Бог с ними! Детки — сами по себе, я — сам по себе! Я — боро-

дательная птица в клетке! Да зато в своей! Личной! Ни от кого не завишу! Мне власти все разрешают: я, знаешь, Верундер, песни пишу! Ну да, псалмы, как царь Давид! Я тут местный Давид! Всех уж тут воспел! Ну, в смысле, всех, кого надо! И кого не надо тоже! Верундер! О счастье! Ты — тут! А ты мне часом не снишься?! Нет?! О-а-о! Я! Счастли-и-и-ив! Ани охэв отах!

Уже за руку ее за собой тянул.

— Липка! Куда ты меня тащишь?

Смеялась.

И бородач смеялся. И зубы в черной старой бороде белые сияют, как у молодого.

— Домой к себе, куда ж еще?!

Когда-то давно, когда Вера была еще юной школьницей, посреди Красноярска, на главной улице, стояла сапожная будка. Там сидел и чинил обувь бородатый еврей по имени Лазарь Гузман. Все звали его просто Липа. Липа и Липа, так повелось. Иногда окликали: «Реб Липа!» — он подрабатывал в синагоге; конечно, никакой не ребе он был, — просто подметал и подпывал, красил, таскал и ремонтировал. В будке своей, закончив трудовой день, Липа пел. Вера с девчонками прибегала послушать его. Пел он на непонятном языке, мелодии эти больно щипали внутри, переворачивали вверх тормашками глупое сердце. Липа чинил девчонкам туфли и сапожки за бесплатно. Смеялся белопенно, многозубо: «Мне за вас — богачики заплатят!» Девчонки гладили его роскошную, пушистую бороду, как черного кота. Пальцем трогали золотой коготь серьги в загорелом громадном, как рапана, ухе. Липа шикал: «Девки, брысь!» — и страшно выпучивал глаза. Он родил в трех браках семерых детей. Двое сыновей, Додик и Шмулик, уехали жить в Израиль. Додик убедил и отца переехать. Липа уехал, поселился в тесной однушке, подарке Додика, в Иерусалиме, и тут же завел себе сапожную мастерскую — точно такую же собачью будку, какая у него была

в Сибири. И молоток, и стук-стук, и дратва, и стежки, и подошвы, и стельки, и вакса, и стальные ложки, и острое сапожное шило, не подходи, жулик, насквозь проткну! Окрестные хулиганы его боялись. Иерусалимские бандиты и пройдохи чистили у него модельную обувку. Липа цедил сквозь зубы: «Таки да, маэстро, протяните-ка мне ножку, да у вас, азохн вей, совсем одесские корочки! только, мальчонка, шибко грязненькие!» Вера не уследила, когда он уехал — она даже не смогла с ним попрощаться. Ей сказали подружки: «Липа Гузман улетел, поминай как звали, навек».

И они помянули его с девчонками в кафе «Космос» — купили пирожных с помадкой, а Вера тайком, в ранце, принесла бутылку красного вина, дешевый крымский портвейн, и они сначала выпили кофе, а после наливали портвейн под столом в кофейные чашечки и, стесняясь, хихикая, пили за счастье Липы в Иерусалиме.

...Липа, Липа... цветут липы... Райский Сад, Эдем... налей вина всем... Всех накорми, напои, еда — рисунок любви... выпивка — слезы и смех... хватит на всех... на всех...

Липа ухаживал за Верой так, будто она была ему дочь родная. Усадил за стол, сел на корточки, стащил с нее сандалии, растер ей костистые натруженные ноги в сильных ладонях, вскипятил и заварил чай с лепестками роз и лимонной цедрой, разогрел на противне в духовке необъятную пиццу, обильно поперчил ее, нарезал помидоры, брынзу, укроп и орегано, все это смешал с оливковым маслом, посолил, орал: «Изумление-таки сготовил я тебе, Верундер!.. ум отъешь!..» — открыл бутылку коньяка, бутылку муската и вынул из холодильника шампанское.

— Верундер! Не обессудь!

— Господи, Липка... это как в Новый год...

— Ты приехала в Иерусалим, значит, у нас Новый год! Да ведь недавно он у нас и был! Рош-Ашана! Хе, хе!

— Липа... ты будто бы меня ждал... сколько всякой-разной выпивки... а может, ты кого другого ждал...

— Тебя! Сияющая! А ты тут у нас уже загорела! Ты когда была-то?

Качал в кулаке, как ребенка в люльке, пробку шампанского. Все-таки оно выстрелило. В потолок. Омыло пеной Липину люстру. Струя опала, осела, пропитав холодной пахучей влагой скатерть и обивку старых кресел.

— Липа... — Вера хохотала и отряхивалась от шампанского. — У тебя кресла будто с помойки!

— Обижаешь, начальник. Антиквариат! Утром деньги, вечером стулья!

Содвинули бокалы. Звон обволол их, как на свадьбе.

— Верундер! За тебя! За твой приезд!

— Липа... — Слезы опять потекли, как тогда, на улице, около арабских ковров. — Да ну меня! За тебя!

— Нет. За тебя. Чтобы тебе, сибирячка, легко шагалось по Святой Земле!

Пили стоя. До дна. Липа швырнул через плечо бокал. Осколки зазвенели. Вера закусила губу.

— Очумел, Липка... Я подмету!

— Не смей! Тут все делаю я!

Заметал стекляшки огромным деревенским веником.

«Из России, что ли, привез?»

Ели пиццу. Запивали коньяком, мускатом. Опьянели. Липа пытался рассказать Вере про жизнь в Иерусалиме. Вместо этого бессвязно плакал:

— Милая... Знала бы ты... Как хочу в Россию! Стосковался я. И то правда, летаю по два, по три раза в год! К детям! Додик мне денег на дорогу сует. Иногда и Шмулик подкинет. В Красноярске появлюсь — душа поет! Я там по два, по три месяца живу. Что ж это я тебя, душенька, ни разу не видал? Домоседка такая стала?.. А — замуж-то вышла?.. Нет?.. Нет... Ну и плюнь и разотри... какие твои годы...

Раздался звонок. Липа, на нетвердых ногах, побрел отпирать. Вошел чернявый молодой мужик, страшно на Липу похожий, только без бороды. Кинул беглый взгляд на Веру.

— Опять шалаву из Расель аль-Амуда приволок? И когда уже натешись... Все, блин, никак не состаришься... а пора бы... Отец, я по делу. Договорился с записью на радио. Песни попоешь и о сапожном деле потрекаешь. Денежку заплатят. Не сильно большую, но подай сюда.

Вера выпрямила спину. Изю всех сил старалась держаться гордо и трезво.

И говорить — без запинки.

— Я не проститутка. Я — из Сибири! Я вашего отца с детства... знаю!

— Будет тебе ерепениться, Додик... это — Верундер... это мой Красноярск...

— А, — понятно сказал Додик, ничуть не удивившись. К Вере обернулся:

— Останешься у нас нянькой? С малым ребенком?

— С внуком моим! — торжественно воскликнул Липа.

Они оба настороженно, выжидательно глядели на Веру.

И Вера сказала:

— Да.

В монастырь она не поехала. Телефонного номера она не знала. Монастырский номер нашел Додик, сам позвонил, сам сообщил: «Ни грамма беспокойства! Ваша паломница у нас. У кого у нас? У родных и близких!» Постелили Вере на Липиной кровати, Липа ночевал на раскладушке, Додик, допив мускат, ушел домой, насвистывая *Besame mucho*. Вера всю ночь слушала, как грохочуще, громоподобно храпит Липа. Она катала голову по подушке. Может, перегрелась. Тихая музыка приближалась, заполняла все жаркое ночное пространство, вилась вокруг Веры громадными бабочками, они садились ей на голые плечи, на щеки.

Утром она весело сказала Липе: «Я сбегая за хлебом! Быстренько! И за колбасой, колбасы тут можно ведь купить?.. это ку-

шанье всех народов». Липа расхохотался. Щелкнул ногтем по золотой серьге. «Да, всех! Всех! Да ведь ее, родимую, немцы придумали. Немчура проклятая! Нет, я немцев люблю. Я всех люблю! Мама, я жулика люблю, хе-хе! Все — хороши! Иди, иди, девка! На вот тебе шекелей. А то ведь у тебя рубли небось! Или что другое, хе, хе...» Вера зажала в кулаке шекели, другой рукой подхватила ранец и повесила его за ремень на одно плечо. Рядом с Липой она чувствовала себя школьницей. Ей хотелось озоровать.

— Липа, где булочная?

— За углом!

Она сбежала по лестнице, размахивая ранцем.

Нянька, иерусалимская нянька, да не может того быть, а вот оказывается, может, да зачем она согласилась, кто ее за язык тянул, ну, да можно ведь в любой момент отказаться, да можно даже сбежать, нет, сбежать это подло, это пошло, так не делают, надо все говорить, надо договариваться, а вдруг этот ребенок капризный, вдруг он ей жизни не даст, а зачем она работать-то подвизалась, только работы в Иерусалиме ей не хватало, ее же никто не упрашивал, никто ей не приказывал, она сама дала согласие, ну, бывает, растерялась, а может, надо было остаться в монастыре, уж очень там хорошо, у монашек, и пахнет хорошо, ладаном и еще чем-то, вроде гвоздикой, с гвоздикой готовят плов, с гвоздикой варят варенье, нет, еще чем-то пахнет, еще чем-то, чем...

...из-за угла вышла женщина. Долго глядела Вере вслед.

...глядела так, что Вера вздрогнула и чуть не обернулась...

...но не обернулась, все так же шла вперед...

...слишком, страшно похожа, одна кровь, одно лицо...

...на ее губы легла чужая ладонь. Она пахла гвоздикой. Пряно и страшно. Ее потащили, заламывая за спину руки, выворачивая в кистях, чтобы она не могла сопротивляться. В рот всунули

тряпку. Она пыталась вытолкнуть ее языком. Ей заклеили рот скотчем, он больно стягивал кожу щек. Глаза завязали черной повязкой. Волокли. Слишком раннее утро. Слишком розовое, туманное небо. Еще слабое солнце, льется нежным молоком. Вера пыталась отбиваться ногами. Ее схватили за ноги и под мышки. Так несли. Быстро внесли в дом, в темноту; в незнакомых руках она билась крупной рыбой. Енисей! Какой Енисей, дура. Ты не спишь. Это не сон. Ты просто добыча. Человек запросто становится добычей. Люди охотятся на людей. Они охотятся сами на себя.

Вокруг нее поднялись, заклекотали голоса. Они кричали по-птичьи, по-зверьи, и было непонятно ей, где она, у людей ли; она нюхала воздух, стремясь ощутить запахи зверинца. Глаза не видели, а тело видело. Оно видело тесноту логова. Ловкая рука задрала, закатала ей рукав. Она быстро поняла, что будет. Крикнуть нельзя было. Убежать нельзя. Нельзя ничего. А можно — все. Им. Она не почувствовала укола. Тепло разлилось. Оно текло и разливалось везде, по всему миру, видимому и невидимому. К черту тепло! Я хочу холода! Я снега хочу! И нарощего, налипшего на релинги катера январского льда! Мохнатого, застылыми потеками, льда, его белых, звонко-прозрачных гребней, его зубьев, диких холодных зубов, они впиваются в живую кожу, в мясо, во все живое, а живого мало, слишком мало, чтобы ему можно было стать бессмертным.

Забывье навалилось и подмяло под себя. Она подчинилась забывтью, другого выхода не было. Забывье росло в ней, над ней и разрослось так, что она стала им самим. Веры больше не было. Была белая масса тумана, и чужие руки, и биение бубна в висках, и плотная густая тьма, черные сливки, а через мгновение — черный расплавленный свинец, заливающий распяленную, беззвучно орущую глотку. Вместо глаз зияли дыры. Дырами нельзя было глядеть. Ими можно было только проклинать. Когда Вере довелось вынырнуть из забывтья, она поймала за хвост, за жабры скользкую мысль; мысль эта была о том, что не надо сопротивляться, бороться не надо. Все равно все умрем.

«Все равно все умрем», — вышептала Вера сама себе, но шепота не получилось, она только вообразила себе его. Извне донесся гул. Чужая речь билась и утекала. Звуки сшибались и разлетались. Она не понимала ничего. Русских тут не было. А кто? Евреи? Арабы? А может, чернокожие? Пахло потом. Она ничего не видела, но почувствовала всей кожей, как над ней наклонилось чужое тело. Человек наверху, высоко, скрежестал словами, брызгал на нее сверху вниз горячей слюной. Отошел. Вера пошевелила руками, ногами. Развязаны. Это меняло дело. Можно было убежать, но бежать она не могла.

Гортанный клекот раздавался справа, слева. Может, ее хотели сделать грешницей в задымленном, грязном борделе. А может, мечтали привязать ей к животу взрывчатку, и чтобы она пошла и взорвала ресторан. Или детский сад. Или вокзал. Или рынок. Мало ли что шахидке можно взорвать. И самой сдохнуть. А может, ее хотели обучить воровскому ремеслу и засылать в дома к богатеям, и чтобы умело, ловко и бесшумно она отмыкала сейф, и похищала ценные бумаги, и исчезала неслышной тенью.

А может, ее хотели просто изнасиловать. Все подряд. Разломить, как цыпленка табака на железном блюде. И сгрызть мясо. И косточки обсосать. И кинуть собакам.

Что можно сделать человеку с человеком? Да все что угодно. Угодно тому, кто сильнее. Их много, а Вера одна.

Она выгнула позвоночник, пыталась встать. Ее уронили на пол ударом ноги. Она валялась на полу, каменные плиты холодили ей спину и ноги. Ей удалось открыть глаза. Забыть с неохотой, медленно покидало ее. Небритый мужик с подбитым глазом низко наклонился над ней и что-то на чужом языке грубо, зло спросил ее. Она глядела ему глаза в глаза и молчала. Тогда мужик размахнулся и крепко ударил ее кулаком по лицу. А потом выпрямился и ударил ее ногой в бок. В ребра. А потом в живот. И еще раз, и еще раз.

Мужик бил Веру ногами, у нее не было даже сил кричать, она стонала глухо и гулко; потом он пинком перевернул ее

со спины на живот. Теперь холодный камень был под щекой. Она лежала щекой на камне, из ее рта вытекала кровь и лужей расплывалась под ее лицом. Мужик выбил ей зуб.

Она зажмурилась, глотала кровь и плакала без слез. Слезы исчезли. А боль осталась.

Из каменной западни, где она ничком лежала на холодном полу, исчезли люди: постепенно или сразу, она не поняла. Стало тихо. Она слушала тишину. Раздался стук. Кто-то вошел. Вера тяжело повернула разбитую голову. Ее рот был вымазан ее кровью. Под языком катался костяной обломок. Она выплюнула зуб. Лежала на боку и снизу вверх смотрела на двух мужчин, оба стояли у двери. Вооружены: на поясах в кобурах пистолеты. Молчат. Один глядит на Веру, другой закуривает сигарету. Змеем ползет терпкий дым. Вера вдохнула дым и закашлялась. И странно, дико улыбнулась.

Руки, ноги свободны, чего еще желать?

«Рот у тебя расквашенный. Кровь течет. Избили тебя. Кочерга ты. Уродка ты. Не женщина ты. И никогда ею не была. Так стань ею! Сейчас!»

Она поднатужилась и приподнялась на локтях. Потом, упираясь ладонями в камень, села. На камнях темнели пятна ее крови. Она сидела, протягивала руки к вооруженным мужикам и смеялась.

Она смеялась так, что им стало не по себе.

Тихо и вкрадчиво. Будто не избитая, в крови, а на танцах, в объятиях.

— Мужики, — сказала она, грязным лицом глядя в их грязные, заросшие щетиной лица, — а повеселимся? Давай!

И так изогнула избитое тело, что им стало ясно, о чем она крикнула, улыбаясь кровавым ртом.

Переглянулись. Чертовщина! Иностранка. Вот так заловили! Добро не пропадет, сверкнул один глазами над смоляной бородой. Другой воздел руки, возвел глаза к небу, будто молясь, в полумраке дико сверкнули его выпуклые синие белки. Баба предлагала им себя, в этом сомнений не было. Один поиграл

ключом, подбросил его на ладони. Другой ощупал кобуру. Все было на месте, и они были на месте. И женщина на полу, доступная, жалкая. Покорнее кошки, собаки. Подползет на животе, сапоги им излижет. Почему нет?

Один бросил другому ключ, сказал что-то гортанное, резкое. Другой кивнул. Потом помотал головой и протянул ключ обратно напарнику. Один вышел вон. Снаружи замкнул на ключ дверь. Другой прищелкнул пальцами и осклабился. Вера задрала юбку. Собрала ее на груди в комок. Раздвинула ноги. Мужик покачался над ней на расставленных широко ногах, подумал, расстегнул ремень кобуры. Положил оружие на пол, рядом с ногами Веры. Стянул пятнистые штаны. Вера сжала зубы. Сжала губы в тонкую нить. И отвернула лицо.

Дыхание, хрипы, краденый коньяк, кальвадос, виски, разбитая бутылка, и вонь, и пыхтенье, и смерть рядом, так близко, что ее несколько не боишься и даже презираешь. Чужое тело, чужая жизнь, не нужная тебе, она над тобой, в тебе, а скоро будет опять сама по себе. Делать все, чтобы было хорошо ему, чужому! А что такое хорошо? А что такое ужас? Ужас, вот он. Это удав. Питон. И его звать Дервиш. Ему надо кормиться. Питаться три раза в день. Ему нужны кровь, и мясо, и живые содроганья, и дикие последние крики. Тогда пища слаще.

Мужик колот Верину шею жесткой смоляной бородой. Тешился долго. Когда натешился, внезапно уснул, сморенный наслаждением. Похоть умерла. Остался человеческий храп. Вера выползла из-под мужика. Ее руки все сами делали за нее. Она в этом не принимала участия. Стоя на коленях, залезла негнушима пальцами в кобуру. Вытащила пистолет, как змею из ящика. Она никогда в жизни не стреляла. Взяла пистолет в правую руку. Он чуть не выпал у нее из руки. Она в ужасе подхватила его левой и так стояла на коленях, держа оружие обеими руками. Потом быстро подняла, направила на голову спящего, нажала на спусковой крючок, он подался под ее пальцем с трудом, она испугалась, нажала сильнее и выстрелила бородатому мужику прямо в открытый во сне рот.

Под затылком мужика расплывалась темная лужа. Вера медленно встала. Опустила пистолет. Подошла к двери. У двери, в углу, притулился ее ранец. Она подхватила его и всунула плечо в ремень. Поглядела на свои ноги. Ноги босые. Босой пяткой она застучала в дверь. И закричала гортанно, протяжно — как все они.

— О-э-о! Э-э-э-эй! О-о!

Ключ затрещал в замке. Дверь резко отбросили вбок. На пороге стоял ее второй стражник. Ухмылялся. В руке у него сиял карманный фонарь, в его дрожащем свете Вера видела румяное, скуластое, жирно блестящее, обкрученное черным бархатом бороды чужое лицо. Вера, ни о чем не думая, с пустой, как сушеная тыква, головой взбросила пистолет и уже уверенно, сильно нажала на спусковой крючок; и он подался уже легче, быстрее. Выстрел прозвучал оглушительно под тяжелыми, низко нависшими сводами. Источенные веками колонны уходили вдаль потусторонней анфиладой, осыпались сухим печеньем, старой мацой. Вера огляделась быстро, как зверек, которого травят охотники. Коридор, и окон нет, может, подвал, а может, окна забиты. Бежать! Только что она убила двух людей. И на душе у нее два страшных, смертных греха.

«Я спасаю свою жизнь! Свою!»

Она раскрыла ранец и сунула туда краденый пистолет.

Он упал на дно ранца рядом с Евангелием.

Бежала по ночной улице. Бежала и задыхалась! Легкие чело- века, жалкие красные тряпки под частоколом ребер! *Дышите*, перемалываете воздух земной, ветер! А когда надо дышать, что- бы выжить, вдруг отказываетесь работать! Предатели! Вера ловила ветер ртом. Пот заливал ей лицо. Как медленно она бежит! Трудно бежать. Ей казалось, она бежит быстро, а на деле она еле передвигала ноги. За ее спиной закричали. За ней гнались. Она поняла: это конец. Чужие руки схватили ее быстро, не прошло

и минуты, а она думала, прошел час, другой. Пахло перцем и кровью. Еще гарью: рядом находилось пожарище. Занимался рассвет. Чужие люди крепко держали ее. Опять тащили, ругаясь, плюя ей в лицо. Она вспомнила: женщин на Востоке побивают камнями. «Они закидают меня камнями. Должно быть, это очень больно. Это медленная смерть! Уж лучше бы расстреляли!»

Достали нож. Пырнули ее. Так, для острастки. И еще раз, и еще. Кровь текла по ее рукам. Ткнули под ребра, и кровь текла по боку, пропитывая платье и юбку, ткань набухла, облепляла ей ноги. Вдруг все остановились. Подошел человек, во тьме она не видела его лица. Он согнул руку, размахнулся и ударил Веру в лицо локтем. Ее глаз стал заплывать. Она видела только одним глазом. Ее опять поволокли за собой; все пошло быстро, кучно, наперебой крича, брызгая слюной, и время от времени человек из толпы подходил к ней и бил ее: в лицо, в грудь, в спину, в живот. Она поняла, что сейчас упадет и не сможет идти, и ее тут же убьют. Поэтому она шла. Идти, это значило жить. Еще жить.

...скос времени, сильный крен, и она падает. Земля встает перед ней стеной. Земля перед ней встает, как человек. Глядеть, не смыкая век. Глядеть прямо в лицо земле. Стоять шатаясь, навеселе. Это пьяная жизнь. Это пьяная лодка: плывет, и за борта держись, и так дивно, светло и кротко. Нельзя вырваться. Убежать нельзя. Только падать на землю, и за небо цепляться, по страшному скосу скользя.

...небо светлело все сильнее. Звезды таяли. Чужие люди, и Вера среди них, подошли к большому каменному дому. Лестница вела наверх. В руках у людей появились ножи и топоры. Торчали автоматные стволы. Пистолеты играли, шевелились в смуглых волосатых руках. Веру тянули за собой, она поднималась по лестнице, падала, опять поднималась и мерила слабыми шагами ступени. Все вверх и вверх! Это обман. На самом деле ты идешь все вниз и вниз. Ты идешь к своей смерти. Ты. Он. Я. Всякий. Любой. И никто от тебя ее не отвратит.

Они, кучею, ввалились в большой зал с высоким, в небо уходящим потолком. Всюду стояли люди в полосатых накидках

на головах. Среди них мелькало много стариков, седых бород. Вера видела: тесаки сверкали, взвивались топоры. Ножи быстро вонзались в тела. Крики наполнили зал, бились в стены. Общий вопль поднялся к потолку, в нем потонули все, и было уже не выплыть. Раздавались сухие выстрелы. Евреи в полосатых талитах падали на пол. На полу валялись отсеченные руки. Валялась раскрытая толстая, древняя книга. Ее страницы были залиты кровью, склеились кровью, как красным вином. Сверху, будто с балкона, доносились женские визги. Вера подняла голову. Увидела искаженные женские лица. На полу, среди стариков, лежала убитая женщина. Раненый старик думал, что она еще живая, и, весь дрожа, пытался перевязать ей полосатым талитом окровавленную голову. Подошел бородач и убил обоих: старика и женщину, двумя выстрелами. Рядом мужик, как мясник на рынке, орудовал тесаком. Вера смотрела себе под ноги. Брызги крови летели на нее, в нее. Странно, что она до сих пор видела и слышала мир.

И дивно ей было, что до сих пор ее не убили.

Как всех.

Снаружи послышались сирены. Убийцы все, враз, воздели руки с автоматами и тесакими, будто молились. Безбородый высокий юноша, чисто и восторженно улыбаясь, поднес пистолет к виску и спустил курок. Рухнул на камни плит. В храм ворвались другие люди, вооруженные до зубов, стали орать, стрелять и заламывать руки убийцам. Вмиг повязали всех. Вера стояла, спиной прижавшись к стене. В ее лопатки врезался жесткий ранец. Ноги перестали ее держать. Она медленно сползла по стене наземь, так сидела, на корточках. Глаза ее побелели и остановились. Она не видела ничего. На улице опять завывали сирены, тоскливо и протяжно; это приехали врачи. Они, с белыми ящиками в руках, бежали мимо Веры, за ними тянулись санитары со свернутыми носилками, быстро разворачивая их на бегу; мертвых и раненых укладывали на носилки и тащили — опять в жизнь, в проклятую жизнь.

Вере почудилось, будто далеко, с того света, ее зовет голос Липы Гузмана: «Верундер!» Она снова стала видеть. Прямо пе-

ред ней, на каменных плитах, лежал чернобородый могучий старик. На одной его щеке мерцала оспина, на другой — другая. Будто птица дважды, в далеком детстве, клюнула его в лицо. Спасибо, что глаза не выклевала.

Золотой коготь цеплялся за мочку уха. Птица, ты еще жива, но и ты умрешь.

«Он тут молился за меня. За то, чтобы я нашлась».

Глаза старика были открыты. Он мертво, бесконечно глядел в потолок синагоги. Вера наклонилась и ладонью закрыла ему глаза.

Она спряталась за колонну. Мельтешенье людей прекратилось. Всех унесли, погрузили в машины. Сейчас их помчат к жизни, или к смерти, это уже все равно. Мертвецам все равно. Да и живым тоже. Живые выше головы не прыгнут. Что случилось, то случилось. Назад не повернуть.

Вера дождалась тишины. Дверь синагоги закрылась. Кто стоял снаружи? Полиция? Зеваки? Папарацци? Внутри никого, и даже ее родного старика на носилках унесли. Пол, испятнанный кровью, заваленный расстрелянными патронами и брошенными ножами и тесаками, кренился каменной палубой. Дом тонул, как корабль. Вера ухватилась за колонну. Удержаться! Она все равно падала. Пустая и одновременно тяжелая, будто у нее вырос огромный живот, и в нем она несла чугунного, страшного младенца, которому приговор уже произнесли: ему никогда не родиться.

А ей, Вере, никогда не умереть.

Так всю жизнь, тяжелой, и таскать в себе ужас мира; и не вытолкнуть; и не умертвить, ибо ее это дитя, человеческое; и не простить.

А кого, кого за тяжесть эту — прощать?

Вера обняла колонну крепче. Как человека. На пальцах у нее словно выросли птичьи когти. Она ими хотела вцепиться

в жизнь, что ускользала неотвратимо. Тишина! И в Вере, внутри, тихо. Пахнет кровью. Кровь человеческая пахнет сладко и чуть солено, приторно и противно. Где же тут Бог? Да, где же тут Бог? Ведь все они, мужчины, женщины, дети и старики, пришли сюда молиться Богу. Бог! Где Ты тут! Отзовись!

Молчали камни. Мычали мертвым эхом колонны. Обнимала Вера колонну, как живого человека, а сама была каменная.

Пустая. Кости, кожа. Сердце? Кровавый мешок. Всего лишь. Он перекачивает в тебе кровь. Какая чушь жизнь! Просто бие-ние, просто бьется. Бьется и движется. Так все просто. В любой момент движение прекращается. Больше не бьется. Слезы, соленая вода. Кровь, соленое вино. Нет разницы между сном и явью, и между вечным сном и бессмертием. Все кричат, орут о бессмертии. Жить вечно хочется! А ты просто усни. И будет тебе бессмертие. Самое полное, большое счастье.

Бог! Где Ты!

Нет Бога.

Никто не отвечал ей, все молчало; и так же солено и сладко пахло кровью; и пахло потом и мочой, и чуть горелой тканью — может, кто зажигалкой, закуривая, чтобы унять дрожь в руках, поджег край полосатого талита. Молельный дом, и люди молятся. Кому? Тому, Кто молчит?

Вера, продолжая крепко обхватывать колонну, сползла к ее подножию. Прижалась к ней, белой и ледяной, зареванной щекой. Целовала белизну кровавым ртом. Бог, может, Ты здесь, в этом белом камне! Нет. Молчит. Вера пустая, и мир вокруг нее пустой. Пустота в пустоте. И наклоняются пустые сосуды; и пере-ливают пустоту из пустого в порожнее. Вот и вся радость твоя.

«Бог меня оставил, — догадалась, и волна ужаса прошла по ней, от макушки до пяток. — Он больше меня никогда не подберет, как монету, с земли. Не сожмет в кулаке».

— Боже, — сказала она, не слыша, что говорит, — Боже мой, где Ты? Зачем Тебя больше нет?

Пустота залепляла ей лицо, уши, душу. Она трудно дышала.

— Зачем Ты... бросил... меня? Здесь...

Далеко, в дальних комнатах, а может, на улице, а может, в небесах, мерно капала вода, а может, из пустого в порожнее пустота, отсчитывая текучее время.

Вода капала, бились в пустоте секунды, и время было единственное, что еще жило, и оно текло и струилось, оно еще не встало, не застыло, и оно толкнуло Веру в грудь и в глаза, изнутри, будто разорвать, взорвать ее хотело, и, подобно той далекой воде, слезы закапали, сами явились из ничего в пустоте, а потом гуще, быстрее, все быстрее и быстрее полились из нее, из живых ее глаз, замочили, залили ей лицо, солью пропитали воротник, они всю ее захлестнули, под водопадом собственных слез молча стояла она, и продолжала плакать, и слезы, это была единственная жизнь, что, лиясь, говорила, шептала: мы есть, значит, полной пустоты нет, мы, слезы, мы и есть Бог, вот Он Бог, плачь, Вера, плачь, это одно, что тебе остается. И она плакала, слезы не вытирая, они заливали ее всю соленым водопадом, вокруг начал клубиться соленый туман, ее колени обжигал льдом камень, наклонялся пол, падало здание, тонул в огромном море утлый каменный плот, последний ковчег спасал не животных, не птиц, не змей, а ее, одну лишь ее, Веру, потому что без нее, видать, нельзя было заново родиться, возродиться всем живым и живущим; и из последних сил хваталась она руками, крючьями птичьих пальцев, зверьими лапами за жизнь, такую малую, такую великую, и конца ей нет, да все вранье, смерть сильнее, а сильнее жизни и смерти один только Бог, и вот бы Его хоть краем глаза увидеть!

— Боже... хочу видеть Тебя...

Вера выталкивала слова запекшимся ртом.

Туман сгустился. Пространство рухнуло в провал под ногами. Колонны и камни обрушились туда же, во тьму. Разум исчез, его место заняли чужие руки и чужие крики. Веру несли на руках — она не чуяла. Ей кричали в уши — не слышала. Мир померк, ту-

ман клубился и вспыхивал, мерно и обреченно, в ритме живого сердца. Ее спасали — она не понимала. Ее воскрешали — ей это не надо было. Зачем они вынимали ее из довременной, лучистой и нежной тьмы? Из мрака океана? Там, на дне, все, кто уже утонул; они гуляют среди Райских павлинов, мандаринов и яблок Райского Сада. Зачем люди так цепляются за жизнь, если смерть — это Эдем?

Люди склонялись над Верой, хлопотали над ней, закатывали ей кровавые рукава, искали тонкими иглами синие жилы, прожилки и дороги ее рек и ручьев, обнажали бескрайние пустыни ее живота и пологие холмы сиротской груди, водили плачущими ладонями у нее по голой спине, по этой выжженной, пустой и брошенной земле, знающей, что никогда больше и никто не вспашет, не засеет ее, и никогда больше она не родит. И вместе с людьми в белых шапках и в призрачных халатах из белой, снеговой царской парчи, расшитой жемчугами туманов и перламутром стылых заводов, наклонялся над Верой Бог: Он был тут, рядом, Он пришел, да Он никуда и не уходил, Вера просто не видела Его, а ей надо было всего лишь обернуться и посмотреть на небо, а потом смиренно закрыть глаза и посмотреть внутрь себя: Он ждал, Он жил и дышал, в одном с Верой ритме, дышал тяжело, весь израненный, избитый, — ну да, люди же всегда заушали и били Его, пытали и бичевали, а потом распяли, и труднее всего Ему, живому, было снести Распятие: среди песков, среди снегов люди Ему возводили этот страшный Крест, тесовую перекладину, а то вместо перекладины привязывали ржавый рельс, а руки прикручивали к металлу колючей проволокой. И поднимали мужицкое Распятие! И билась вьюга у подножия Креста! И стаскивали бабы с затылков козы пуховые платки, и набивалась им в волосы, в пучки и косы, жемчужная снежная крупка; и крепко, отчаянно обхватывала рыжекося высокая девушка мертвое дерево Креста, и целовала, обливая слезами, дрожащие в метели голые, прободенные ноги Бога своего, и вокруг шептали: «Как Магдалина убивается, рыдает как, неутешная, знать, больше всех любила Его!»

А жизнь метелью, безумной завирухой так и завивалась вокруг, и пески взвивал горячий ветер с юга, и косили пули безоружных, и падали под летящими копьями беззащитные; и все так же убивали люди людей, и глядел Бог на людей Своих, сверху вниз глядел, на то, как толкутся, головы то сдвигают, то разъединяют, то кулаками в рожи бьют друг друга, то целуют друг друга крепко и смачно, то на колени друг перед другом встают, а то насылают друг на друга полчища железных стрекоз со смертью в железных животах их, — нигде от смерти нет спасенья, а Он-то, Господь, и со Креста Своего все кричит, кричит людям Своим: «Люди, милые люди, люблю вас!.. любите и вы, любите друг друга!..»

Веру резали ножами, кололи иглами, прижигали снадобьями, снова резали и зашивали. Она ничего не чувствовала. Она видела: Бог ее висит на Кресте. Лоб Его обмотан колючками. Кровь льется по лицу. Та, с рыжими косами, обнимала деревянный столб все крепче и медленно сползала к подножию Креста, и каменно стояла на коленях. Щеку Веры холодило шершавое дерево. Занозы втыкались в ладони. На снегу рассыпями валялись красные ягоды — брусника, рябина, бузина. Метель заклеивала Вере рот, и она крикнуть не могла. Рядом раздавался громкий женский плач. Потом раздался вой. Это выла мать Распятого. Он, вися на Кресте, в один миг стал всеми убитыми на земле, всеми погубленными — и прежде, и сейчас, и впредь. Будто бы не один Он тут висел, ко Кресту приколоченный, а множество людей.

Все люди стали им. И все на Кресте висели.

...квадрат. Белизна песков, красный крест. Он же черный, люди! Черный!

...черные ваши души.

...чернотой — за солнце расплатитесь.

...так все странно. Мир странен. Он слишком явен, хоть он есть сон. В сон можно дважды войти. Зеркало — это начало пути. Отражайся чисто и строго. Не слушай диавола дикий крик. Глядись в распятого Бога. Он твой двойник.

Вера не слышала, как завывала сама. Выла волчицей. Повалилась на живот. Ей зашивали раны на спине. Заливали ее спиртом и йодом. Она подняла голову и увидела, как Господа снимают со Креста; уже смерклось, надвигалась черным ужасом ночь, и торопились люди, развязывали веревки, клещами вытаскивали громадные гвозди из мертвой раздробленной плоти. Взяли Господа под мышки и под колени; несли. Вера поднялась с земли и медленно шла вослед. На шаг впереди шла, закутанная в черную поневу, мать; рыжекосая девка подерживала ее под руку, чтобы мать не упала во снег. Люди шли, шла и Вера за ними.

В полях, посреди снегов, была уже вырыта яма; близ ямы стоял длинный еловый гроб; люди, несшие Христа, бережно положили Его во гроб и расправили Ему волосы, сложили Ему руки на груди. Вера смотрела на спокойное лицо. Ни следа боли. Просветлено. Все прощено.

И все прощены.

Горло захлестнула снежная петля.

Вера стояла у гроба, прижав обе руки ко рту.

Опустилась на колени. Медленно упала на бок, в сугроб. К ней никто не подходил, никто ее не спасал, не поднимал. Никуда не волок. Люди были заняты: они клали Спасителя в могилу. Засыпали землей. Звезды медленно сыпались с небес. Подоаль вьюга обнимала Крест, вилась вокруг и плакала жалким человеческим голосом. Земляной холм заметал снег. Все медленно разошлись. Вера лежала на боку, подогнув ноги к животу. Дрожала.

Стала невесомой и бесплотной. Земля раздвинулась. Вера стала спускаться по черной земляной трубе. Она наступала осторожно, чтобы ледяная земля под ногой не осыпалась. Шла и шла, все ниже. Стала слышать печальную музыку. Музыка вынимала ей душу. Вместо души зияла дыра. А душа шла рядом с ней, строго глядя на нее.

Справа и слева от Веры стали появляться фигуры. Люди в потрепанных шубах; люди в переливчатых атласных плащах.

Подземный ветер завивал шелковые ткани. Старики, мужики, дети. Бабы на ходу, подходя к Вере, разматывали у шеи платки. Обнажали тонкие голодные шеи, голодными глазами страстно, огненно глядели. Вера старалась им в глаза не смотреть. Но не получалось! Смотрела все равно. Люди, это были ее люди! Ее народ. И он весь жил под землей.

Народ, что ушел под землю.

Как же их много, людей, что уже умерли, думала Вера, и ее глаза ловили чужие глаза, родные, и изнутри, со стороны сердца, ее обдавал кипяток. Ветер усиливался. Полы шубеек били мужиков и баб по ногам. Люди тянули к Вере руки. Валились перед нею на колени. Ползли на коленях к ней. В черноте, впереди, она различила человека. Она поздно поняла, что все это время она шла за Ним. След в след.

Человек остановился. Обернулся.

Вера узнала Христа.

Стоял Он, и стояла она.

Обводила глазами людей. Каждое лицо зрачками ощупывала. Родные! Каждого бы обнять. И каждого назвать по имени. А ведь она не знает ничьих имен! Не знает никого! Как тебя зовут, мужик?! А тебя, дед?! Господи! Лежите вы тут! Или на коленях стоите. Ко мне бредете! И плачете, плачете! Зачем вы сюда-то попали? Ведь это же Ад! И не выбраться отсюда! А вам разве не все равно, вы же мертвые! Зачем вы жили на земле?! Зачем вся ваша жизнь была?! Думали, бесконечная она. Детей рожали! На земле трудились! Сеяли, пахали! Сажали и выращивали! И урожай собирали: зачем? Где тот урожай? Сгорел во времени! Из туч льет дождь, а не слезы! А может, это вы плачете! Над нами, кто еще на земле! Да почему же вы не в Раю, в Раю ведь всяко лучше! Там — тепло! Душисто! золотые плоды в темной листве горят! Птички радужные на ветвях поют! А тут! Ужас тут. Подземный мир черен! Тяжек! Да что же вас Он не спасет, Он! Почему руку не протянет! Не вытащит отсюда! А только все идет и идет вперед, все вперед и вперед! Ну хоть бы слово сказал! Вот стоит. Глядит. Молчит!

Передышка? Или думает, кого из вас спасти? Кто больше жить достоин?!

Ад... Ад... Да говорят, и здесь жить можно, в Аду-то... вот — живут...

Спаситель повернулся к Вере. Вера рассматривала Его грудь, плечи. Прободенные руки. Из Его лица на Веру и на всех коленопреклоненных людей сочился тихий свет. Господь улыбался. Сквозь раздвинутые в улыбке губы чуть поблескивали зубы. Такой Он был весь живой и тихий. Нежный. Ветер дул Ему в лицо, развеивал холщовый плащ. Вера посмотрела на Его ноги. Из-под холстины торчали лапти. Он поднял руки и развел в стороны. Словно говорил Вере: не обессудь. Я не могу то, чего не могу. Жизнь одна. И правда одна. И даже Я ее не знаю.

Тихо текла слезным ручьем дальняя музыка. Арфа, гусли, струны и наблы, деревенская бедная скрипка. Люди стояли навзрыд, каменели на коленях, лежали, теряя разум, березовыми бревнами валялись около Веры и Спасителя. Она поняла, что Он глядит на нее и не видит ее. «И правильно, меня же тут нет». Вера обвела руками людей, обставших их.

— Помогите им! — только смогла крикнуть.

Он молчал. Улыбался.

По лицу Его текли слезы.

Вера подняла обе руки, чтобы обеими ладонями вытереть Ему слезы.

И нежно зазвенели тысячи молоточков вокруг, будто на небесных наковальнях ковали для Веры самую дорогую драгоценность, и поднялся дым и заволок Его, Веру, землю и воздух Ада, людей вокруг. Жизнь стала иной, но она все так же продолжала быть жизнью. Белесый бледный свет пробился сквозь марлю инобытия. Влажные салфетки холодили раны. Тело стало чувствовать, а душа все плакала, и она не чувствовала ничего, только льющиеся бесконечным потоком слезы. «Где я?» — глазами спросила Вера. Женщина, что наклонилась над ней, улыбнулась ей почти так же, как Христос, сошедший во Ад.

166

И сказала я ангелам-архангелам: а греха-то в мире
ведь и нет!

А есть одна Любовь, ее речной да жемчужный свет.

Люди убивают друг друга — зачем, зачем?

Люди, дарите ваши руки и губы всем, всем, всем!

Люди, бросьте ненависть! Сожгите ее в печи!

Живи, человек, о любви кричи! А перед смертью —
молчи...

Ах, ангелы! Обратно на землю ведите меня!

Ангел денный, ангел ночный, на исходе
небесного дня

Каюсь я во всех грехах тяжких,
и превыше всего каюсь в том,

Что мало и плохо людей любила в мире моем
святот!

А теперь вы меня оживите, ангелы, для любви.

Ангелы... ну что вам стоит... шепните мне, мертвой:
люби... живи...

Да только ангелы-архангелы молчали,

Под руки меня, босую, по камням острым
проводжали,

Ангел денный, ангел ночный, два моих проклятия,
Один мое Небо, другой мое Распятие.

Все больницы похожи друг на друга. Вера никогда не лежала в больницах в Сибири. Она помнила только московскую больницу; и да, эта гляделась почти такой же, как в столице — белизна, покой, стук каблуков врачей и сестер, звон стекол и железа инструментов, коими нагло лезли под кожу, в живую плоть, вскрывая больные тайны; тусклые слепые плафоны под потолком, запах дезинфекции. Марли, бинты, вата, капельницы, шприцы; все, что призвано облегчить человеку его страдание, вольное или невольное. В больнице все и всегда хотят жить. Хотела жить

и Вера. У нее было чувство, что вот она жила мертвая и не страдала, а теперь родилась и только начинает жить и страдать.

Это странное чувство ни на минуту не покидало ее. Наряду с медицинскими сестрами, в обычных белых халатах и белых масках, тут по палатам бесшумно скользили монахини в черных рясах и белых апостольниках. Когда они подходили к койкам, люди глядели на них нежно. Лица монахинь светились радостью. Будто тут была не больница, а свадебная горница. Вера вдыхала запах чистоты и белой пустоты и улыбалась монахиням. Она тут никого не знала по именам, и ей становилось стыдно. Все говорили по-русски. Вера купалась в родной текучей речи. Она поправлялась быстро, хотя раны еще болели и саднили; когда стала ходить, обнаружила, что слегка прихрамывает, видно, когда ее били, крепко зашибли ей хребет; настал день, когда за ней прибыла машина, и ее осторожно, поддерживая под локти, свели вниз по больничной лестнице и отправили в монастырь.

Будто бы и не уезжала. Матушка Мисаила, увидев ее, широко перекрестила ее. Молоденькая монашка, что присоветовала ей пойти на Виа Долороса, ринулась к ней, как к матери, и крепко обняла ее. Монахини толпились, всем хотелось поглядеть на Веру. Вера поняла, что ее история известна в монастыре. Она попросила прощенья у игуменьи: «Простите, что так получилось!» И низко поклонилась. Мать Мисаила опять перекрестила ее. «Ты ни в чем не виновата, Вера. Оставайся у нас! Хочешь стать послушницей?» Вера наклонила голову.

Ей выдали монастырский наряд. Хромая, ловя воздух руками, она еще потемну, раным-рано, двигалась с монахинями на полунощницу. Ночь на исходе, и холод висит в воздухе. Монахини, как тени, скользят во храм, а там уже пылают первые свечи и сладко и горько пахнет ладаном. Монастырь женский, а службу служат мужчины; Вера думала: как жаль, что нет женщин-священниц. Каждый день Вера читала Евангелие. Ее поселили в келье с молоденькой веснушчатой монашкой, монашку звали сестра Васса. Васса оказалась веселой и болтливой, долго

не могла уснуть, а Вера, как назло, все время сильно хотела спать: она тяжело привыкала к бессонному монастырскому режиму. Впервые она спала так мало. На первую службу вставали затемно, а последнюю Литургию стояли на закате. Вера выкраивала время поспать днем. Сестра Васса грубо, со смешками, расталкивала ее: «Что спишь, сестра, помнишь, что сказал Христос? Бодрствуйте и молитесь!» Вера со вздохом поднималась с постели. Вместо сундука у нее теперь была настоящая кровать, старинная, с никелированной спинкой и серебряными шариками. Панцирная сетка прогибалась под Верой, как в больнице. Она молча смеялась над собой: там больница, здесь больница, там для тела, здесь для души. Кровать казалась ей старой железной елкой. Она спала на ней, как на охотничьем ложе на брошенной заимке. Над кроватью сестры Вассы висела икона Преображения, над изголовьем Веры — Богородица Донская.

Сестра Васса, придя с полунощницы, вставала на колени перед Преображением и молилась: ее шепота не было слышно, но зато Вера видела, как неистово горят ее щеки и глаза. «Как ты молишься? — спросила ее Вера. — Ведь это же невозможно выучить все молитвы наизусть!» Васса засмеялась. «Просто молюсь! Знаешь, повторяю: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную! Повторяй и ты! Легко запомнить!» Вера сразу запомнила Иисусову молитву. Васса учила: «Повторяй везде и всюду, в трапезную идем — повторяй, в храм идем — повторяй! Спать ляжешь — на сон грядущий правило прочитай, а потом Иисусову молитву твори!» Вера удивлялась: когда же спать?

Молитву твердила. Все светлее становилось, все теплее. А хромала она все сильнее.

Может, ногу надо было как-то по-особому лечить, может, все дело было в зашибленном позвоночнике, может, в покалеченном, проколотом нерве, она не знала, и теперь ее это мало волновало: она ничего не стремилась узнать или поправить, что связано было с нею самой. Люди видели ее, улыбались ей и кланялись ей. Люди благословляли ее, она прижималась губами

к благословляющей руке, и этого было довольно. Что случилось с временем? Оно будто перестало течь. Сестра Васса рассказывала ей взахлеб о том, как Патриарх Иерусалимский, заходя в святую Кувуклию во храме Гроба Господня, видит, как возжигаются на медном широком столе крохотные ярко-синие шарики, как собирается этот рассыпанный свет, синее небесное зерно в огненные комки, и как дрожащей рукой Патриарх подносит к Благодатному Огню первую свечу; Вера слушала, верила и не верила, а потом, глядя в восторженное, как на исповеди, лицо монашки, спрашивала: «А откуда ты, ты-то все это знаешь?» Васса пожимала плечами. Ее веселые веснушки светились золотым зерном. «Это знают все! И уже очень давно!»

Слово «давно» Вере надо было осознать вновь. Она пыталась вспомнить Сибирь — и не могла. Зажмуривалась, представляла себе Красноярск — и не видела ничего, кроме сутемной метелицы, закрывающей от ее взгляда улицы, горы, дворы и пристани, вмерзшие в лед. Сестра Васса, по ее просьбе, рассказывала ей о всевозможных святых. Потом они беседовали о земной жизни Христа. Вера никак взять в толк не могла, как же так: есть Бог — и Он попускает войны, голод, убийство детей, убийство матерей?

— Васса, — тихо говорила Вера, сидя перед Вассой на холодном полу кельи, а Васса в это время старательно штопала побитые молью старые тряпки, чтобы отправить их бедным в приют, — ну почему все так? Почему вот в том месте... — Она не договаривала: в той синагоге. — Взяли и всех перебили? А? Ну что людей разбирает изнутри? Кто жрет их? Какой вирус? Жестокость?

Васса поднесла ветхую ткань ко рту и перегрызла нитку.

— Жестокость, — размеренно повторила за Верой. — Жестокость! Да разве ж от нее улизнешь! Она везде. Я об этом тоже думала... Вот представь! — Она бросила шитье на колени. — Вот вдруг улетели мы в космос. И долго-долго там скитались. Ну, за это время на земле прошло Бог знает сколько времени. И вот мы прилетаем. А здесь все другое. Все-все! И мы идем по новой

земле... и вот чудеса... все такие добрые! Добренькие! Все — благостные! Никто никого не убивает! И даже не бьет! Понимаешь, даже не бьет!

Вера кивала. Сердце ее замирало. Она пыталась угадать, о чем скажет сестра Васса.

— И мы удивляемся: как это может быть! Где же насилие! Кровь! Где же... зло!

— Да, где же зло? — эхом спросила Вера.

— То-то и оно! Нет его! Исчезло! Умерло! Но почему?! Кто его убил? Кто — похоронил? И вот мы людей-то и спрашиваем. Ответьте, мол, нам, как и что тут у вас приключилось за эти долгие века. И представь... они нам отвечают: а мы, когда младенец родится, сразу делаем ему — раз, два! — специальный укол! Ну, такой укол, против жестокости! И человек никогда — во всю свою жизнь потом! — не вспоминает о том, что он может бить. Зарезать, застрелить. Убить! Ни себя. Ни кого другого...

Васса снова втыкала иглу в материю. Туго затягивала стежки. Так старательно, крепко, сопя, шьет ребенок.

— Никого...

Глаза Вассы над шитьем горели.

— Да! Никого! И не убивают животных, чтобы их съесть. И не стреляют птиц на охоте! И медведей! И тигров! И не сдирают шкуры с куниц и соболей, чтобы пошить бабам шубы! И больше мяса не грызут, и роскошные эти шубы, манто дамам не дарят! И мужики не дерутся друг с другом за женщину свою! И войнами друг на друга не идут! Ничего этого нет! Нет, ты понимаешь, нет!

Шитье уже валялось на полу, а Васса громко плакала.

И Вера обнимала ее крепко и утешала, как утешают дитя.

А потом, когда они, помолясь, обе ложились спать в свои старинные, с серебряными шишечками у изголовий, столетней давности суровые койки, и больнично, тюремно звенели железные сетки под их телами, Вера думала: как же так, зло ужасно — а может, оно нужно? «Без зла нету добра», — шептали сами ее горячие губы. И Христос приходил к ней в легком сне ее и осторожно садился на край ее железной кровати. И клал невесомую

руку ей на лоб. Она слышала, как Он молится за нее на незнакомом ей языке.

После Всенощного бдения в могучем, богато изукрашенном храме Троицы Живоначальной монахини медленно расходились по кельям. Вера, выйдя из храма, без сил опустилась на теплый белый камень. Вдыхала свежий северный ветер. Холодало. Сегодня она хромала сильнее обычного.

«Кто я такая?.. да никто... имярек...»

У нее уже давно монахини забрали паспорт. Что сделали с ее паспортом и с ее визой, она не знала; билета на обратный путь у нее все равно не было. Она не хотела думать о том, о чем думать уже было не надо.

Ветер развевал концы ее апостольника. Она сидела и будто смотрела на себя самое сверху вниз, со стороны. Она видела женщину в длинном черном платье, с закутанной в черный плат головой, она согнула спину и обхватила руками колени, и так сидит, ловит ноздрами ветер.

И тут она почувствовала: спине, меж лопаток, стало страшно и горячо.

Она боялась обернуться.

И все-таки обернулась.

И вскрикнула.

На нее смотрела она сама.

Еще не веря себе, Вера поднялась со ступенек и с трудом, припадая на ногу, сделала к себе самой несколько шагов.

Протянула руку.

— Кто ты?

Она не знала никаких других языков и спросила самое себя по-русски.

Она сама смотрела на себя, усмехаясь. Не двигалась.

Вера судорожно, быстро ощупывала глазами свое лицо, что качалось и маячило напротив. Она захотела потрогать его рукой.

Подняла руку. Женщина с ее лицом не отшатнулась. Спокойно ждала, пока Вера дотронется до нее.

И Вера опустила руку.

— Я? — разлепила она сама губы. — Разве ты еще не догадалась?

— Нет... — шептала Вера.

Она сама усмехнулась себе — уже открыто, показывая в усмешке зубы.

— Я не хочу называть тебе мое имя.

— Я знаю его! — выкрикнула Вера.

Кровь отливала у нее от лица.

— Знаешь, тем лучше, — сказала ей женщина с ее лицом и вытянула шею, высоко вздернула лицо, сверху вниз большими, надменными глазами глядя на Веру, одновременно и пригвождая ее взглядом, и с любопытством рассматривая ее. Вера ощутила себя букашкой на иголке. Надо было что-то говорить; она молчала.

И она, напротив, молчала тоже.

Долго мучить Веру молчанием ее живое зеркало не стало. Женщина разлепила губы и тихо, жестко сказала:

— Ты думаешь, я твой двойник и я убью тебя? Чтобы остаться одной, без повторенья? Совсем скоро я убью землю. Она мне надоела. Я натравлю людей друг на друга. Они же не могут без меня. Они надоели друг другу. И мне. Ты? При чем тут ты! Надо, чтобы люди присутствовали при нашей беседе. Чтобы они видели нас. И ужаснулись. Полезно испытать ужас перед смертью. Но они нас не видят! Ни тебя! Ни меня! А хорошо бы увидели.

Веру стала бить дрожь. Будто бы шел ливень, и она вся вымокла под хлещущими струями, до нитки. Она обхватила себя за плечи. Ее зеркало отражало ее молча. Строго смотрело на нее. Изучало.

— Ну как? Живешь тут, в монастыре? И думаешь, что спряталась? От меня?

Вера пыталась отвернуть лицо — и не могла.

— Хочешь, скажу тебе, что с тобой будет?

Вера в ужасе затрясла головой: нет! Нет!

Зеркало отразило ее усмешку.

— Боишься? А все равно слушай! Ты будешь тут жить. Научишься молиться как следует! И поститься! И славить Бога! Потом научишься делать добрые дела. Потом научишься молиться за других. Когда научишься молиться за других — другие пойдут к тебе. И будут идти и идти! Никогда больше не останешься одна! Люди облепят тебя! Утонешь, задохнешься под ними! Потекут к тебе отовсюду. А может, тебе это понравится, кто тебя знает! И будешь ты в этом видеть смысл своей жизни! Оставшейся... — Она хохотнула коротко и холодно. — И так будешь работать! Люди, ведь они требуют работы. Силы вынимают! Пьют тебя и жрут! На себя у тебя ничего не останется. А ведь могла бы остаток жизни, тебе Богом данной... — Запнулась. Повторила: — Да! Богом!.. с пользой употребить. Наслаждаться! Радоваться! Веселиться. Делать все хорошо себе. А не другим. Что — другие? Другие — мусор и смерть! Да, смерть!

Вера слушала с ужасом.

— Надоели мне такие, как ты. Вранье, что на таких, как ты, держится земля! Людям нужно наслаждение. И — развлечение! Люди хотят, чтобы все — быстро. И — интересно! Чтобы щекотали им нервы! И чтобы убийство понарошку! И чтобы поцелуйчиков побольше! А потом чтобы опять жить и радоваться: я-то живой! И у меня на столе сладкий пирог, а не голова на блюде!

— Какая... голова? — потрясенно прошептала Вера.

И прежде чем она сама себе ответила, она и сама догадалась.

— Иоанна Крестителя, какая же еще!

— Мне не нужны... пироги... и поцелуйчики...

— Тебе — нет! Зато другим — нужны! И чтобы зло наказано, и добро торжествует! А я вот больше не хочу так! Хочу — по-другому! Чтобы зло — наконец-то — победило!

— А ты разве злая? — изумленно шептала Вера.

Ее зеркало искривилось, расплылось, накренилось. Вера ловила его глазами, а ей казалось, руками.

— А ты знаешь, что такое зло?! Ты думаешь, оно — беда и ужас?! Или что ты думаешь?! Ты думаешь, жить лучше, чем не жить?! Может быть, человеку гораздо лучше было бы, если бы Бог его не сделал, если бы — его — вообще не было на земле?!

— Вообще не было... — повторила Вера.

Ее глаза, уставленные на самое себя, все расширились и расширились.

— Ты мне — о святости! Ты — молишься! Думаешь, живешь в монастыре и все, молитвой спаслась? У Бога под крылышком? Смешно! Знаешь, есть такая штука. Распад.

— Что?

— Распад! Вот ты умрешь. И тебя в гроб положат и в землю закопают. И там, под землей, в деревянном ящике, твое тело будет распадаться. На куски! Их будут жрать черви. Ты станешь — пищей! Всего лишь пищей! Каково это осознать! Люди предпочитают об этом не думать. Будто бы этого не будет никогда! Будет, и еще как будет!

— И что... распад?... что...

— Да ведь он, распад, не только после смерти. Он и при жизни бывает. И среди людей бывает. И вот это надо понять. Вы все кричите о жизни вечной, а я — о распаде! Потому что только он ждет нас всех в конце мира. К нему все направлено! К всеобщему разъединению, а не к соединению! К червям жрущим, подземным! Все вы в толпы сбиваетесь, все хором поете! Купола возводите! — Женщина с ее лицом указала, не глядя, на золотой, светящийся в ночи купол монастырского собора. — Смешны ваши купола! Смешна ваша общая молитва, ваши песнопения среди цветных фигурок и намалеванных благостных лиц! Сила — за другим. И в другом. Если уж речь идет о силе. Победа все равно моя! Я сильнее.

Вера глядела себе самой в лицо, разум ее мутился, но она нашла в себе силы сказать это.

— Это я сильнее!

И выбросила вперед руки, и сжала кулаки, и ударила себя кулаками по лицу.

Стала падать. Пока падала, подумала: «Упаду, умру, и стану для червей едой». Улыбнулась, и так, с улыбкой на лице, и потеряла сознание, улыбка застыла на губах, не сотрешь.

Так лежала, какое время, никто не знал и не узнал никогда. К ней уже бежали монахини. Подняли ее и понесли.

Вера долго валялась на койке в келье, не приходя в себя. Ее никто ни о чем не спрашивал. Сестра Васса накладывала ей на лоб влажное полотенце. Жар не спадал. Возжигал и выворачивал угластое тощее тело. Васса подносила к Вериным губам прохладный клубничный морс. Морс проливался на подбородок, на простыню. Вера стонала, отталкивала руку Вассы и что-то слезное шептала. Васса разобрала однажды: «Верните матери ребенка, верните». Задумалась Васса: а может быть, у Веры кто-то когда-то ребенка отобрал, и не отдал, и вот она, несчастная мать, пошла по свету, и пришла на Святую Землю, и бьется здесь, как рыба об лед, обдирая чешую? Вера металась на койке, катала голову по подушке, набитой верблюжьей шерстью, и ничего не говорила Вассе. Сознание все не возвращалось к ней, и игуменья Мисаила и сестры заподозрили, что, может, и не придет обратно сознание-то, и так и будет Вера лежать в постели и страдать в жару и в бреде, и у Вассы будет просто еще одно послушание, она обречена будет вечно ухаживать за болящей послушницей Верой Сургут. Васса уже с этим смирилась и к мысли этой притерпелась. Кормила Веру с ложечки, засовывала ей ложку в рот и другой рукой сдвигала ей челюсти. Вера когда глотала, когда кашляла, и ее рвало. Васса смиренно подтирала за ней.

Из больницы Русского Подворья прибыл врач. Долго слушал, щупал и мял Веру. Потом важно сказал: «Бредовый психоз, тут нужны бы лекарства такие, да еще вот такие». Васса измерила врача казнящим взглядом. «Никаких снадобий мы ей давать не будем. Только питье и еду. И будем молиться.

Авось Господь зла не попустит!» Врач пожал плечами: «Вам виднее».

И уехал, обиженно прижимая к себе медицинский кейс.

Бред длился, бред вился потусторонней вьюгой. Нет! Посюсторонней! Все, что происходило, было и жило лишь в этом мире. Мир был един, прошлый и будущий. Апостолы собирались под крышами заметеленных изб. Жгли длинные толстые свечи. Ели жареную рыбу. Пели псалмы, и из бородатых, усатых уст звучала все та же огненная Псалтырь. И все тот же огонь бился в раскрытой чугунной дверце печи. На Лысой горе сиротливо упирались в небо голые кресты. Христос лежал в могиле. Не было надежды. Упования не было. Оставались только слезы, они бесконечно струились. И Мать их не утирала. И девушка с рыжими косами все жарила, жарила свежесловленную усатую рыбу на громадной черной сковороде. По бокам рыбы бежали страшные костяные узоры. Масло шипело. Рыбий глаз белел жареным жемчугом. Ученик, самый юный, ломал на блюде круглый хлеб, пальцы его дрожали, лицо было все мокрое, и слезы капали на дощатый стол. Рыжекосая туже утягивала завязки фартука. Мать, в черном, строго сидела на закраине стола. Перед Ней в миске лежал, выгнув бок, большой жареный лещ, и иглы ребер торчали из белого сочного мяса. Мать глядела на рыбу, на мертвую рыбу. И все так же, непрерывным потоком, соль слез текла по ее впалым щекам.

Все жило, и все было живо. Никуда не уходило. Длилось. Бред соединял жаром и слезами дым, и огонь, и блеск людских глаз. Рыжая накинула на плечи овечий тулуп, всунула ноги в лапти и, заливаясь слезами, побрела куда глаза глядят. Над нею диким яростным шатром, переливающимся и алмазно-цветным, расстелилось полночное небо. Рыжая шла и шла по снегу, ветер вил ее косы, они на ветру расплетались, и сушил ветер ее мокрые скулы, на лету, на бегу стирая слезы жесткой степной холстиной. Ночь восставала и поднималась с земли, и уходила вверх. Все вверх и вверх. Рыжая подняла лицо к звездам. Звезды, о звезды, шептала она, неужели и я к вам однажды уйду! Ей

голос нашептывал: не к звездам ты уйдешь, а в землю, под снег и лед! А ветер гудел: не верь, только к нам и явишься, к ветру, солнцу и звездам, а больше ни к кому! Некуда тебе больше идти, кроме как в небо, потому что вера в тебе! А тот, кто без веры, так и правда в землю уйдет! И черви сожрут его.

Рыжая не понимала, что она уже пришла, ступая лаптями по наметенному за ночь снегу, на деревенское кладбище. Много тут дорогих людей лежало. С портретов на крестах люди смотрели. Бумажные цветы кресты обвивали, яркие венки резали глаза: вечная память, вечная любовь. Алые бумажные розы, белые махровые гвоздики, бутоны цвета дешевой помады, акрихиновые жестяные листья. Ноги в лаптях шли, ноги сами видели все поперек глаз. Вот он, крест. Черный, чугунный. На кресте висит венок из бумажных белых роз, дожди и снега превратили их в мокрую мятую газету. Рыжая вспомнила, как Его хоронили. Как Мать бросилась грудью, животом на могилу, обнимала свежий холм, а Ее оттащили ученики и плакали вместе с Ней. Сейчас могилу занес снег. Белая насыпь, одна из многих здесь. Спит кладбище. И ее сюда положат, рядом с Ним, подумала рыжая; она сама попросила учеников, если она умрет от тоски по Нем, положить ее рядом.

Она стояла около снежного холма и смотрела на черный крест, ничего не видела от слез. Вдруг сбоку ощутила дуновение. Будто теплый ветер среди зимы подул. Обернулась быстрее молнии. Перед ней стоял Христос. Холщовый плащ Его вил ветер. Он улыбался. А в глазах Его тоже, как и у рыжей, стояли слезы.

Рыжая упала на колени и протянула к Нему руки.

— Учитель!

Слезы уже текли по Его лицу. Он прижал палец ко рту.

— Магдалина!

Она хотела обнять Его колени. Он отступил на шаг.

Его босые ноги вминались в снег.

— Нельзя Меня трогать! Я сейчас не из плоти, из огня. Испепелишься! Я еще не поднялся к Отцу Моему.

Рыжая глядела сквозь соленую пелену: и правда, Он весь переливался огнем, испускал лучи, вспышки ходили по Нему, по телу и по одежде, гасли и снова рождались. Она с восторгом прижала руки к груди. Целовала Его глазами.

— Какое счастье! Ты — воскрес!

Улыбка Его из радости сделалась печалью.

— Я пока не знаю, счастье это или нет.

— Да! Счастье! Для всех — счастье!

— Для всех... — тихо повторил Он вслед за рыжекой.

Рыжая, не сводя с Него глаз, поднялась, скинула лапти, чтобы удобнее было бежать, и, восторженно, потрясенно оглядываясь на Него, побежала, все быстрее и быстрее, босиком по снегу, через все смиренное кладбище, через снега, сугробы и наледи, по тропе, обратно в избу, пробежит немного и опять оглянется — стоит ли, живой ли; Он все стоял и смотрел, как она бежит. Все меньше становилась Его фигура, все сильнее трепал ветер Его холщовую накидку, и рыжей казалось, это крылья развеваются у Него за спиной. Вот Он стал серым осетром, висящим на невидимой рыбацкой леске под звездами. Вот стал гусем, и крылья растопырены, и метель его замечает. Вот малым утенком, а утица потерялась, уковыляла далеко вперед, и Он один, и все больше становится не малым птенцом, а снежным холмом. Вот уже стал завьюженной могилой в полях; и никто не принесет бумажного бедного цветка, в снег не воткнет, чугунную лопасть креста проволочным стеблем не обвяжет. Вот растворился в белизне.

А Магдалина все бежала, задыхаясь, не бежала — летела, чтобы мужикам великую весть рассказать; и долетела до избы, и дверь толкнула, стукнула дверь, она ворвалась в тепло с мороза, снег падал с нее на деревянные плахи дожелта выскобленного пола и таял, она стояла, ловя ртом воздух, и апостолы, застыв над мисками с таинственной, древней жареной рыбой, усатой, как грозный полководец, строго глядели на нее.

— Что ты? — спросил белобородый морщинистый Петр, светясь огромной лысиной в мерцании лампад. — Бежала? Запыхалась? Тебя никто в ночи ножом не напугал? Садись вечерять!

Рыжая стояла, не шелохнулась. Улыбка возшла на ее лицо и осветила избу, темные углы, кота на печке, рыболовецкие снасти на сундуке, лица людей за столом.

— Он воскрес, — сказала она просто.

И никто не удивился.

И все замолчали.

И каждый молчал о своем.

Долго пребывала Вера в забытии; и за ней ухаживали, пока она лежала в болезни, все, по очереди, монахини Горненского монастыря в Эйн-Кареме во Иерусалиме; и настал день, когда Вера открыла глаза. Все, кто в это время был при ней, опустились на колени и помолились, и возблагодарили Господа за исцеление болящей.

Ей тут же поднесли, по ее просьбе, ее Евангелие, что мирно лежало на столе в ее келье и ждало, когда его владелица очнется от сумрачного потаенного сна.

Вере развернули Евангелие, открыв его, опять же по ее тихой просьбе, на особо любимых ею страницах. Перелистали желтую старую бумагу, чьи углы, истончившись, уже осыпались под пальцами, как пыльца с крыльев бабочки. Две монахини стояли и держали перед лицом Веры Евангелие: сестра Васса и престарелая сестра Елисавета, уже собиравшаяся в дорогу к Богу. Они держали книгу, а Вера читала, и губы ее с трудом шевелились, и голос еле доносился до монахинь, но все же слова различали они.

«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас; и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего

не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна».

Так прочитала Вера и жестом показала, чтобы Священную Книгу убрали от ее глаз. Монахини сделали это. Вера сказала им:

— Вот, читаю буквы и слова, а будто бы я все слова позабыла. И звучат они мне, как в первый раз. Как свежий снег летит мне в лицо. И читаю вслух, а будто бы это не я, а голос со стороны слышу. С небес. Скажите, сестры, верно ли это? И как меня зовут, сестры? Я имя свое забыла.

— Тебя звали Вера, — отвечали ей монахини, — и, если будешь принимать иночество, то, верней всего, Верой же тебя и нарекут в монашестве. Потому что это хорошее имя, правильное для монахини имя. Без веры мы никуда. Поэтому пребудь Верой! Помни, принявшая обет живет уже не для себя, а для всех.

Вошла в келью игуменя Мисаила, тяжело переставляя старые ноги, и сказала, обращаясь к лежащей на постели Вере:

— Читай душеспасительные книги и повторяй великие молитвы. Без молитвы нет человека. И без Бога нет человека. Несчастен тот, в ком Бога нет. В ком не живет Бог, тот и дело свое делать по-божески не может; да, он делает его, но оно нечестиво и мгновенно, оно очень быстро умирает, вздохнуть не успеешь, а умерло уже. Учись, Вера, страху Божию! Страх Божий — не тот страх, который ест тебя изнутри. И всю изгрызть может, и в страх превратишься; это человеческий страх. А Божий — это когда ты от восторга трепещешь перед всякими Его делами и молишься: Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Повторяй, Вера, так, и люби Бога, Создателя своего!

Вера закрыла глаза и медленно перекрестилась. А мать игуменя торжественно перекрестила ее издали, стоя при дверях. А потом подошла близко к ее ложу, наклонилась над Верой, еще раз наложила на нее крестное знамение и поцеловала Веру в лоб. Сказала:

— Долго не залеживайся, очнулась, так вставай и к делам приступай! Много дела у человека на земле!

И встала Вера, и приступила ко множеству дел своих на земле.

Живя в монастыре послушницей, она часто вспоминала Сибирь. Ее родина представляла ей в призрачном, радостном сиянии: когда зиму вспоминала, то ярко светились под полозом санок алмазные снега, когда вспоминала лето — светлая дымка поднималась над енисейскими крутоярами, над Столбами, и маляхитово-зеленая шкура тайги источала слабый свет красных сосновых и золотых лиственничных стволов. Она-то думала, она жила среди гибельных снегов и вьюжных секир, а оказалось на деле, что в роскошном ледяном дворце, с анфиладами и башнями, царевной жила она, и вся Сибирь была под ее властью: хочешь — в тайгу поезжай за грибами-ягодами, хочешь — в степь, в соленых лечебных озерах купаться, грязью себя облеплять, чтобы суставы не болели. Хочешь, сиди на берегу Енисея, удочкой жирного чира таскай! А рядом бывалые рыбаки сетями тянут осетра и тайменя. Запрет, не запрет, древний человек рыбу ловил, рыбалим и мы!

Сибирь, родина. Вера так остро отсюда, из Святой Земли, чувствовала родину, что ее золотая осенняя игла все время торчала у нее под сердцем, под ребрами. Родина, плоть и кровь. Просторы, боль, ледяная береза, суровый ветер, пугающий далекий горный хребет, отроги и увалы, и ураган переваливается через них, насылая на город тяжелые черные тучи, и охапками черной бараньей шерсти летят по ветру они, закрывая казачий, суровый Красноярск от всезрящих очей Бога. Бурливый, дымливый Енисей! Не замерзаешь зимой! По лету плывут по тебе плоты, связаны стволы в молчащий сырой, рыжий орган, на плоту сидит кухарка, жжет костер, в котле варится уха из хайрюза, мужики-сплавщики стоят на краю плота, из-под руки глядят вдаль.

Все вдаль и вдаль! Человек устроен, чтобы глядеть вдаль; и Вера глядела. Да редко. Так и прожила жизнь, а глядела все на то, что ползало у ног ее, совалось под руки. Трудно глядеть вдаль. Глаза слезятся и болят. И зрение теряется. Так почему отсюда, из святого Иерусалима, едва монахиней не став, она так ясно и больно, в святых подробностях всех, видит родину свою?

Русь, она шепчет забытые, старые слова, их хранят старухи в сундуках, выбрасывают их на помойку, сметя веником в железный совок: лонись, намедни, давеча, надысь, посолонь, колькраты, загнетка, камка, студенец, — говоры ее бабок и прабабок все слышнее, громче повторяла она, и вставлялись они в обыкновенную нынешнюю речь, как гладко отшлифованные кабошоны в грязную, позеленелую медную скань.

Сибирь все настойчивей говорила в ней, бормотала, кричала, ругала ее, пела ей на ночь колыбельную, — Вера то и дело слышала снежную переливчатую арфу; слышала Сибирь, которую покинула она, давно или недавно, ей до этого дела уже не было, времена сместились, и другая тишина внутри настала. А Сибирь в той тишине пела и сказы сказывала, и надо было все жадно ловить и слушать, и повторять, и запоминать, и молиться в слезах этими, вот этими таежными словами.

Ее отец, что сидел в лагере за колючкой, и его ровесники, прошедшие огромную войну, вставали за ее плечами огромным незримым хором, и пели ей, не размыкая губ, мычали, гудели бесконечную литию, а потом пели вьявь, выпевали слезные, предвечные слова, — эти мужики, в робах и полушубках, в черных ватниках, дранных собаками, и в шинелях, что бьют по пяткам, по обляпанным грязью сапогам, шли на нее, надвигались из мглы, и пели, все пели ей о родине: о той земле, в которую все они легли. Смерть, не отпетая, не оплаканная! Сколько людей вот так лежали в сырой земле! Христос воскрес, а они? Умереть — и не воскреснуть! Да так ведь со всеми нами! Никому не избежать участи своей! Так почему же все мы идем, идем в Град Небесный, в Небесный наш Иерусалим, и все никак не дойдем, хоть и видим уже, там, за поворотом, за белесо, бес-

сонно дымящимся оком, прозрачные, сияющие храмины его?!

Вера видела родину, слышала пение легших в землю людей ее, плоть от плоти и кость от кости ее; а еще она видела Небесный Иерусалим, ей о нем рассказала однажды Васса, размешивая в большой алюминиевой миске жидкое тесто для оладий.

— Верочка, а самое прекрасное — это Небесный Иерусалим! Он — наше обетование! Вот будет большая война, и все люди, звери несчастные, перебьют друг друга, а потом те, кто любил Бога больше всего, спасутся: Бог соберет их в Небесном Граде Своем. Мы здесь и сейчас, Вера, только пришельцы. Там же мы будем истинными жителями. Там будет настоящая жизнь! А здесь — тьфу! Сон! В стенах Града того будут гореть драгоценные камни. Я наизусть выучила, какие! Яшма, сапфир, халкидон, изумруд... сардоникс, ну это агат... сердолик, хризолит, берилл, топаз... вот забыла... а, да, хризопраз, гиацинт, аметист... Улицы его из золота! И весь он будет как невеста, приготовленная для чертога брачного! Та в Писании сказано! Это будет наш единственный, Вера, и вечный дом! До тех пор, пока звезды стоят и солнце светит... Да ты не слушаешь меня!

Вера слушала Вассу и не слышала ее: за ее спиной опять пели гудящую военную песню без слов убитые в боях мужики, и расстегивал ее отец гимнастерку, из-под ворота нательный крест добывая, а лагерный вертухай врывался в барак и рвал с шеи у отца витой грязный гайтан, креста лишая заключенного человека. Кто утешит? Кому молиться? Двадцать пять лет! В снегах и морозах! Впроголодь! Работать на износ! Это хуже войны. Кто помянет всех, что легли в ту землю — не под разрывы и пули, а в вечную безмолвную мерзлоту? Кто о них заплачет?

— Вера! Да что ж ты плачешь-то, а! Что я тебе такого сказала!

Вера тихо, сквозь слезы, смотрела на Вассу. На миску с тестом и большую серебряную ложку у нее в руках.

— Васса, прости. Я — отца вспомнила.

Васса ставила миску на край стола.

С иконы, с горы Фавор, смотрел на них, поднимая высоко руки, Христос в белом-снеговом, метелью развевающимся хитоне. Бог одет был во свет.

— Это ты меня прости. Давай за отца твоего помолимся! Своею смертью умер? Или убили? На войне?

— На войне, — обманно шептала Вера.

— На афганской? Да? Ох, Царствие Небесное!

Обе опускались на колени и молились, глядя на святую гору Фавор.

Закончив молитву, сестра Васса вставала, отряхивала рясу и деловито спрашивала Веру:

— Хочешь, на гору Фавор поедем? Не проблема! Я матушке Мисаиле скажу. Она нас с миссией отправит. В монастырь. Там женский монастырь Преображения, на Фаворе. Хочешь увидеть место, где Христос в небесах воссиял над учениками, вместе с Илией и Моисеем? Хочешь?

Вера не вставала с пола, подобно Вассе, а садилась, и так сидела на полу, крепко обнимая колени.

— Хочу. Только и у нас в монастыре дел много. А Фавор я и во сне увижу. И Небесный Иерусалим тоже.

Она забыла, что такое в зеркало смотреться. Зато другие люди смотрелись в нее. И многие пытались увидеть в ней себя. Вера и раньше-то в зеркало глядеться не любила, а в монастыре и зеркал не было, это было прельщение, надо было сторониться зеркала, как дьявола.

Вере шептали: станешь монахиней, увестишься Жениху Небесному! Вера пожимала плечами, опускала глаза и смотрела на носки своих башмаков. Ей в монастыре подыскивали подходящую, по ноге, обувку.

Васса однажды заикнулась ей об ее прежней жизни. О замужестве спросила: как, мол, и как, ты там, в миру, замужем

была или нет? Вера помотала головой, и неясно было, нет или да. Васса замолчала и больше не заводила речь на эти темы.

Сестра Васса, сестра Катерина, мать Варсонофия, мать Дмитрия и другие послушницы и монахини не рассказывали Вере, как они сюда попали и как прежде жили. Да Вера и не просила. Она вспоминала своего любовника, того, с большими насквозь потрохами. Вспоминала и жалела. И молилась за усопшего, за живую на небесах душу его.

Матушка Мисаила заговаривала с ней о постриге. Вера отнекивалась: мне и в послушницах хорошо. Все-таки смирилась. Попросила: имя мне мое оставьте. «Нельзя! Другое надо!» — строго ответила Мисаила. А потом прикрыла тяжелыми веками пронзительные глаза и вымолвила тихо: «Да, имечко у тебя мирское такое... что надо имечко. С ним ты на Страшном Суде не пропадешь». При обряде пострижения прозвучало под сводами храма ее родное имя. Монахини переглядывались. Мать Мисаила нарушала закон. Во имя чего? Об этом знала она, игуменья, да еще Бог, мнили монахини.

В первую ночь после пострига, уже инокиней, Вера легла в свою жесткую постель, но уснуть не могла — слышала голоса. Голоса вокруг плакали и стонали. Она иногда разбирала слова: по ней сокрушались. Голоса вроде звучали родные, знакомые. Вот мать, вот челябинская убитая сестра ее Марина, вот покойница Анна Власьевна, северная кружевница. Вот слабый, с небес, голос отца. Вот старушка Расстегай, и смеется мелко, хохотом дребезжит. Потом все голоса внезапно слились в хор и запели. Они пели хвалу Царю Небесному.

Вера все делала в монастыре, что прикажут. Потом в голову ей пришла блажь, а она думала, что блаженство. Попросила мать игуменью разрешить ей жить не в келье с сестрой Вассой, а одной, в монастырском саду. Мать Мисаила постучала себя кулаком по виску. «Ты думай, что говоришь!» Потом замолчала и стала думать сама.

И — разрешила.

Блажь матери Веры была исполнена. В саду разбили палатку. Вера спала в палатке на тощем матраце, укрывалась кошмой, под голову подкладывала себе свой старый красноярский ранец. Вставала рано утром, натаскивала воды в ведре, умывалась холодной водой, смеялась, глядя на встающее солнце. Потом читала Евангелие и молилась.

Однажды, ночуя в палатке, она увидела странный сон. Огонь, много огня, и прямо в огонь въезжает автобус, а она едет в том автобусе. А огонь встает кругом, стеной. Вера проснулась в поту, привскочила на матраце, отирала мокрое горячее лицо холодными ладонями.

Сон толковать не стала: бывают сны от Бога, а бывают от диавола. Молчать надо и молиться.

И Вера молчала и молилась.

А однажды в саду, среди апельсиновых деревьев, яблонь и персиков, она увидела настоящего Ангела. Ангел медленно шел между фруктовых деревьев, его ноги не касались земли. Вера зачарованно глядела на Ангела. Она хотела спросить его о чем-то важном. Ангел не смотрел на Веру. Он смотрел вдаль, и его широко открытые прозрачные глаза насквозь просвечивало солнце. Плоды, золотые, алые и зеленые, свешивались с ветвей, тянули ветви вниз, к земле. Ангел тихо шел над землей. Вот он прошел мимо Веры. Вера хотела идти вслед за ним. Но ее ноги стали как чугунные и приросли к земле. Она еле нашла в себе силы перекреститься.

Наблюдала, как Ангел растворился в утреннем тумане.

Подумала: «Если это соблазн и от беса видение, пусть я провалюсь под землю!»

Не провалилась. Стояла под лучами солнца и смотрела на небо.

Туда, где уже шел легкими стопами ее Ангел.

На службах Вера стояла в толпе сестер и матерей, чувствовала локтями, спиной и животом тепло их тел. Все живое хотело жить. Каждая монахиня в монастыре хотела жить, прекрасно зная о бренности и тщетности всего земного и о том, что

однажды и она уйдет с лика земли. И каждая молилась: не о себе, о людях. Чтобы им, людям, Господь даровал побольше лет жизни.

Каждая о себе так думала: я малая, бедная сошка, нищая мошка, хлебная крошка, меня со стола стряхнут и не заметят!

И Вера так же думала о себе.

Но иногда в голову лезли другие мысли. Да прямо на службе, вот грех!

Нет, она не помышляла о мужчинах, о любовных поцелуях, ни о какой грешной плоти; она думала о том, что вот ее заточили в монастырь, как узницу, и что она никогда не увидит теперь Сибирь.

И при слове «никогда» холодный пот, пот смертной тоски, окатывал ее, и не в радость были ей песнопенья и воздыханья, и гласы хора, и все кондаки и ирмосы.

Часто монахини заставляли мать Веру в монастырской библиотеке: Вера открывала для себя новую землю, где буквы звучали, а слова текли и летели, и наплывали из такого древнего времени, что оторопь брала и морозом схватывало спину, под лопатками, там, где у ангелов крылья растут. Она еле поднимала и, кряхтя, таскала тяжелые фолианты. Листала наугад. Буквы сыпались черными зернами. Оживали смоляными нотами под руками незримого музыканта. Когда Вера читала про себя, а когда и вслух, шепотом. Ей важно было проговорить вечность, чтобы она зазвучала.

...зеркало, зеркало... сон...

...жизнью дух живой спалён...

...черный крест. Она сама этот крест теперь. Она к Богу просто открывает дверь.

...Господи, услышь. Господи, прости. Я песню — птицей держу в горсти.

...черная ряса. Черный клубок. Черный крест сильных рук. Я еще сильна. Я всегда одна. Я среди людей. Какая тишина.

...а еще после таких чтений на нее ночью наплывали горящие буквицы, налетали слова-бабочки и птицы-видения. Время

расступалось, как Чермное море перед Моисеем и народом его. Она стояла над морем времени, в руках у нее был большой половник, которым на монастырской кухне мать Варсонофия, дюжая крестьянка из-под Припяти, помешивала постные щи; и Вера точно таким же половником помешивала черно-золотую сумасшедшую жидкость, она дымилась, вспучивалась и булькала в котле. Это время варилось. И Вера была его поварихой.

И рот ее сам раскрывался; и над страшным варевом глотка сама пела то, что слышали лишь полотняные, туго натянутые стены палатки, да ночной сад, да нагретая за день земля, да высокое недосыгаемое небо.

Жадно схлестнутся над жаркой, сухою землей
ветра.
Один царь другому злобно, на весь мир крикнет:
пора!
Железные копыя туда и сюда полетят.
И не будет дороги вперед. И не будет дороги назад.

Зачем же на свете между людьми любовь жила?
Скиталась, бродила, без роду-племени, без угла,
Без черствого, в голод, с кровью и со слезами,
куска,
Когда вокруг пламена до небес восстают, и дотла
сгорает тоска.

Копья летят, и земля сшитый из людей снимает
наряд,
И Ангелы над землею встают скорбные, в ряд,
Они землю уже хоронят,
да один безумный Ангел на все небеса кричит:
«Она еще поживет! Она постонет еще, поскрипит,
деревянной ногой постучит!»

Схлестнутся молнии. Вспыхнет огонь в небесах.
Застынет Господь у Страшных Врат на часах.
И ярче воссияет бирюзовый крап,
Небесный мой Град Иерусалим,
И ты, бедный, грешный Господень раб,
ни в жизнь не узнаешь, что делать с ним.

Она пела свои песни внутри холщовой палатки, а монахини думали: она поет псалмы.

И не мешали ей.

Однажды мать Таисия захворала животом. Корчилась, кричала от боли. Вера сказала: приведите ее ко мне, я помолюсь над нею самой за нее. Мать Таисию привели. Вера велела ей лечь на спину перед палаткой. Наложил руки монахине на живот и стала читать молитвы. Через час-другой крики матери Таисии утихли. Она лежала с закрытыми глазами, как мертвая, но с улыбкой. Монахини столпились вокруг. Кто-то крикнул:

— Отходит!

Вера подняла к монахиням лицо. Она тоже улыбалась.

— Нет. Все хорошо.

Мать Таисия медленно открыла глаза. Медленно села на земле. Медленно, без помощи, поднялась. Выпрямилась, так стояла. Оглядывалась вокруг, будто заново родилась.

— Где я была?

Вера смотрела на нее так, как мать смотрит на дочь.

— Не вспоминай об этом. Рай и Ад в тебе. Молись, чтобы ноги сдружили ход твой в Рай. Иди туда. Слышишь? Иди туда!

Монахини зашумели. Восклицали и крестились. Мать Вера протянула матери Таисии руку.

И она пошли из сада в храм, и Таисия опиралась на руку Веры, как в старинном танце полонезе.

Вера все чаще постилась, и даже не в постные дни. Среда и пятница у нее стали всею неделей. Она просила сестру Вассу:

— Принеси мне немножко хлеба, у меня закончился.

Васса ворчливо отвечала:

— Да принесу уж! Исхудала ты, мать Вера, сильно. Хватит голодом себя морить! Чай, не пустынноца ты! Не схимница еще пока!

— А может, уже и пустынноца, и схимница.

И Вера снова улыбалась.

Она научилась все чаще улыбаться, и улыбка была ей как молитва. Она поднимала улыбку на лицо, как поднимают флаг — над толпою в революцию, на корабле, идущем на смертный бой. Верина улыбка осеняла монахинь, и под лучами ее улыбки монахини крестились и улыбались Вере в ответ. Радость летала над монастырем, о радости молча говорила насельницам мать Вера, и однажды сама престарелая матушка Мисаила пришла к Вере в палатку — порадоваться вместе с ней.

Села на свернутый в рулон матрац. Вера почтительно стояла перед игуменьей.

— Мать Вера, — так начала расспросы матушка Мисаила, и древний подбородок ее мелко дрожал, будто плакала она, — скажи, как молишься ты, чтобы все время обретать радость? У меня опыт молитвенный большой, я дольше на свете живу, чем ты, и то у меня не выходит так просветляться. Дано это тебе было от века, а ты открыла радость в себе, или ты вымолила ее?

Застеснялась тут матушка игуменья: мол, о чем-то тайном, святом выпрашивает насельницу. Выуживает из нее то, о чем сама Вера, поди, и не ведает.

— Прости, если что не так говорю... прости грешницу...

Игуменья перекрестилась, а Вера спокойно смотрела на нее. Потом поклонилась земным поклоном.

— Воля ваша, матушка Мисаила. Я с радостью этой жила. Но только в миру ее забыла. А теперь она сама ко мне пришла. Эта радость, это ведь Господь.

— Господь?

— Господь.

Мать Вера смотрела на мать игуменью сверху вниз. А будто снизу вверх. Все вверх и вверх.

— Значит, ты Божия душа, Вера, — со вздохом вымолвила мать Мисаила.

— И вы Божия душа, матушка.

— Все мы Божьи души!

Широкая грудь игуменьи поднималась тяжело и часто, и колыхался на животе огромный крест.

— Да. И сейчас нас Господь видит и слышит.

И тут произошло непредставимое. Вдруг сморщилось жалобно коричневое, иссушенно-загорелое лицо древней, как земля, матери игуменьи. И щедро, быстро полились слезы по земляным щекам, по змеиным расщелинам морщин, и ткань рясы тут же промокла на обвислой груди от щедро льющихся слез.

— Да... видит и слышит! Да, да, и видит и слышит, кто я и что я! Вот ты святая. А я — если б ты знала, кто я такая! Вот сейчас и скажу. Возьму и скажу! Я — преступница! Да такая, что тебе и не снилось! Ты о таких-то и не слыхала никогда! Все вокруг строили коммунизм... война отгремела... все жить хотели, смертельно хотели жить... а я... Я — со смертью обнималась! Я с бандитами связалась в Ташкенте. Столько людей убила! Да, этими, этими вот руками, — руки перед собой протянула, и руки дрожали, — столько народу на тот свет отправила! И ничего, земля подо мной не разверзлась! А потом меня украли. И увезли в Турцию! И там я работала... язык сейчас не вымолвит... а слушай, слушай... в веселом доме. Да! В борделе! Кто только меня не... распинал... Я... повеситься хотела... Уже, знаешь, петлю из ремня сделала! А ремень — из брюк у клиента вытащила! И — к люстре приспособила! И на стол уже влезла. Люстра качается надо мной. И — горит! Я свет выключить забыла. Так при свете мы и... барахтались... свет яркий, люстра так ярко пылает, хрусталем переливается... глазам больно... И вот на столе стою... босиком... голяком... даже и без сорочки... и креста на груди у меня нет, заметь... нет креста, а носила, не по-советски, да, по-вечному, но-

сила как вызов, в бане когда мылась — все на меня тарасились, как на прокаженную... бабка меня крестила, самарская бабка моя, малышкой еще, у нас весь род из Самары... крест с меня сорвали, как в шалман этот турецкий привезли... голову задрала, люстра светом прямо в глаза мне бьет... И я — вижу — свет!

— Свет, — послушно и беззвучно повторила Вера.

— Да! Свет! И вдруг я вижу себя. Мертвую. Даже и не во гробе! А завернутую в грязную ткань... и лежу в мусорном ящике... и меня обливают бензином и поджигают... и хохочут, во все горло, хохот слышу... и огонь как поднимется! Прямо в лицо мне пыхнул. И я... обожглась и отпрянула! От огня этого! Стол покачулся, ноги заскользили, стала падать... уцепилась за ременную петлю, люстра как грохнется с потолка вниз! И вместе с ней я на пол упала! Расшиблась вся в кровь! Костей не соберешь! Руку вывихнула. Боль дикая! Да я — живая! Лежу на полу и смеюсь! Не смех, ржанье лошадиное! Свет погас! Я — в стеклянных осколках валяюсь! В грязи! Покалеченная! И слышу — с кровати — храп. Храпит мой ненавистный мужик. Даже и не проснулся! Я поднимаюсь, босыми ногами на острые стекляшки наступаю, рубаху накинута, прочь иду. Как я мимо охраны прошла — не знаю. Может, тоже все спали. А может, подумали: с ума девка сошла, умаялась, вон как извозили, изодрали ее, пусть воздухом подышит! Я и дышала... шла и дышала... дышала и шла... шла... одна... в ночной рубахе... по ночному Измиру... шла, шла... одна...

— Одна, — прошептала эхом Вера.

— И пришла... в порт... И там меня подобрали. Взяли на корабль! Моряки! Не наши, не советские! Французские. И привезли в Хайфу. Руку мне вправили. Там у них доктор корабельный... так изящно лопотал... ни словечка я не понимала... Кормили хорошо... и — не издевались... И не спрашивали, кто я: все сразу поняли, что — шалава. И не догадались даже, что — русская... может, думали, полька... В Хайфе отвезли меня в церковь пророка Илии. Я там долго при церкви жила. Посуду мыла... для трапезной... всю грязную работу делала... Советскому посольству

меня не выдали. Храм — он как убежище в войну. Спрятался — спасся... Смерть мимо просвистела... Там меня и окрестили во второй раз. Два раза я родилась! Радость! А сейчас вот вижу радость твою. И понимаю: никогда я такой радости не испытывала! И другим — не дарила! Вот как ты! Ты, милая, ты...

Вера стояла перед игуменьей. Руки ее мелко дрожали.

— Ты... блаженная...

— Да ну, бросьте, — еле слышно сказала Вера.

— Да! Ты — блаженная! Ты во блаженстве живешь. Во блаженствах! Тех, что в Нагорной проповеди! На тебя Господь дохнул, дыханьем обласкал тебя и тихо сказал, нам всем здесь сказал: сие есть возлюбленная дочь Моя. Вот так-то вот, мать Вера! Вера... Верушка...

Игуменья скрючилась, стала падать лбом себе в колени. Вера быстро присела на корточки рядом, просунула руки игуменью под мышки, поддержала ее. Уже целовала ее виски, изморщенную кору щек под черным апостольником, лоб, похожий на гриб сморчок, даже в лиловые, жалким пустым стручком высохшие губы поцеловала.

— Вы только не плачьте...

Вера ужасалась и радовалась исповеди Мисаилы.

И она не знала, что делать с ней.

Сочувствовать? Смолчать и забыть? Вслух, вот сейчас, помолиться?

«Она меня Верушкой назвала».

Вера обняла и крепко прижала мать Мисаилу к груди.

Так сидели обе, обнявшись.

И плакала мать Мисаила, крепко, крепко к Вере прижавшись, всем невесомым предсмертным, выжженным телом, всей взывающей любви душой.

И целовала мать Мисаила впалым старческим ртом плечо Веры и грудь ее, закутанную в черную ночь пожизненной рысы.

И мать Мисаила вырыдала в плечо Вере:

— Доченька.

Иные монахини умирали, и отпевали их честь по чести, иных новых послушниц впускали в монастырские ворота. Пели птицы в ветвях счастливого сада. Жизнь в монастыре будто замерла, такая прозрачная и чистая была она, если смотреть изда-лека. Если ближе подойти — видать было и ночные тоскливые слезы монахинь, и для кого-то непосильный труд разнообразных послушаний, и грешные смешки, и грешные наговоры; но грех тут же клался на поднос, на всеобщее обозрение, и тот, кто его породил, вынужден был и прилюдно, и тайно отмаливать его. А Вера все постилась, все молилась, и все чаще приходили к ней монахини со своими горестями и радостями — на совет, на общую молитву.

Вскоре начали появляться у Веры люди извне. Известия о матери Вере проникли за монастырскую ограду. Людям, что приходили к ней за исцелением от скорбей, мать Вера говорила самое главное: то, чего от нее и ждали они. Кому нужен был Ангел — Вера была Ангелом. Кому нужна была строгая мать — Вера была строгой матерью, с невидимой розгой в руке. Кто приходил, измученный жизнью, за небесным утешением — Вера щедро, изобильно давала ему это утешенье. Кто брал у нее благословения — самые разные: на постройку храма, на взятие к себе в семью приемного ребенка, на паломничество к святыне, на венчание, на то, чтобы плод в утробе матери рос крепеньким и здоровеньким, на сложную хирургическую операцию, на малевание картины или пение песни, и Вера всем давала благословение такое, а иногда и не всем: перед нею вставал человек с грязной душой, и она советовала ему: отмойся сначала, молись и постись, и уверуй истинно, и очистишь, а потом проси благословения!

Иногда Веру спрашивали: мать Вера, а вот что это значит, если я слышу голос? Вера уточняла: откуда голос, с небес? Или изпод земли? Ее спрашивали в свой черед: а как узнать, от Бога это голос, от людей или от беса? И тогда Вера отвечала: моли-

тес, и ясно воссияет ответ вам. Голос Бога не пропадет, не исчезнет! А голос дьявола рассыплется в прах и сгорит.

Так испросили у Веры благословенья строители, они задумали возвести на Святой Земле, в Кесарии, храм в честь святого Николая; а Вера сказала строителям: еще река времени долго мимо людей протечет, только тогда Господь даст разрешение на возведение такого храма. Строители удивленно спросили: а ты, мать Вера, откуда знаешь про это? Вера улыбнулась: я вижу.

«Она видит!» — разнесся по монастырю слух.

Она у нас прозорливая, вздыхали монашки.

И кто-то восхищался, а кто-то завидовал втайне.

Но человек грешен и слаб, и видела, чувствовала Вера тайную зависть иных монахинь, и молилась за них. Горячо молилась.

И заставляла монахинь этих, завистниц, на ранней обедне, во храме, в слезах.

Бесконечные слезы текли по их щекам, и, сами не зная, что это с ними делается, они склонялись перед Верой, брали в свои руки ее руку и просили у Веры прощения.

— Прости нас, грешных, мать Вера!

И Вера тихо улыбалась, накладывала на себя крестное знамение и отвечала, как в Прощеное воскресенье:

— Бог простит.

Кровать за Верой в келье сестры Вассы сохранялась. К Вассе никого не подсеяли. Монахини прекрасно знали: зимы в Иерусалиме могут и холодными быть, и даже снег может землю устлать, не хуже чем в России.

Вере разрешали брать в палатку толстенные фолианты из монастырской библиотеки. Она чаще всего утаскивала к себе в холщовую скинию три увесистых книжищи: Библию, Четьи-Минеи и Псалтырь.

Книги эти воздвигались для Веры дворцами величиной с гору, по ним можно было бродить, спать в них и бодрствовать; в них можно было жить.

Она и жила.

Однажды так сидела она в палатке, с зажженным фонарем, с Библией на коленях. Книга была раскрыта на странице, где резво бежала старославянская вязь, плелась в кружевные узоры, — о святой героине Юдифи и о безумном тиране Олоферне. На гравюре, рядом с черными, на желтой бумаге, буквами древнего языка, мерцала Юдифь — ступнями и ладонями из-под длинных одежд, широко открытыми, испуганными глазами; она, пятясь от застланного звериными шкурами царского ложа, волкла за волосы отрубленную голову.

Вера пристальной всмотрелась в фигуру женщины. А что, если, спросила она себя, взять да и убить злого правителя, главное в мире царя, чтобы уберечься от войны? «Свято место пусто не бывает, — усмехнулась она сама над собой, — тут же на трон посадят другого. И еще злее». Мир слишком резко и больно стал делиться на добро и зло, и Вера все острее чувствовала это.

И где таится тот царь? Где прячется?

«Но ведь убийство — грех, грех... Значит, не всегда грех?..»

Тяжелющая книга давила на колени. Фонарь мигал. В отогнутую, зацепленную железным крючком полотняную дверь палатки налетал холодный ветер. Ближе к утру сухая земля подмерзала, и с туманных небес шел, как на родине, легкий сиротливый снег. Снег набивался холодной ватой в земные щели и впадины. Земля посверкивала под Луной, будто плат золотного шитья. П слышался шорох.

Вера вздернула голову.

Ветер играл, шуршал страницами старой Библии, ломкими, как печенье.

Женщина в черном приближалась к Вериной палатке. Вера подумала: монахиня. В прогал холщовой двери видела подол ее рясы и медленно ступающие ноги в разношенных башмаках. «Среди ночи идет меня проводить. Не замерзла ли я тут».

Монахиня подошла ближе, вот стояла уже возле палатки, и Вера захлопнула Библию, положила на матрац, встала и вышла под звезды. На ветер.

Вера смотрела на женщину.

Женщина смотрела на Веру.

У них было одно лицо.

Одно — на двоих.

Каждая из них гляделась в другую, как в зеркало.

Они стояли друг против друга, как на войне.

Под их ногами тускло вспыхивало старое серебро ночного снега, чеканными извивами бежало по черной и рыжей, железной земле.

Вера вмиг замерзла. Дрожала.

«Опять. Опять она пришла. Я — к себе — пришла! Но я ли это?»

— Здравствуй, — сказала она сама себе.

«Я правильно сделала, что первая поздоровалась».

Ее отражение в зимнем зеркале без улыбки смотрело на нее.

Женщина разлепила губы.

— Здравствуй.

Стояли, молчали.

Потом Вера тихо, дрожа, сказала:

— Уходи.

И вот тут другая улыбнулась.

Содрогнулась Вера от этой улыбки.

— Ты думаешь, ты от меня убежишь? — спросила другая.

Вера попыталась ответить улыбкой на улыбку.

Не получилось.

— Я ничего не думаю.

Другая протянула вперед руки, и Вера отшатнулась.

Из рукавов рясы, как из двух земляных ям, высовывались руки с длинными ногтями, и земля набилась под ногти, а может, это кровь засохла.

Вера зажмурилась. Сложила пальцы для крестного знамения.

Стала подносить руку ко лбу, а поднести не может.

Рука такая тяжелая стала, прямо чугунная.

И тут другая засмеялась.

Она смеялась беззвучно и страшно. Скалила зубы.

— Что, — спросила Вера сквозь зубы, — а так, без крестного знамения, не уйдешь? Изыди!

Другая перевернула руку ладонью вверх. По ладони медленно полз толстый белый червь. Он таял на глазах. Стек наземь водой, и другая вытерла ладонь о подол рясы.

Пока она руку вытирала, Вере удалось перекреститься.

Апостольник упал с головы другой, и в свете звезд и Луны сверкнула крохотная холодная серьга в бледной мочке уха.

— Изыди! — повторила Вера уже громче.

Другая глядела на Веру во все глаза.

«Да, я сама гляжу на себя; и я и есть диавол; и диавол, да, внутри нас, внутри каждого. Отрицаюсь сатаны и всех... деяний его...»

Верины губы слабо, жалко шевелились.

— Что, — спросила другая Вера тихо, — опять молишься? Все молишься и молишься? Хорошо тебе. Ты не знаешь, что будет с землей.

— Нет, знаю, — упрямо, тихо сказала Вера.

— Знаешь? Ну, что?

— Будет над землею Страшный Суд, — шептала Вера. Ее чугунная рука кочергой висела вдоль тела. Ей казалось: разрыли ее могилу, и ее на посмеяние вынули из земли.

— Ха! Суд! — Другая уже смеялась в открытую. — Да это же я тот Суд и сделаю! Я! И никто другой!

— Как ты смеешь, — шептала Вера.

Другая смеялась во всю глотку, громко и нагло. Звезды снегом осыпались с небес.

— Смею!

— Есть ли ключ...

— Договаривай!

— Есть ли в небесах ключ от спасения? От нашего спасения?

— А! Пожелала спастись! Жить уж очень хочется! Да твоя жизнешка — маленькая, жалкая! Что тебе о ней печься! Все равно все умрем!

— От ухода ключ...

— От смерти, что ли?!

— От ухода нашего... всеобщего... от всеобщей... гибели мира...

— Ах, вот ты о чем!

Другая Вера оборвала смех. Ее лицо стало злым и уродливым.

Вера гляделась в кривое, злое зеркало. Не могла оторвать глаз.

— Да. Об этом о самом! Как нам спастись!

— Спастись? Разве вы не знаете? Вы же все знаете! Всезнайки! Каждый день твердите: бодрствуйте и молитесь! Молитесь! И ты думаешь, ваши молитвы вам помогут?!

Вера выпрямилась. Подняла лицо. Звезды стекали с зенита на ее затылок, кололи иглами ей щеки и лоб.

— Да! Если горячо молиться — Бог поможет! Бог тебя...

Теперь Вера протянула руку. Пальцем указывала на другую себя.

— Все равно одолеет...

От тела другой шел холод.

Все внутри Веры вымерзло.

Она была зимняя земля, и снег и лед набились ей в песчаные складки и каменные морщины.

И другая наступила на нее, на землю, злой ногой.

— Я одолею всех. Но плевать на всех! Я и тебя одолею. Это главное!

Вера перекрестилась еще раз. Это было очень трудно.

Рука наливалась лунной тяжестью.

Рука Луной катилась в смоляном небе, и не было ни конца ни краю тяжелому крестному знаменю.

Другая отступила на шаг.

— А ты знаешь, кто я?!

— Да! — крикнула Вера.
Крик истаял в голых ветвях зимнего сада.
— Но ты не знаешь, что я с тобой сделаю!
— Ничего ты со мной не сделаешь, — сухими губами вышептывала Вера, — ничего...
Другая опять улыбнулась дико, страшно.
— Вот увидишь!
— А когда?
Голос Веры отлетал сухим листом.
— Так тебе все и открой!
— Зачем ты ходишь за мной? Что я тебе далась?!
— Ты...
И крикнула другая зычно, зверино, на весь тихий сад:
— Святая!
И столько было в этом крике презрения, ненависти и злобы, что Вера содрогнулась.
— Я не святая, — сказала Вера. — Я — грешница!
Пот тек по ее лицу, как слезы.
— Ты знаешь будущее!
— Не знаю!
— Не ври! Знаешь! А люди знать его не должны! Песни им поешь!
— Я — сама себе пою!
— А люди все равно слышат! Я все равно убью вас всех! Натравлю людей друг на друга!
— Не убьешь.
— Убью! И землю убью! И тебя!
— Меня, — шептала Вера, — меня... не убьешь... Ты — это я!
— Да! Я — это ты! Только без твоего сердца! Я тоже вижу все! Как и ты! Но мое сердце не бьется! Оно железное.
Вера подняла руку и тяжело, медленно перекрестилась в третий раз.
А потом поднесла щепоть к сердцу и медленно перекрестила его — под ночной, холодной рясой.
И другая — отступила.

И еще на шаг. И еще. И еще.

— Я приду за тобой. Когда, не узнаешь!

Вера глядела на себя широко открытыми глазами.

Положила ладонь на грудь, чтобы слышать биение сердца.

Ее сердце билось больно, горячо. Толкалось в ладонь. Жило.

Еще живое.

— Узнаю!

— Нет! Ты только про других все знаешь! Про меня — не узнаешь ничего!

И крикнула презрительно, визгливо:

— Ведь ты же не смотришь в зеркало!

Пятилась. Уходила.

Вера глядела себе вслед.

Бледное лицо над черной рясой таяло в морозной ночи.

Сухие листья валились с ветвей, шептались под ногами.

— Имя! — бессильно крикнула Вера уходящей. — Назови свое имя!

И далеко, как с того света, до Веры донесся птичий клекот:

— Ты же знаешь его!

— Но тебя зовут не Вера!

Далекий призрачный, ночной смех был ей ответом.

Ночь вспыхивала и гасла в замерзших ветвях.

Снег мерцал на черном пепле земли славянской ли, арамейской вязью.

Конец Мира. Это значит: Конец Земли.

Вот и кончено бесконечное бытие.

Железная саранча полетит из расщелины,

и в снежной пыли

На морозе под ветром забьется чужое бельё.

Все исподнее вывернут. Всяк будет нищ и наг.

Всяк в другого будет глядеться, как в зеркала.

Ты царь? а пошто в зеркале ты бедняк?
Не начать сначала. Всеобщая жизнь прошла.

И настает одна, на весь мир, всеобщая смерть,
И не только мы, но малая птица в холодной ночи
Все поет, поет о том, о чем нам не посметь,
И прошу: крылатая, не пой до конца, молчи,
замолчи.

И к лицу моему кривое зеркало поднесут,
И не узнаю себя — череп, зубы, глазницы, скелет.
И, сверкая и грохоча, из земли воздымется
Страшный Суд,
А в громадном свитке небес о Земле уже
и помину нет.

После этой страшной незабвенной встречи в зимней ночи
мать Вера стала больше молиться.

Она молилась и про себя, и шепотом, и вслух, громко, крестилась широко, со слезами и улыбкой, и клала поклоны, много поклонов — сто, пятьсот, тысячу, она уже не считала. К ней приходили люди, и она говорила: «Возвращайтесь домой, кто пропадал, тот нашелся!» Люди шли домой и находили там отца, что давным-давно ушел из дома; сына, что малюткой потерялся на вокзале в суматохе переезда. Люди приходили, и она говорила: «Копайте за восточной стеной дома, и клад найдете!» Люди брали в руки лопаты, и разрывали землю возле дома, думали откопать горшок с золотом, а находили старинную икону, Божию Матерь Троеручицу, и крестились на нее, и шептали: «А может, сам живописец апостол Лука ее намалевал на святой доске». Ризы Богоматери отсвечивали темно-алым, вишневым, кровавым. «Я всеобщая мать, — шептала себе Вера, — деток своих уже никогда не сочту».

Вера молилась вслух, стоя на коленях у иконы Божией Матери Умиление, она знала, что ее особенно возлюбил преподоб-

ный Серафим Саровский, об этом ей матушка Мисаила сказала; она произносила слова, а слова чудились ей языками огня, огни лизали тьму вокруг нее и тьму внутри нее, и очищалась душа от скверны, а свет отделялся от мрака, и слова текли настоящей музыкой, и Вера, сама себе удивляясь, говорила, как пела:

— Господи! Ты знаешь все, что у нас в сердцах живых творится. Ты держишь на ладони Своей Вселенную, Вседержитель Ты, Пантократор! Царь Иудейский, так кричали тебе там, на площади, когда захотели Тебя распять. Но Ты давно уже Царь Земной и Небесный! Взгляни на нас на всех! Мы, все живые, есть Твой храм. Мы — кирпичи Твоего храма. Сложил Ты нас, уложил тесно, плотно, чтобы храм сей не разрушился вовеки. А есть люди, что не легли в плотную Твою кладку! Есть люди, что под стену храма Твоего себя кладут взрывчаткой! Летят в святые стены снарядам! Господи, прости им, ибо не ведают, что творят! Помоги им, как Ты помогаешь праведникам Своим! Устереги их, несчастных, от диавола. Диавол в людях сидит. Он живет внутри людей, как червь, и гложет их. Съедают людей гнев, месть, злоба, зависть, желание разрушить все Твое. Выедены люди уже изнутри диаволом. Господи Боже! Последний земной раз — помоги им! Помоги — нам! Крепко забинтуй наши раны. И диаволу — крепко руки веревкой свяжи! И ноги! Чтобы шагнул он не шагнул! Ты, милосердный Господь наш, трудно Тебе, но возьми, Господи, возьми жизнь мою! Не нужна мне она без Тебя! Если нужна моя плоть, моя кровь для Тебя — бери их! Если душа моя понадобится тебе — возьми ее, да она и так Твоя! Ради одного святого имени Твоего я буду страдать, радоваться, жить. И умирать. Мне смерть не страшна с Тобой, Господи! Только восхити меня в Град Небесный, в Небесный Свой Иерусалим, а не низвергни в ужас огня адского, гееннского!

Так молилась Вера. На другой день она по-иному молилась, и так множество молитв говорила, как пела, она. Сестра Васса подслушивала ее молитвы, застывала, внимая, как ледяная.

Множество молитв, как множество песен, звучало из ее уст. Она уже знала много святых молитв, но все равно пела свои.

Когда Вера ложилась спать, холодной зимой — на жесткое свое ложе в келье Вассы, перед ее закрытыми глазами ходили ходуном, волновались водой под ветром старые, больные картины. Серый, мятый холодными вихрями Енисей; старые скособо-ченные пристани на самой кромке каменистых берегов; горы, поросшие ельником и кедром, мохнатые, грозные, темные, выставяющие небу угрюмые каменные лбы. Гольцы, подпирающие небо. Кружева, они из-под коклюшек все текли и текли, из-под высохших, слабых и прозрачных, как лед, старых пальцев Анны Власьевны. А потом кружева за окном восставали до неба, радостно и безумно мела кружевная метель и заметала все, что видно, и все невидимое глазу: латунь старой посуды, старое медное, позеленелое распятие на сморщенной старой груди матери, старую рубаху отца — мать подносила ее к лицу, лицом утыкалась в нее и плакала, и утирала себе щеки соленым ветхим, ситцевым комом. Жизнь на поверку оказывалась очень маленькой, такой маленькой, что не успеешь над ней и поплакать, а она исчезнет. Куда? Человека закопают. И она, Вера, стояла на кладбище. А душа? Куда уходит душа?

Где она гнездится после того, как переходит ледяной, каменный порог?

Не у Тебя ли, Господи, за пазухой?

«Я у Христа за пазухой, — шептала Вера себе, спев очередную молитву свою и поднимаясь с колен, — мне хорошо. Мне грех жаловаться». А родина все равно обнимала ее, тормозила, толкала ее в сердце холодным кулаком, и ломались железные, тюремные ребра от такой забытой, пылающей любви. Вера молилась и родине: в святой песне она плакала о ней.

И молитвы ее были похожи на песни; и песни ее были похожи на виденья.

«Нашу Веру-то, сестры, посещают виденья!» — нашептывала сестра Васса монахиням. Монахини головами качали. «А видения те от Бога? А то доподлинно известно? А как она сама отличается? Вот иеромонах Серафим Роуз...» И долго монахини обсуждали, что говорил про туманные виденья иеромонах Серафим

Роуз. Бес или ангел посылает их? О чем поет мать Вера ночами, перед тускло освещенным киотом, пока монахини коротко, тревожно забываются сном перед ранней, еще зимний Орион в зените веретеном кружит, многозвездной службой? А вы, сестры, слова-то разбираете? А что, если кто-то из нас будет за нею ходить да тайком записывать? Уж больно любопытно, что она там бормочет. Не бормочет, а поет, сестра!

А это одно и то же.

К матери Вере в монастырь стали приезжать из разных городов и весей не только простые люди, но славные-знаменитые. Когда ей сообщили, что один из великих земных владык прибыл в монастырь и хочет видеть ее, она смутилась, туже затянула на горле апостольник. «Ко мне приехал? А вы, часом, сестры, не ошиблись?»

Человек оказался как человек. Не лучше и не хуже других. Почему-то захотел вытереть ноги на пороге ее кельи, искал тряпку. Мать Вера низко поклонилась человеку. Пригласила сесть. «Это я должен вам предлагать сесть», – усмехнулся владыка. Он произнес это по-русски. Вера, прихрамывая, отошла от двери и села на табурет напротив. Келья обняла их обоих густой тишиной. Вера заговорила первой. Она спросила владыку: «Откуда вы так хорошо знаете русский язык?» Он улыбнулся. «Мой дед был родом из России. Он уехал в революцию. Ему исполнилось семнадцать лет в семнадцатом году. Он родился в Сибири, на Енисее». Кровь отлила от Вериного лица. «Где?» Владыка наморщил лоб. «В селе Под-те-со-во, кажется, это недалеко от Красноярска. Или я путаю?.. не знаю?..» Вера смотрела на свои пальцы, на руки на коленях, они дрожали.

Потом они говорили долго, много. Без переводчика. Вера слушала владыку и думала: «Нельзя человеку без любви». Он очень высоко вознесен, и он один; и это самое страшное, одиночество на вершине. Владыка хотел, чтобы Вера сказала ему, что его ждет. «Я не гадалка. Бог запрещает магию, ворожбу. Молитесь, если вы веруете! Если не веруете – молитесь, чтобы уверовать. У нас только два пути к Богу. Третьего нет». Владыка

хрустел пальцами. На безымянном у него поблескивал травяно-зеленый квадратный камень. Вера неотрывно глядела на перстень. У нее закружилась голова. Ей показалось, она с обрыва падает в холодный зимний Енисей, и снег и лед плывут под слабыми ногами. Она раскинула руки, как крылья, и стала падать с табурета. Владыка подхватил ее, когда она перестала видеть мир.

...очнулась оттого, что кто-то бил ее по щекам, и голос матушки Мисаилы донесся: «Очухалась!» Каплями отпоили, водой побрызгали, велели лечь и лежать, но Вера упрямо сидела на табурете, в сиденье крепко вцепилась, и только спрашивала: «А он где? Где?» Ей сказали: владыка ушел с Богом. Васса обняла Веру за шею и шепнула: «Он оставил тебе подарок! Вон, на столе коробочка! Мы — не открывали!» Ой, еще как открывали, любопытные, беззлобно думала Вера. Пошатываясь, она поднялась с табурета, подошла к столу и взяла в руки коробочку. Открыла. Из черноты ей в лицо ударили зеленые лучи.

Кольцо владыки с африканским изумрудом Вера носить не стала. Монахиня она, да и перстенок велик, мужской же, сваливается с любого ее тощего пальца. Она поднесла изумруд игуменье. Мать Мисаила надела перстень на указательный палец, он у нее был толстый, как сосиска. Впору игуменье оказалось кольцо.

Матушка Мисаила носила его с гордостью и тем, к кому благоволила, весело рассказывала: «Это мне сам великий владыка подарил!»

Вера тихо улыбалась.

Богомазы иерусалимские малевали иконы и в дар приносили матери Вере. «Сегодня новодел, а завтра Чудотворная», — думала Вера. В келье со стен глядели Одигитрия и Богородица Владимирская, святой Пантелеймон Целитель и святые страстотерпцы Царь Николай, Царица Александра и расстрелянные де-

ти их, четыре Великие Княжны и Цесаревич. Смиренно глядели большими, черными глазами-озерами, и круглые веки, и круглые брови, и круги морщин на высоком лбу, святая Екатерина, святая Варвара и святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. И над кроватью висела икона мучениц за Христа Веры, Надежды, Любви и святой их матери Софии. Вера взглядывала на тонко намалеванную превосходным мастером икону, глядела на тоненькую, тополиную фигурку девочки Веры — выше всех она была из сестер, старше всех, ей уже исполнилось двенадцать. А Надежде десять, а Любви — девять. Раскаленные решетки! Били плетями, рвали тело клещами! Бросали в котел с кипящей смолой! Тело подвержено боли, а душа крепче железа. Вера Римская, святая мученица за Христа. Истлели твои косточки! А ты, мать Вера, ты-то за кого жизнь отдашь? За Бога своего?

Подолгу стояла Вера на коленях, молясь перед иконами, ловя зрачками и щеками их золотой теплый свет, и души всех людей, за кого она возносила молитвы, толпились над ней, клубились перед ней, и она чувствовала себя среди них, как в небе, среди облаков. Такое было не всякий раз на молитве, но, когда приходило, она радовалась всем сердцем и понимала: земля и небо сплетены, и горе тому, кто над этим нагло и хитро смеется.

Она жалела презирающих и молилась за исполненных злобы.

Ее все спрашивали: не покинешь ли ты нас, мать Вера? не уедешь ли вдруг от нас? Нет, не уеду от вас, не покину вас, отвечала Вера, мне хорошо среди вас! А люди вокруг нее, ее бесчисленные гости, то умирали, то рождались, то женились, и опять к ней приходили, чтобы она их благословила и помолилась за них. Вместе с монахинями и матерью Мисаилой она сподобилась увидеть и Патриарха Иерусалимского Феофила; она заглянула близко в глаза Патриарха и увидела там боязнь, мрак, ночь, страх и два желания: желание, чтобы скорее все земное кончилось, и желание, чтобы оно никогда не кончалось.

Но ты же не канарейка, владыко, мысленно сказала она Патриарху, чтобы набросить на твою золотую клетку черный греческий платок! Патриарх Феофил благословил монахинь; каждая подходила под благословение с восторженным лицом, и только мать Вера подошла спокойно, чуть хромая, и губы ее были сурово сложены, и чуть раскосые, с сибиринкой, глаза в черных бессонных обводах, в окружьях вечной усталости, строго глядели над высокими восхолмьями скул. Патриарх вонзил в Веру острые лезвия зрачков и уже не вытаскивал. Вера положила правую руку на левую, по-русски сказала: «Благословите, владыко», — и согнула спину. Патриарх сказал ей что-то по-гречески, она не поняла. Рассердилась на себя. «Ни греческого, ни иврита, ни арабского, никакого другого языка не знаю, а еще в Иерусалиме живу! Лентяйка! Швабра сибирская!» Обругав себя мысленно, устыдилась. Прикоснулась к руке Патриарха губами. Ее губы были теплые, а рука Патриарха сухая, холодная, как осенняя, забытая в сарае вобла, в веснушках и в старческих смешных бородавках.

Каждую Пасху, в Страстную Субботу, в Храме Гроба Господня сам собою возжигался Благодатный Огонь. Вера видела это чудо. Видела, как раздевали Патриарха Феофила перед входом в Кувуклию, и он оставался в подризнике и епитрахили, беспомощнее младенца. Белый подризник горел снеговым сугробом, увалом над Енисеем, подернутым первым льдом. Во храме пахло медом и воском, и было так жарко, что с людей тек пот ручьями. Люди ждали чуда, и Вера тоже ждала чуда. Она закрывала глаза и пыталась мыслями переселиться туда, во тьму, внутрь Кувуклии, и глядеть глазами Патриарха, и щупать воздух и мраморную плиту Гроба Господня старыми трясущимися руками. «Что он ощущает? Страх? Я бы тоже боялась. Говорят, он скинул с церковного трона прежнего Патриарха Ириней. В церкви тоже войны. И тут война! Зачем? Разве сама церковь — не любовь? Война — в мире, а любовь — в Боге. И тут тоже люди друг друга топчут и бьют, и говорят, что во имя Бога. Где правда? Что есть правда? Вот он стоит

там во тьме на коленях, владыка. И сейчас по мраморной плите потекут голубые звезды. Синие зерна чудесного света. Горящие капли, слезы. Может, это Его слезы? Все Васса так и рассказала, а ей другие сестры, а им армянин архиерей, что входил в Кувуклию. Патриарх поднесет к катящимся Божиим слезам ватку, и она загорится, затлеет, а тут и пук свечей подставят. Что это?!» Вера озиралась. По всему храму, там и сям, вспыхивали красные, синие и золотые молнии. Люди начали кричать. Высоко поднимать свечи белого воска. От раскрытой двери Кувуклии быстро стали передавать горячие свечи, связки свечей, огонь, он не шел по храму — бежал, летел, его хватали в кулаки, держали на ладонях, бросали в народ, в толпу. Огонь! Благодатный! Единственный! «Вот, Вера, ты катилась-катилась, живая кибитка, по земле, да сюда, в Иерусалим, и докатилась. Как ты сподобилась?! А вот вышло же у тебя! Спасибо Анне Власьевне! Это я ее приказ исполнила. И надо же, Благодатный Огонь я вижу! И — в руке держу!» Она стояла, высоко поднимала пук свечей, а их, тонких и снежно-белых, в связке было ровно тридцать три, по числу лет Спасителя, и бешеный широкий огонь рвался вбок и вдаль, вырывался из ее руки, летел над головами во всю глотку кричащих прихожан, над радостным криком и над неслышным плачем, летел, рвался, обнимал лица и пальцы, гас и опять загорался, взрывался бессловесной яркой музыкой, эту музыку можно было видеть, не только слышать, и осязать, и даже целовать! Вера поднесла горящий пук свечей к лицу и окунула лицо в огонь. Водила огнем по щекам, по лбу, по подбородку, по зубам, блестящим в торжествующей широкой улыбке. Огонь не жег! Кажется, он даже пах — розой, нежным цветком, нет, диким шиповником! Вера смеялась во весь голос, гладила пламенем себе лицо и волосы. Держала над огнем ладонь. «Я ничего не чувствую! Никакой боли! Чудо! Огонь с небес! Из Небесного Града Иерусалима! Прямо оттуда! Там живет сейчас наш Господь! Господи! Спасибо Тебе! Ты — радость!» Люди кричали, молились и пели. Пе-

редавали друг другу огонь. Важно было передать друг другу огонь. Чтобы — жил. Чтобы — горел.

Вера оглядывалась: здесь, сейчас, при возжжении Благодатного Огня, никто не был одинок. Вот в длинном платье худая монахиня. На нее, Веру, похожа. Только много старше. Она кричит, как девчонка! Руки воздевает к темным, закопченным сводам храма! Медовое темное золото тучами надвигается на нее, время обращается в грозу и мечет молнии. Она пришла сюда одинокой, плачущей, ее бросил муж и у нее умер ребенок. Никто не мог ее утешить. Только Бог! Его огонь — Его поцелуй! Вот старуха, она ехала сюда издалека, из далекой северной страны. Седая северянка, она погибает от жары. Все дети ее убиты на войне. Она давно и бесповоротно одна! А тут она — со всеми. И не только со всеми! Она — с Огнем. Золото Божьего костра! И все вокруг собрались, и руки греют, и смеются, и обнимаются. Вот бы все на всей земле так — обнялись! Ну что же вы не обнимаетесь! Обнимитесь!

«Обнимитесь!» — хотелось крикнуть Вере, и она зажимала себе рот ладонью, чтобы не завопить на весь храм. Она вдруг увидела себя со стороны, стояла сама перед собой, там, по другую сторону призрачного стекла, и глядела на себя: вот она Вера, апостольник ее сполз с затылка, волосы висят вдоль щек, глаза горят безумием радости, а рядом с ней смуглый потный араб, на плечах у него мальчишка сидит и громко в бубен бьет, и хватает смуглого араба за мокрые кудрявые волосы, а по другую руку стоит дородная мадам, с ее толстого тела стекают блестящие атласные складки дорогого модного плаща, высокая могучая шея обкручена мутно-серыми жемчугами, жемчуга и в ушах, перламутр помады блестит, а из глаз соленым салютом сыплются, искрами разлетаются по щекам мелкие слезы: она плачет так щедро и неистово, что все лицо уже давно мокрое, и шелк плаща, и кружевной шарф, она просто заливается слезами, а за ней, в дымящейся тьме, мерцают лица, седые виски, золотые и синие белки сумасшедше-счастливых глаз, золотятся и летят волосы, огонь хватается их рыжей лапой, из мрака светят-

ся руки, вздрагивают, трепещут, это уж не руки, а крылья бабочки, крылья ангелов, — они все, эти люди, будто в зеркале стоят и смотрят на Веру, а Вера — на них и на себя. Никто не одинок! Все — со всеми и во всех!

Так почему же она одна стоит, против людей и себя самой, стоит и держит бешено горящую Пасхальную свечу, слепленную из многих тонких свеч, так слеплен мир из многих людей, живых и ушедших душ, и смотрит, смотрит в это тусклое зеркало мира, где все пьяны без вина от счастья жить и быть в Боге и с Богом, — зачем ей это созерцание, она хочет быть в хороводе, в хоре, быть внутри! Не отъединяться! Кричать — со всеми! Петь — со всеми!

Вера выше подняла сноп свечей Страстной Субботы, огонь из ее руки метнулся вверх, к темным, будто подземным росписям храмового потолка, улетал умалишенной золотой птицей, и все никак не мог улететь, все еще был с ней, реял над ней. Она задрала голову. Нельзя смотреться в зеркало. Все, кто ушел в зазеркалье, умерли. Она одна жива. Нет! Она не одна. Все эти люди — они здесь, по эту сторону зеркала. Они отражаются друг в друге. Они отражаются в Боге. А Небесный Огонь отражает их.

Люди прыгали, пели и кричали, а Вера медленно опускалась перед ними на колени.

Она все так же высоко держала руку с огнем. Не опускала.

И вот однажды с матерью Верой произошел случай, который, если бы с кем-то другим произошел, а не с нею, уже при жизни ставшей святой, и не был бы чем-то таким из ряда вон выходящим. А тут вышло так, что вмиг порушилось у Веры в жизни все, возведенное с таким трудом и старанием. Бог часто дает нам понять: не все, что разрушает, плохое; и не все, что разрушено, должно было сохраниться и жить.

Мать Вера стояла на молитве, когда к ней подошла сестра Васса. Васса старилась на глазах, из-под камилавки высунулись, прилипли ко лбу седые пряди.

Васса молилась вместе с Верой.

Потом, когда Вера и Васса положили все земные поклоны, Васса обернула к Вере лицо.

— Мать Вера, — дотронулась до ее локтя сестра Васса, — там к тебе... из России... женщина какая-то. Очень представительная. Одета так богато. Шуба у ней... из белых мехов... ну, сама увидишь... Ступай. Прими.

Вера прижала ладони к щекам. Так постояла немного, перевела после молитвы дух и, едва заметно хромя, пошла к дому, где жили монахини. День стоял солнечный, но холодный. Дул резкий северный ветер. Перед дверью в дом стояла высокая разряженная дама. Атласное платье мело монастырскую мостовую. На плечах дамы сиял в лучах солнца палантин из серебристых норок. Мех несчастных зверьков невыносимо искрился, резал глаза. Или это так сильно сверкало колье в меховом распахе, на груди у женщины? В теле, пышная, грудь высоко подымается, дышит часто и тяжело. Мать Вера заглянула в ее глаза и чуть не отшатнулась. В глазах роскошной дамы застыл черный ужас.

— Здравствуйте, — спокойно поклонилась Вера, — Господь с вами! Издалека к нам! Чаем вас напоили? Накормили?

— Да ну его, чай! — Голос у дамы оказался внезапно звучным, заполнил собой все солнечное пространство, и, казалось, голос этот услышали даже звонари на колокольне. — И к чему еда! Это все чепуха! Главное, я до вас добралась. Вы мне важнее всего! Я к вам — всю жизнь добиралась! И вот, получилось!

От голоса царственной дамы звенело и дрожало все вокруг. Ветви деревьев бились. Камни трескались. Вере почудилось — от вибрации голоса у ее ног вспыхнул пламенем пук сухой травы.

— Какой голос у вас...

— Я певица! — сказала дама и улыбнулась. Улыбка у нее было вымученная, страдальческая; она будто плакала и так

гримасничала. Жирно, щедро крашенные губы змеино кривились.

— Понятно...

— Ничего вам не понятно!

— Вы в опере поете? — Вера почтительно наклонила голову в черном клобуке.

— На эстраде! — вскинула голову дама.

Тяжелый пучок смоляных волос оттягивал ей высокую полную шею. Шею обхватывала низка крупного жемчуга. Вера глядела на жемчужный тусклый перламутр и думала: «Какая красавица, эстрадная певица, и любит ее народ, слушает».

— Может быть, я о вас знаю. Как вас зовут?

— Зиновия.

— Это эстрадный псевдоним?

— Это мое имя, данное мне при рождении, увы!

— Почему увы? — Вера улыбнулась. — Очень хорошее имя. Оно означает знаете что? Богоугодную жизнь ведущая. Вот вы, вы... вы ведете богоугодную жизнь?

Покосилась на ее белый норковый палантин.

— Я? — Певица хмыкнула. — Богоугодную?! Да я именно за богоугодной жизнью — сюда приехала! Знали бы вы, какую я жизнь... — Не могла договорить. — Веду...

Вера тихо взяла певицу за руку.

— Идемте ко мне в келью. Вы мне все расскажете.

Сестра Васса вскипятила им чаю. Они обе сидели на низких табуретах у стола. Стоял Великий пост, и в вазе посреди стола лежали ржаные сухари — угощение к чаю. Васса выставила лимонное варенье в большой розетке. Певица беззастенчиво запустила чайную ложку в розетку, ела варенье из розетки, облизывалась, нахваливала. Она и правда была очень голодна. Варенье исчезло. Зиновия налила в розетку чаю, размешала в нем остатки варенья и выпила этот лимонный морс.

— Ох, — перевела дух, — спасибо...

— Сестра Васса, а нет ли у нас чего посущественней?

— Рыбу нельзя, — загибала пальцы Васса, — блины на яйцах нельзя, сметану ни-ни, сдобные ватрушки нельзя, сыр нельзя, икру нельзя, мясо...

— Не о мясе речь, — поморщилась Вера, — ну, хоть постной лепешечки, той, что печет мать Ульяна! Нигде не завалилась? И картошечки к ней горячей, и грибов, тех, что из Кесарии привезли. Так! вижу! грибы в целости. Открывай, сестра, банку!

— О-о, — вскрикивала певица, делая отрицающий жест белой пухлой рукой, — не надо, ну что вы, зачем так хлопотать из-за меня!

— А вы не поститесь? Простите, я не спросила. Или поститесь все же?

— Мне священник сказал, — покраснела до корней волос певица, — что у меня работа тяжелая... и я должна все время восполнять потерю энергии... я же пою, пою... дни напролет на сцене... а то и ночи, знаете, на корпоративах...

— На чем, на чем? — Пришел Верин черед краснеть.

— А, это, знаете, такие закрытые концерты... ну, в фирмах во всяких... приглашают... дорого платят...

Сестра Васса, повздыхав, вытащила из скрипучей тумбочки бутылку тель-авивского темного коньяка и маленькую, с наперсток, хрустальную рюмочку.

После горячей вареной картошки с солеными грибами и трех чашек чаю с лимонным вареньем, а потом с абрикосовым, певица раздумянулась, как расписная матрешка. Алые щеки ее залоснились, заблестели, словно намазанные кремом. Она подолом атласного платья вытерла пот со лба. Вера уснула Вассу безмолвным кивком. Васса, подобрав рясу, выкатилась за дверь. Вера украдкой поглядела на часы. В их распоржении было полтора часа, от силы два — до начала вечера.

— Ну, рассказывайте...

Вера не впервые принимала исповедь.

Зиновия глубоко вдохнула, ее ребра расширились, бока выпятились под шелковым платьем, вся она стала похожа на обтянутый шелком бочонок. Потом выдохнула. И внезапно стала маленькой, мелкой, — жалкой. Будто воздух весь из нее вышел, навек.

Она заговорила так тихо, что Вера не расслышала первых слов.

— ...хороший муж. Правда, он младше меня на десять лет!.. но это же ничего, есть и больше разница, а какая разница?.. лишь бы вдвоем было хорошо, ведь да?.. И жили мы хорошо. Не пожалуюсь. Отдыхать на море летали, в Турцию, в Таиланд. На остров Бали летали! В океане купались... Сына родили. — Певица судорожно сглотнула. — Сына... Такого славного...

Прижала себе ладонь ко рту. Так сидела. Молчала.

Вера не торопила ее.

— И что же? Да самое то... самое оно... изменил он мне. С молоденькой! С совсем сикухой. Со шмакодявкой такой... ой, простите, я ругаюсь... но я не могу... Вы бы ее видели! Килька обглоданная, хамса! Выдерга! И что он в ней нашел! По сравнению со мной... — Певица обвела себя руками, выхваляясь статью. — Ну и... охомутала она его... по полной программе... и он из дома ушел. Уехал! С одним чемоданчиком. Сын так плакал! В голос ревел! Сын... А я... сначала в отместку хотела... любовников заводила... всяких... с кем только я не... простите... я знаю, в монастыре такие речи... но это чтобы вы знали, видели, что я такая жуткая, ужасная... что я — просто дрянь... дрянь! Настоящая! И мне грош цена! А все вокруг кричат: божественная!.. великолепная!.. и все такое прочее. У меня эти крики — вот уже где!

Резанула себя рукой по глотке. Вера поймала ее руку на лету.

— Никогда так не показывайте. То, что вы на себе показали, запомнит диавол. И сделает с вами точно так.

— Дьявол! — выкрикнула певица. Ее щеки уже пылали малиново, страшно. Пот тек по вискам. — Да что вы тут понимаете

в дьяволе! — Она была как пьяная, хоть не выпила ни капли из мирно стоявшей на столе бутылки. — Дьявол не где-то там за углом! Дьявол — он вот, вот... вот он где... — Постучала себя кулаком по груди. — И делает он с нами, что хочет... уж поверьте мне. И, может, он-то как раз и послал мне другого человека!

— Другого?..

— Да! Другого! Прекрасного! Превосходного! Вдвое меня старше! Благородного как я не знаю кто! И человек этот — меня полюбил как я не знаю кого! А человек этот — женат! И жена у него — не выдержга! Нет! Жена у него — первый сорт! А может, и высший! Лучше меня в сто, в тыщу раз! Красотка, умнящая, добрейшая, добрее добрых... нежная, заботливая, так движется, сама грация... прямо как Богородица с иконы сошла и ожила — вот какая... И дети у них! Целых трое! Девочки! Ангелочки! Вера-Надежда-Любовь! Кроме шуток! А тут я. И мужик этот как спятил на мне! Все, кричит, всех от себя отсеку, всех выгоню, ото всех уберу, а с тобой — буду! Только с тобой!

Вера опустила голову и не смотрела на певицу. Она смотрела себе в колени: там лежали ее руки, утружденные, с плоскими, как деревянными ладонями, с шершавою тыльной стороной, рабские, сильные, усталые, — недвижные.

— А сын мой плачет. Кричит: мама, мама, где папа, я так люблю папу! Где он, вернись к нему! Или пусть он вернется к нам! Сделай так, чтобы он вернулся! Найди его! Или я из дома уйду и сам его найду! Давай, ищи! Так кричит день за днем. И я не выдержала. Я ему взяла да и крикнула в ответ: нет! Никогда я не буду твоего отца искать! И не нужен он мне! Он меня обманул! Он предал меня! А значит, и тебя! Он для меня — не существует! И для тебя уже не существует! Нет его, нет, понимаешь, нет!.. Я так кричала сыну... моему сыну... сыну...

Зиновия опять заклеила рот рукой. Вера терпеливо ждала.

— И вот когда я крикнула в лицо моему мальчику: нет! никогда! — он пошел и... и...

Вера уже поняла, что случилось. Она подняла свою тяжелую теплую руку и положила ее на колено певицы.

— И утопился... в реке...

— Царствие Небесное, — еле слышно сказала Вера и перекрестилась.

Певица так и вскинулась.

— Царствие Небесное — самоубийце?! — Глаза ее бешенством горели. — Царствие, бормочете?! Небесное?! Да, может быть, он и правда не небесах сейчас! А в церкви же нельзя молиться за самоубийц! Нельзя им — панихиду служить! Вообще преступники они! И на кладбище их — не хоронят! А я кладбищенскому сторожу заплатила черт знает сколько денег! Чтобы он позволил мне моего сыночка — в ограде кладбища похоронить, а не за оградой! Все карманы вывернула! Все кошельки на снег перед ним побросала! Позволил! Позволил...

Солнце клонилось к закату. По стенам кельи ходили красные пятна печального, вечернего света.

— Если бы вы видели, какой мальчик мой был, когда его вынули из воды! Синий... распухший... Нет, я не могла посмотреть ему в лицо! Я смотрела вокруг лица. Около. В само лицо — не могла. Это был не он. А правда! может, это был не он! не Тимошка мой! может, все они ошиблись!.. Но батюшка в церкви... вот он — не клюнул на деньги... он — оттолкнул мою руку... он сказал, печально так: ваш сын сам выбрал наложить на себя руки, и он сам убил свою душу живую, и это даже не самоубийство, это — убийство... А я кричала: да он же ребенок, ребенок же он еще!.. А батюшка мне: да ведь не несмысленныш же, уж отрок, двенадцать лет... Ему было всего двенадцать лет... Почему батюшка отказал мне в отпевании?! Почему он такой жестокий?! Может, он — от дьявола, а не от Бога?! А еще в церкви стоит, среди икон... Я так орала в церкви... что меня вывели под руки и еле усадили в машину... А потом, когда меня привезли домой, я и осознала: это я, я сама погубила моего сына, я, я одна...

— Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего Тимофея: еще возможно есть, помилуй. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая

воля Твоя, — прошептала мать Вера и медленно перекрестилась.

— И вот... И вот... — Пот густо тек по красному, как из бани, лицу певицы. — Я решила, что сейчас мне уже можно все... И я... я увела моего того хорошего человека из семьи... увела!.. но он не женился на мне. Мы поехали по курортам... он снял нам шикарное жилье... мы там просто бесились на кровати... мы спали где угодно, когда угодно... мы просто ели, съедали друг друга, мы друг для друга были самой шикарной жратвой... и я, я видела это, чувствовала, что я для него — не человек уже, нет... а жратва... и он для меня тоже... И он вернулся к жене. Но все уж было открыто! Все было наружу, наизнанку, все наши потроха! И он сказал жене: я буду с тобой, но и с ней тоже! И началась моя ужасная жизнь. Мать Вера! да! ужасная!

Она в первый раз назвала Веру — «мать Вера». И Вера вздрогнула.

— В чем был этот ужас?

— Он... утопил меня. Теперь — меня!.. я утонула...

— В чем? где?

— В ужасе мира, мать Вера!

Вера глядела молча. Она решила ничего не спрашивать.

— В политике, будь она проклята! В вооружении, да, в горах оружия! В близкой войне! Вернее, в защите от нее, от ее призрака, он так думал, что он нас — от этого безглазого призрака — защищает! Он у меня был — политик. Был, почему был... Да он и есть! Такой, знаете, знаменитый. На весь мир гремит! Погремушка чертова! Я стала летать с ним на всякие его саммиты. На всякие симпозиумы, встречи эти отвратные! в зале сидела и наблюдала, как он — договоры заключает! Или как на трибуну выходит, к микрофону рот приближает... и говорит. Говорит, говорит!.. говорит... Он говорит... а я не слышу его. Только кровь в висках бьется: бум! бум! бум! — страшно так. Голова вот-вот взорвется. И земля вместе со мной. Так все страшно, и мой человек, знаменитый, умный очень, такой умный, что страшно, говорит об очень, очень страшных вещах. Так, что ты не хочешь,

а понимаешь: нам скоро всем хана. Ой, простите! Здесь нельзя так выражаться. Я — нечестивая!

Зиновия закрыла себе рот рукой и даже, во зле и досаде на саму себя, куснула себя за руку.

— Окунулась я в кромешный ужас. Поняла одно: человечество идет к самоубийству. Мальчик мой убил себя. Жить не захотел. Это что! Это — может быть, и хорошо... что он — раньше всеобщего ужаса — с жизнью расстался... А люди! Все, кто на земле живет! Мы же все как спятили! Семимильными шагами — к смерти идем. Бежим! Задыхаемся! Опоздать боимся! Слушаю моего любимого и понимаю: скоро, не успеем оглянуться, грянет великое сражение. И все погибнут! Все хотят войны! Изголодались по ней, что ли? Не могут без нее?! Так и тянутся к ней. Как к мамке родной! Да ведь она же смерть, хотелось заорать мне на весь зал этого саммита какого-нибудь жуткого, где вроде бы люди в зале восседают, а мне кажется — черти! Рожи у них такие, чертявые. И — рога над теменем, и пятачки свинячьи! Вот-вот захрюкают, все, дружно, и помчатся к гибели, к краю пропасти! И все туда, скопом, рухнут, визжа. И вот все думаю: так зачем же тогда Бог? Ох! Где же тут Бог-то, в нашей жизни? Маленькая она, крошечная! Не успеешь родиться и завопить: уа-а-а-а! — как надо руки складывать на груди и в гроб ложиться. Вам легче, святым! Вы святые. Вы — помолитесь, у вас и душа чиста, и летит она, как птица. А у меня — только на моих концертах летит. Когда я на сцене стою, работаю. Тогда я все забываю. И сына на берегу... на песке... с распухшим лицом. И любовные, подлые крики мои в чужих постелях! И человека моего, этого, блестящего, знаменитого! Ну да, нас с ним папарацци тыщу раз уже подловили. И меня с ним рядом — тыщу раз засняли! Только мне от этого ни жарко, ни холодно! Печатайте фотографии наши, дурацкие таблоиды! Я уже и с журналистами судилась. И выигрывала процессы! Да потому что меня люди любят! А они... кто такие?!

— Они тоже люди, — тихо сказала Вера.

— Люди! Это — нелюди! Они плохие. Подлые! Мне говорят: молитесь за врагов ваших! Знаю я все эти поучения. Я — не могу за них молиться! Враг — это враг!

— Зачем вы приехали сюда? Ко мне?

Верин голос шелестел тише шуршанья салфетки.

Зиновия вытерла мокрое лицо ладонями.

— Я приехала сюда, чтобы... здесь поселиться! Уйти в монастырь. Я выбрала — к вам! Мне рассказали о вас. Я поняла: вот — святая!

— Я не святая, — шептала Вера.

— Не спорьте! Вы — святая! К вам — полмира идет! Я хочу уйти к вам! Сюда! От мира. В нем одни страдания. Возьмите меня! Иначе руки на себя наложу.

Вера выслушала эти слова и встала из-за стола.

— Спойте мне.

— Что-о-о-о?!

— Спойте мне, — твердо, приказом, а не просьбой, сказала Вера.

Зиновия тоже встала. Две женщины стояли рядом. Обе высокого роста, у Веры более широкие и угловатые, твердые плечи. Певица поражала княжьей роскошью холеного, сдобного тела. Мехаовой палантин сполз с плеч на пол. Она переступила через него, через мертвого зверя. Шелк платья заискрился, водяно, речно переливался в тусклом ягодном свете лампад. Солнце уже закатилось, окна густо синели, Вера не пошла ни какую вечернюю Литургию, и это был грех, она еще не успела осознать его. Певица вдохнула воздух глубоко и судорожно, как будто ее, утопленницу, вытащили из темной глубины. И запела — так полнокровно, ясно, ярко и нежно, что Вера вся покрылась гусиной кожей, словно, голая, вышла из воды на широкий холодный ветер восторга.

— Спи-усни... Спи-усни... Гаснут в небесах огни... Спи... От сена запах пряный, в яслях дух стоит медвяный, вол ушами поведет... коза травку пожует... В небе синяя звезда так красива, молода... Не состарится вовек... Снег идет, пушистый снег... Все

поля-то замело — а в яслях у нас тепло... Подарил заморский царь тебе яшму и янтарь, сладкий рыжий апельсин, златокованный кувшин...

Затаив дыхание, Вера слушала; она понимала, что Зиновия поет колыбельную.

Может, она сама ее написала; скорей всего, было так. Она пела с закрытыми глазами. На ее лицо возшла улыбка. Она и правда походила сейчас на икону Божией Матери Умиление — на любимую икону преподобного Серафима Саровского. Вера любовалась ею. Раскрылись пространства и просторы, сместились густые и прозрачные слои воздуха. Перемешались тепло и мороз. Тихо шел с небес снег, в яслях стояли коровы и козы, длинными сливовыми глазами глядели на Того, Кто родился. Мать держала ребенка на руках. Развернула пеленки. Любовно глядела на маленькое нежное тельце, еще живое тело родного человека. Все — всем — так — не могут быть родные. А что есть чужой? Родной? Вот вырастет этот ребенок. И скажет всем: вы все родные друг другу. Зачем Он это скажет? Ведь Его все равно никто не услышит.

А услышат — потом.

Глаза матери сияли. Светились двумя ночными солнцами. Потом она запеленала младенца, прижала его к груди и закрыла глаза.

— Спи, сынок, спи-усни... Заметет все наши дни... Будем мы с тобой ходить, шубы беличьи носить, будем окуня ловить — во льду прорубь ломом бить... Будешь добрый и большой, с чистой, ясною душой... Буду на тебя глядеть, тихо плакать и стареть... Спи-спи... Спи, сынок... Путь заснеженный далек... Спи-усни... Спи-усни... Мы с тобой сейчас одни... Мы с тобой одни навек... Спи... Снег...

Зиновия выдохнула последнее слово так нежно, будто ловила малую снежинку ладонью.

Она и вправду протянула ладонь вперед.

Синее вино вечера лилось в монастырское окно.

— Снег...

Зиновия сгребла в кулак на груди слепящее колье.

— А давайте вместе споем, мать Вера?

Вера ничего не ответила. Певица вздохнула, и Вера тоже. Певица запела, и Вера вместе с ней.

— Черный во-о-орон... что ж ты выешься-а-а-а... над моею головой!.. Ты добычи не добьешься... черный во-о-о-орон... я не тво-о-о-ой!

Они вместе пели в келье русские песни, и Вера плакала, не замечая, что плачет.

А за дверью кельи стояла сестра Васса, закрыв лицо ладонями.

Зиновию взяли в монастырь трудницей. Мать игуменя давала ей разнообразные послушания, и певица не гнушалась никакой работой. Сажать лук и морковь, полоть, варить на кухне в огромном котле постные щи, солить рыбу, мыть кельи, подметать каменные плиты храмов, шить, штопать — Зиновия все умела, всякое дело горело у нее в руках. А на клиросе ее голос летел надо всеми, ярче и звонче всех прорезал солнечную пустоту. Регентша сделала ей замечание: «Вы слишком громко поете, сестра Зиновия, а надо бы себя смирить, смирить гордыню. Пойте не соло, а в хоре! Под других подлаживайтесь! Не выпячивайтесь!» Зиновия усмехнулась. «Хорошо. Выпячиваться не буду больше».

Голос ее угас, и скучно стало, печально и темно. Сестры попросили регентшу: «А вы сестре Зиновии — соло поручайте!» В литургиях Чеснокова и Шведова она пела партии сопрано. Радость звенела снова. Зиновия пела как ангел. Сестры и матушки плакали, крестясь, зачарованно слушая залетного ангела. Мать Вера стояла всю службу, прямо держа тощую спину. Сутулость ей была неведома. Никто из монахинь не знал, сколько ей лет.

Однажды Вера, преодолев себя, мучительно стесняясь и коря себя за это смущение, влезла на узкие скамьи клироса, чтобы

петь в хоре вместе со всеми. Регентша окинула мать Веру строгим взглядом: «Кажется, у вас хорошее центральное меццо! Будете с сестрой Зиновией петь в „Страстях по Матфею“!» Недавно в монастырь привезли ноты новомодной оратории, из самой Москвы. Отец Иларион музыку написал, на последние стихи Евангелия от Матфея. Монахини быстро разучили партии. Не хватало мужских голосов; собрали всех сестер, кто мог брать низкие ноты, и вместо мужчин на клирос поставили. Хор укрупнился. Двух солистов все же пришлось пригласить — с Русского Подворья. Тенор пел, раскидывая руки, будто хотел всех обнять. Его розовое, совсем детское лицо обнимала шелковая русая борода. Баритон больше смахивал на баса профундо: грузный, животастый, когда ноту низкую брал, весь гудел как колокол.

Вера и Зиновия пели вместе, сливая голоса. Пели отдельно. Вера нотной грамоте не обучена была, запомнила мелодии с голоса, как ей регентша напела. Регентша отругала ее: «Мать Вера, надо бы уж к вашему возрасту знать ноты! Особенно если так поете!» Вера смиренно возвела на регентшу большие на худом скуластом лице, скорбные византийские глаза. «Как?» — «А так! Сердце вынимаете, вот как!» Вера склонила голову и коснулась подбородком ключиц. «Сестра Гликерия, вы слишком добры ко мне».

Столичную музыку отца Илариона пели в первые недели Великого поста. Храм был наводнен монахинями во всем черном, великопостном. Сквозь скорбь летели золотые копы боли и любви. Зиновия пела, закрыв глаза. Вера пела и, чуть поворачивая голову, украдкой смотрела на Зиновию. В своем вдохновении Зиновия была прекрасна, лик ее над ночной тьмой рясы светился ангельским светом. Она стояла на певчей скамье нереальная, будто не из плоти и крови соткана, а из облачных кружев. Обе женщины сливали голоса, и голоса эти текли, летели над скорбящими людьми, умирали и снова вспыхивали, оживали, давали живым надежду, убеждали: бессмертие есть, зря мы в него не верим.

После оратории монахини сидели в трапезной, прихлебывали обжигающий чай. Вера не могла даже чай пить. Над нею

солнцем сиял голос Зиновии. Певица сидела тут же, рядом, на длинной, во всю длину стола, скамье; она двумя пальчиками и отставив мизинчик, как в старинные времена купчиха, брала из фруктошницы абрикос, разламывала его, вынимала коричневую, как коровий глаз, косточку и подносила солнечную ягоду ко рту. За время жизни в монастыре Зиновия заметно похудела; шикарный норковый палантин был запрятан в дальний угол шкафа в ее келье.

— Спасибо тебе за музыку, сестра Зиновия, — сказала Вера.

— Почему ты ничего не ешь, мать Вера? — спросила Зиновия.

— Я не хочу. Я — музыкой сыта.

Вера улыбнулась Зиновии и поймала в ее глазах опасную вспышку.

— Мать Вера. Слушай! Нам надо поговорить.

Вера наклонила голову.

— Идем.

Она поет. Она просто поет.
У нее сильный голос. Она певчий плот.
Она певучий корабль. Она пьяный матрос.
Она горит всеми красками радужных слез.

Она только голос. Она только свет.
Она тонкий волос и острый стилет.
Она только небо, странно, оно звучит,
И те, кто в нем не был, плачут навзрыд.

Она просто песня. И больше ничего.
Она просто вестник. Питье и ество.
Голос трепещет. Голос чудит.
Голос, он вещий. Он глазами глядит.

Песня! ты лейся. Песня, лети.
...кровью упейся, встань на пути,
Встань на угли босою пятой,
Ты, убийца песни простой.

Это времен неуклонный ход.
Это на колени встает народ.
Это с колен встает народ.
...она поет. Она просто поет.

— Я не могу. Я больше не могу! Я хочу уйти на тот свет,
Вера.

— Стой. Погоди. Ты не имеешь права так говорить. Побойся
Бога!

— Да что мне Его бояться! Я теперь ничего не боюсь. Я готова
Ему служить. Но только пока у меня есть силы жить. Вера! Они у меня заканчиваются. Вера! Я больше не могу жить. Я —
хочу — уйти — за ним!

Вера ловила ее летающие, отчаянные руки. Слезы лились по
лицу Зиновии на подбородок ей, за ворот, по груди, рясу ей солью
вымачивали.

— Я тебя понимаю. Ты мать! И твоего ребенка нет на свете.
И ты хочешь к нему, туда. Но ты знаешь, где он теперь?

— Знаю! Все вранье, что он грешник! Он — ангел! И он —
среди ангелов, на небесах! И я уйду к нему! Небеса меня примут.
— Она дрожала. — Еще как примут! Я измучилась, Вера. Душа
моя заржавела, почернела! Нет мне покоя! Я молюсь, я его зову,
покой, а он... смеется надо мной! И все люди надо мной смеются.
Мне кажется, что они все знают обо мне! И в меня летят усмешки...
ухмылки! Еще немного, и плевки полетят! Я — презренная! Я — шваль. Я...

С губ Зиновии сорвалось скверное слово, она произнесла его
беззвучно, но Вера прочитала его по губам.

— Тебя все любят в монастыре, Зиновия.

— Нет! Не все. Все — никогда не могут любить одного человека! Враги есть у всех. И ненавистники. И у меня тоже. Знаешь, когда я в миру жила, сколько у меня врагов было?! О, не счесть! Меня просто заклевали. И голос хриплый! И одеваюсь как ведьма! И дура-то, двух слов связать не умею! Сын еще не родился — бесплодная, пустой кувшин, сухое дерево! Сын родился — а что только один, себя слишком любит, дети — обуза! Ты даже не представляешь, как меня убивали! А видишь, я жива!

— И будешь жить.

— Нет! Не буду! Устала!

Руки Зиновии враз обессилели, повисли вдоль тела. Она села на табурет и замолчала — крепко, надолго.

Вера хотела говорить. Но тоже молчала. А что тут скажешь? Все и так понятно. Человек устал жить. Душа устала. Хочет вон из тела, на волю.

— Ты права не имеешь, — прошептала Вера. — Жизнь дал Бог, Он у тебя ее и отнимет.

— Я — Ему — помогу!

Вера молчала. Теребила концы угольно-черного апостольника.

— Повторяй за мной, Зиновия. Боже, очисти мя грешную, яко николиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя... да неосужденно отверзу уста моя недостойная... и восхвалю имя Твое святое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Она искося, из-под надвинутого на лоб апостольника, взглянула на Зиновию. Поразилась земляной черноте ее лица. Будто бы уже из гроба своего смотрела на нее Зиновия, и губы певицы искривились в усмешке — позорной, презрительной, над самою собой.

— Ты думаешь, это мне поможет?

— Зачем же ты... тогда... — Вера искала глазами ее глаза. — Здесь?

— Я думала спастись. Правда. Не веришь?

— Верю.

— А теперь я не верю. Я себя убью!

Вера встала на колени и стала молиться, не глядя на Зиновию.

Зиновия будто вспыхнула огнем. Сорвала с себя платок. Волосы ее разметались. Глаза горели дико, светло. Она шагнула к Вере и схватила ее за руку. За правую, коей Вера крестилась.

— Уйдем отсюда! Вместе уйдем! В мир! Ну его, монастырь этот твой, мертвечина тут! Поешь ты хорошо! Будем петь вместе! Нам еще повезет! Бросай все мертвое! Живи! Лови счастье! Лови жизнь! Ртом лови, ноздрями, животом, всем! Это же чудо, жизнь! Жаль только, такая коротенькая!

Вера, стоя на коленях, глядела на Зиновию снизу вверх.

Ей казалось: волосы Зиновии шевелятся, как щупальца черного осьминога.

— Ты так поешь, Вера... За сердце твой голос хватает... Я рядом с тобой — ноль, зеро... Сбежим! Уедем! Ты увидишь Россию! Ты тут — высохла без нее! Ну! Решайся! В воздухе-то война висит! Ветер войной пахнет! Хоть перед гибелью общей — Родину увидишь! Ну! Ну скажи хоть слово, ты, умоленная! Да, ты святая! А я — грешница, пробы на мне негде ставить! И ничего у меня не получилось с твоим монастырем! Ну, не молчи же, ну!..

Вера, не вставая с колен, тихо сказала:

— Я поеду с тобой. Но не из-за себя. А из-за тебя. Потому что ты страдаешь. Чтобы ты руки на себя не наложила. А то на моей душе грех твой будет. Я тебя спасу. Я буду с тобой, сколько понадобится.

И при этих словах встала с холодного пола кельи так легко, будто ветер ее, высохшую былинку, поднял и понес над землей.

Вера прекрасно понимала: она берет на душу тягчайший грех. Оставляет насельниц, бросает дело своей светлой святости. Покидает ту жизнь, которая стала ей смыслом последним. И бежит. Куда? В полную неизвестность. Во тьму.

«Значит, так надо. Мне Господь так велит. Я должна чужую, живую душу спасти. Нет чужих душ. Все — Боговы. И меня Он избрал, чтобы я — ее — спасла и сохранила. Для Тебя, Господи».

У нее не было времени даже помолиться. Зиновия вся тряслась, страшно боялась, что Вера передумает. Вместо чемоданов в путь были собраны котомки: так легче было обмануть бдительность сестер, сделать вид, что в город пошли, в мир, в шумный Иерусалим — на рынок, овощи к трапезе прикупить, или милостыню бедным раздавать, или птиц кормить. Вера толкала тряпки в котомку и вспоминала свой ранец. Где он сейчас? А может, взять его, все больше в него тряпья и провизии влезет. Еле нашла ранец — на антресолях, среди старых плоских, как лодки, ящиков, они горько пахли скипидаром, в них когда-то в монастырь привезли иконы кисти новых молодых богомазов из монастыря святой Екатерины, что в Египте, на горе Синай. Утолкала в ранец котомку. Сидела на краю койки, положив локти на расставленные широко, под рясой, колени, и только все повторяла шепотом: «Прости, Господи, прости, Господи».

Вспомнила, как ушла из дома. Где-то далеко, на дне ранца, ключ от ее красноярской квартиры. От прежней жизни. Она так сильно захотела опять увидеть Сибирь и Енисей, что у нее глотку перехватило, и какое-то время она не могла дышать. Потом раздышалась. Увидеть Енисей! И как он курится, могучий, бешеный и зеленый, как брюхо безумной стрекозы, посреди января. Этот снег, снег. Мощные эти снега, синюю арабскую ли, славянскую ли вязь куржака, и густо, щеткой, свисает он со стрех и с ночных проводов; тоска, зима, и щеки людей красны, и она идет по зиме, а валенки по снегу хрустят, и по радио передали, сегодня утром мороз минус сорок семь, и водителей предупредили, чтобы далеко по трассе не заезжали, и по проселочным дорогам не мотались, если мотор заглохнет, замерзнут в два счета, через полчаса, через час. Мир снега! Мир — снегу! Сибирь снежная, и нежная и злая, а рядом горы Саяны, медвежьи спины горбят, топорщится зеленая, колючая таежная шерсть, на морозе ветви лязгают звонче железа, и звезды в полночь,

осыпаясь с зенита в сугробы, железными армейскими пуговицами, кровавыми орденами звенят. Господи! Сибирь! Неужели она перед смертью еще раз увидит тебя!

Перед какою смертью? Вера забыла, сколько времени живет на земле, а тут вдруг сила жизни накатила и закрутила, вспыхнула внутри Северным Сияньем, поборола, смолола, — и искрами, горячей половой стала бедная плоть, и разлеталась по ветру памяти, а память, как назло, самые лакомые кусочки подсовывала. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Есть только Бог! И только родина. Она — в памяти! А память не выбьешь из нее никакой пыткой. Не выжжешь. Она любит родину! И любила всегда. А Иерусалим? Это тоже родина: ее духа. «Как же это у Господа сказано, в Писании? Не скрывайте себе сокровищ на земли, идеже червь и тля тлит, и идеже татие подкопывают и крадут: скрывайте же себе сокровище на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже татие не подкопывают, ни крадут: идеже бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. А где же сокровище мое, Господи? Ответы! Я думала, вот тут, в Иерусалиме, в этом монастыре дивном, он же мой дом стал, и полюбила я его, как дом родной. И вот в дорогу я собираюсь опять. Значит ли это, Господи, что суждена мне в жизни дорога? И что на той дороге ждет меня? Не знаю ничего про будущее, как любой человек. Но пускаюсь в путь, потому что рядом со мной человек живой так страдает, что с жизнью расстаться хочет. А чтобы не расстаться, меня с собою в дорогу зовет. Значит, все правильно, Господи, у Тебя! Смиренно принимаю волю Твою».

Синяя Сибирь горела и переливалась перед нею, как внутренность перловицы, мохнатым куржаком и морозными хвощами на стеклах окон магазинов, бань, школ, пельменных, пивных, кинотеатров, тюрем, каменных домов и чернобревенных приземистых изб, она вспыхивала слепящими перекатами и смертными порогами Енисея, он рассыпал перед ней, нищей, все свои изумруды и бериллы, Сибирь роскошно играла всеми хвойными гранями, всеми живыми шкурами живых соболей и ондатр, хорьков и горностаев, она глядела на Веру глазами людей и зве-

рей, глазами рек и озер, ледоходами и сумасшедшими ледоходами, когда шум расколотого льда гудом и гулом отдается в голове, и огнем весны густо и страшно занимается голая душа; и такую тоску по Сибири, по родине, ощутила она, что не могла сдержатъ длинного стопа — и повалилась на пол перед ранцем, и обняла ранец, как дитя, как девчонка, только прибела из школы, а рыдает, потому что двойку заработала, двойку за поведение, и никто эту оценку не исправит, никто, никогда. И мать не накажет; мать давно умерла.

Она до боли в сердце захотела увидеть могилу матери. Как там покинутая могила? Кто ухаживает за ней? Да никто. Человек ложится в землю, и память о нем стирает с земли сырой порывистый ветер. Ветер наносит метель, снег летит и задепляет лицо, ты не можешь смотреть вперед, под напором ветра и снега закрываешь глаза и глядишь внутрь себя. А там, внутри, — только боль. Оттого, что уже ничего не поправить.

Могила тоже может стать сиротой, как живой человек.

...и стоит в снегах, и лежит у земли на руках...

...и плачет... под солнцем горячим...

...и раскинуты руки креста... внизу — пустота... вверху — пустота...

И могила Анны Власьевны захотела она увидеть. Той женщины, подруги, кружевницы, что ушла под нежный перестук коклюшек и завещала ей прийти сюда и стать той, кем она стала. А может, Анна Власьева была прозорливой старухой? И видела будущее? Господи, как люди могут видеть будущее? Ведь будущее — это тайна. Разве возможно ножом любой мысли раздвинуть, разъять время? Господи, ведь и старушка Расстегай, наверное, уже умерла. Царствие Небесное обеим, кружевнице и Расстегай.

«Я приду на кладбище, пусть метет моя метель, я встану на колени перед одной могилой, спящей сиротой, перед другой встану, и помолюсь. Главное — за душу молиться. За живую. И за ту, которая к Богу ушла. Люди смеются над молитвой. Люди есть такие, что готовы молитву растоптать. Но лишь она человека от смерти спасает».

Они собирались молча, спешно, стояла глубокая ночь, небо вызвездило, и поднялся ветер; ветер резкий, холодный, он гудел и свистел над Святой Землей, говоря о том, что природа может страдать и гневаться, и кричать, как человек. Вера и Зиновия взвалили на плечи поклажу: Вера — ранец, Зиновия — котому. Переглянулись. Надлежало переступить порог. Это было самое страшное.

Вера земно поклонилась всему, что было тут много лет ее жизнью.

— Господи... спаси и сохрани... всех, всех спаси и сохрани...

Она даже не могла, как надо, по правилам, благословить молитвой остающихся.

Зиновия затравленно, волчком, оглядывалась. Обе женщины стояли в келье Зиновии. Сестра Васса спала, через тонкую стену, нежнейшим, спокойным сном — до будильника к полунощнице. Зиновия воззрилась на Веру, губы ее запрыгали. Вера видела: она испугалась того, что делала. Но было уже поздно.

— Еще не поздно остаться, — вымолвила Вера, не веря себе.

Зиновия помотала головой: нет!

Обе вышли вон. Сначала — Зиновия, вслед за ней — Вера, поправляя ремень ранца: он давил плечо. Ее родимое Евангелие лежало на дне ранца, как и много лет назад.

Зиновия сказала: поедem самым ранним автобусом в Тель-Авив, оттуда улетим. Вера спросила: почему из Тель-Авива лететь, ведь можно из Иерусалима? Зиновия ответила: здесь нас могут догнать. Нам не надо погони. Вера спросила: откуда у тебя деньги на билеты? Зиновия улыбнулась: мне мой мужчина на карту перевел.

И Вера больше ни о чем Зиновию не спрашивала.

Они поймали машину, шофер довез их до Яффы-Роуд, Зиновия взяла два билета до Тель-Авива. Внутри автовокзала было светло, блестяще и холодно. Зиновия купила им по шакшуке,

в обеих руках несла по сковородке, взбитые яйца с помидорами и перцем шипели в кипящем масле, Вера отшатнулась: я не буду! сейчас Великий пост! — на что Зиновия пожала плечами и прикрикнула: все, закончились твои монастырские правила, теперь мир, теперь будут мои! Вера взяла за ручку горячую сковороду и стала поедать шакшуку, обжигаясь, изо всех сил дуя на нее. Зиновия смеялась и тоже ела. Потом обе выпили по чашке зеленого чая, такого же горячего. «Я весь рот обожгла», — пожаловалась Вера, как ребенок. Зиновия взяла Веру за подбородок. Так немного подержала. «Обожгла? Это ничего. До свадьбы — заживет!» Лицо Веры под апостольником превратилось в помидор.

Объявили автобус на Тель-Авив. Обе поднялись с холодного сиденья. Их обдувал игрушечный сквозняк кондиционера. Слегка трепал их рясы.

— Нам нужна цивильная одежда, — прищурившись, сказала Зиновия, оглядывая Веру.

— Нет, не нужна, — сказала Вера.

— Что ты со мной споришь? Вот так нас точно сразу вычислят. И в Тель-Авиве нас уже будут ждать с собаками. Мать Мисаила даром что старая, а не дремлет. Васса проснется, все поймет и сразу донесет.

— Нет, — еще тверже сказала Вера, — я ни во что другое не оденусь. Это моя одежда на веки веков, аминь.

— Ну и... сумасшедшая!

— Уж какая есть.

Вере совсем не хотелось ни шутить, ни препираться. Зиновия забежала в вокзальный бутик и быстренько купила там длинное цветастое платье и туфли на высоких каблукках; потом сбегала в туалет и переделалась. Придя, затолкала в котомку рясу и вытащила из котомки норковый палантин. Встряхнула. Накинула себе на плечи. Серебристый мех вспыхнул забытой роскошью. Повернулась перед Верой и прижала ладонь к бедру.

— Ну? Как я тебе?

— Долежался, — сухо сказала Вера, кивком указывая на мех.

— Ну да!

— Хоть сейчас на сцену, — так же холодно сказала Вера.

Она попыталась улыбнуться, не вышло.

Они вышли из вокзала, теплый ветер ударил им в грудь, потом в спину. Перед ними стоял автобус, и Вера задрала голову, таким он гляделся громадным, как айсберг. И под солнцем сверкал ледяно. Женщины забрались в автобус, усьелись. Переглянулись.

— Ты хоть осознаешь, что мы сейчас поедем? Уедем?

— Куда? — беззвучно спросила Вера.

Зиновия угадала по губам.

— Из Иерусалима вон!

— Куда? — повторила Вера.

— В Россию, Господи, куда же еще! В Россию!

Вера закрыла глаза. Перед ней северным ослепительным сияньем восстали до неба светлые столбы всей ее монастырской жизни: службы, свечи, исповеди, трапезы, слезы и радость людей, что к ней приходили, рекой текли и текли. Люди, люди, они светились, вставали вокруг Веры бесплотными ангелами. Шевелилось на небесном ветру тончайшее покрывало, сотканное из чужих душ; все эти души за все эти годы стали Вере родными. Каждый человек, кого она благословляла или к кому просто прикасалась ладонью, сохранялся в памяти ее — так же, как она его благословеньем своим сохраняла в памяти Божией. Люди! Они шли и шли, все шли и шли, и все к ней, слух о том, что вот в Иерусалиме, в Горненском женском монастыре, проживает сейчас новая святая, да, настоящая святая, как в стародавние времена, разнесся сначала по округе, потом по всему Иерусалиму, потом по всей Святой Земле, потом по другим странам, потом по воздуху он полетел и по морю поплыл в другие далекие земли, потом докатился до России, и оттуда, с родины, полетели, поехали к Вере люди, они хотели успеть к ней прикоснуться, к краю ее ряс, поцеловать ее сухую и крепкую, уже стареющую руку, нет, руку без возраста, без времени, ибо времени для святой не было, а сияла вдали лишь счастливая вечность. Люди хотели, чтобы она дала им совет — и она давала. Люди хотели,

чтобы она выслушала их, просто слушала, молча, — и она молча слушала. Люди хотели просто поплакать перед ней — они плакали и молчали, и она вместе с ними плакала и молчала. Разговор Веры с людьми шел порой безмолвно, слова не требовались. Слова казались лишними, и надо было, чтобы их развеял ветер или подмела с пола новая послушница, тихоня и скромница, длинным веником, связанным из сухих веток дикой акации. Люди и Вера пели незримым хором. Человек, которого она принимала в своей келье или в монастырском саду, на то время, пока она видела и слышала его, становился ей дитем, родителем, братом, сестрой, мужем, блудным и найденным сыном, умирающей бабкой с уходящими под лоб слепыми глазами, что горели ярче звезд, — становился ее семьей, и росла ее огромная, во весь мир, семья, и надо было ту семью обихаживать, любить, журить, наказывать, прощать, — спасать. Надо было эту семью на руках нести. И — спасти.

Это был ее народ, что приходил к ней, ее далекий народ, и он был так близок, что превращался в нее самое.

Она всегда хотела всех спасти. А как иначе? Ты спасаешься сам, так поделись этим хлебом с другими! Умножь эти хлебы! Раздай голодным! Общее спасение — это и была та соборность, о которой ей твердила игуменья Мисаила, которой ее учили старые схимницы в надвинутых на глаза клобуках. Все на земле отвечают за всех, кто это ей шепнул? Где она сама вычитала эти слова, в какой священной книге?

Да, она хотела всех спасти, и не считала свое желанье гордыней, и во имя этого трудилась и не уставала, и всех спасала — всем находила доброе слово, тепло и ласку, всем дарила себя, разламывала, как теплый хлеб, щедро делилась: ешьте меня, пейте, это ведь тоже Причастие, каждодневная любовь! Она все повторяла эти слова Господа: «Больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Любовь ко всем! Всеобщая мать!

Да, в монастыре Вера стала — такая вот Всеобщая Мать, и монахини втайне гордились, что именно их монастырь сподо-

бился чести такой, приютить в своих стенах святую вселюбящую; а кто и ревновал, а кто и хмурился, горделиво и высоко оценивая себя: я бы лучше, святее была на ее месте, — а кто и злился молчком, и тайком отмаливал грех злобы своей, ибо диавол опять рядом сидел, притаивался за аналоем, за храмовой росписью, за крашенным известью от жучков стволом яблони в светлом монастырском саду. Трудно было сохранить в неприкосновенности Божий мир. Он то и дело подвергался опасностям. Но люди все притекали и притекали к Вере, и она все удивлялась — как это матушка Мисаила при постриге оставила ей ее мирское имя; права оказалась сестра Васса, не поднялась у игуменьи рука оторвать столь святое имя от будущей святой.

Куда же ты едешь теперь, святая?

Широкое сердце Веры здесь, в Иерусалиме, вмещало все просторы родной земли. Огромная далекая Россия ложилась ей под ноги, под ее сверкающую душу рекой без берегов, холодно-снежной, буйно цветущей, колюче-таежной; густая страшная синева тундры переливалась ягодными и травными огнями, радугой полночного Сиянья — и вливалась во вспыхивающие серебристым ковылем ковры степей, россыпи песков надвигались и пропадали, реки алмазно блестели великими льдами, взламывали лед по весне, разливались на полмира, и лодки и корабли взрезали их железными ножами, и шли вперед, все вперед и вперед, потому что человек идет только вперед, и даже назад он идет, как вперед. Вера остро чувствовала и видела отсюда, из Святой Земли, просторы земли родной; и ей чудилось, ее земля родит в недрах своих, среди мощных гор и рек своих такого человека, что спасет мир на самом краю, у обрыва. У самой пропасти — всеобщую смерть остановит. Неправ несчастный возлюбленный Зиновии! Не погибнет земля. Она для этого слишком сильна, и она, планета, что катится в безднах, тепла, как человек, горяча внутри, и сердце в ней бьется, и духа она полна: ибо она — Божия.

— Божия земля, Живая земля, — шептала Вера, глядя в запыленное автобусное окно, — спаси и сохрани...

Зиновия поправила сползающий с плеч норковый палантин. Лицо ее румянилось возбуждением, восторгом бегства, предчувствием долгой опасной дороги.

— О чем ты?

Вера молилась.

— Спаси, Блаже, души наша...

Посмотрела на Зиновию долго, долго.

И Зиновия захотела укрыться от ее всевидящих глаз.

— Господи, да будет воля Твоя.

Зиновия смущенно перекрестилась.

За спиной люди, смеясь, говорили на иврите. Вера, за все время жизни в Иерусалиме, выучила на иврите всего несколько слов. Она помнила сказание о башне Вавилонской. Сколько языков на земле! А любовь — одна.

Молитва для нее, пока она жила в монастыре, была главным деянием. А теперь что? Что для нее теперь главное? Ведь она возвращается в мир.

«Боже мой, Вера, что же ты наделала».

Мир. Ведь его, белый Божий свет, зовут — Мир. Это недаром. Мир, это залог того, что он никогда не станет войной. Много людей про войну кричит! Кто-то к ней даже усиленно готовится, Вера понимала это. И будущее страдание, она тоже это понимала, ей одной было не отодвинуть. Не отмолить. Только вместе. С кем? Кто ей поможет? Она посмотрела на Зиновию. Вот она? Разве она сможет помочь? Зиновия возвращается в Мир, чтобы вернуться к себе. Чтобы — петь. А Вера? Она же петь не умеет. Что она будет делать в Мире? Кого спасти? Зиновию? Одну ее? Единственную?

— Единственную... — вылепили губы.

«Надо же кого-то единственного заиметь в жизни. И — спасти».

Всех людей — всех, кто в ней нуждался, кто к ней шел — по боку, чтобы спасти — одного человека?

«Да. Так бывает».

Автобус мягко, так нежно стронулся с места, что Вера не заметила, как поехали.

Зиновия вынула из сумки косметичку, щелкнула замком, вытащила круглое зеркальце, озорно, кокетничая сама с собой, смотрелась в него. Поправляла волосы над виском.

— Вера, неужели я вернусь на сцену! Я буду петь! Вера! Нет, я еще не осознаю этого!

Она так радовалась, что Вера подумала — она сейчас вскочит с кресла и запоеет на весь автобус.

— Зина! Сиди спокойно.

Глаза Зиновии влажно блестели. Такой красивой Вера никогда не видела ее.

Зиновия приблизила губы к щеке Веры и тихо спела ей прямо в ухо:

— Сиди спокойно, сиди, молчи... Стучи мое, сердце, стучи, стучи... Гори, мое сердце, ярче свечи — в огромной, как мир, черной ночи... Тебя не излечат в ночи врачи, тебя не казнят в ночи палачи, с тобой только ночи черная кровь, с тобой только, сердце, твоя любовь!..

— Что это?

— Это моя песня. Я вчера ее написала. Перед отъездом. Я буду ее петь в Москве. На первом же концерте спою! Вот удивятся мои продюсеры, когда я перед ними появлюсь! Они-то, небось, думают, я умерла!

Автобус набирал ход. Вера не думала ни о чем мирском. Как, где они будут жить? На что кормиться? Может, не жить будут, а выживать? Певица будет петь, это понятно. А Вера что будет делать? Не было об этом ни мыслей, ни слов. Автобус катился все быстрее. Ровный асфальт ложился под колеса, пассажиры-соседи включили музыкальную запись в гаджете, звуки наполнили салон, все заулыбались: музыка веселая, плясовая. За окнами мелькали ветви, камни, мотели, мосты, горы, пески. Святая Земля, ставшая Вере родной, провожала ее.

«Я на время уезжаю. На время. Только на время. Я вернусь».

Она пыталась вспомнить, с каким чувством уезжала из Красноярска. Да, с точно таким же: думала, что доберется до Иеруса-

лима, выполнит завещание Анны Власьевны, погостит немного в чужих краях и вернется.

«А теперь вот все эти люди, целый автобус веселой молодежи, да куда они все едут? А, просто в Тель-Авив. Просто — кто куда! Кто в гости, кто по делам, кто на работу устраиваться. Кто так же, как мы, в аэропорт поспешит: к самолету. Лететь. Люди все время куда-то летят. Небо, оно как пашня, все летящими железками распаханное. А молодые? Куда они мчатся? Они думают, мы их не понимаем. Мы их — понимаем! А они нас — не всегда. Мы для них — старье! А старье надлежит выбросить. Оно уже немодно! И в дырах. О чем они?.. а, о политике. О войне опять! Бормочут стихи, а это разве стихи? В нас плюют. В то, что не они сами — плюют. Ну, не все, конечно... не все... А к тебе в монастырь — молодежь разве не приходила? Приходила... Много молодых ты принимала... И в горе, и в счастье приходили... Зачем?.. Чтобы на тебя — подивиться? Чтобы просто потом друзьям сказать, похвастаться: я — у монахини Веры — да, да, у той самой — в Иерусалиме — был!.. и чай с ней пил... с сахаром вприкуску... с баранками русскими... По усам текло, а в рот не попало... Ничего так монашка... бойкая... да, прозорливая... мне судьбу предсказала...»

...все слишком странно. Странностей хоть отбавляй. Через край. Водку льют и льют в поминальную рюмку. Воду — в стакан. Я будто в поезде Тайшет — Абакан. Пить! Жажду — жить! От воды всякий пьян. Жажду — быть. Вьется, сгорает нить. Дорога вьется. Кто надо мной так хищно смеется? Вода через край — хрусталь — серая сталь — из стакана, а ее льют и льют, утони, захлебнись в огнях и туманах... все льют и льют...

...что... вино и брашно... страшный?.. суд?..

Зеркальце в пальцах Зиновии страшно высверкнуло. Ударило светом по ослепшим глазам.

Автобус тряхануло, он чуть замедлил бег, потом опять набрал скорость. Легкий гул висел в воздухе, и у Веры закладывало уши, будто они не по земле катились, а летели в самолете. Зиновия печально спрятала круглое, больно скалящееся скола-

ми огненных скал, колдовское зеркальце в сумку. Отвернувшись от Веры, глядела в окно. Ее лицо, такое знакомое Вере за все это время, что Зиновия прожила в монастыре, стало чужим: румяным, лоснящимся, — довольным, мирским. Она предвкушала сладость той жизни, которую бросила. И, кажется, она — по крайней мере, здесь и сейчас — забыла, что хотела расстаться с жизнью. Жизнь оказалась сильнее ее скорби.

Вера не осуждала ее. Она радовалась этому преображению.

«С каждым может случиться всякое. Человек меняется. Зиновия изменилась. Где ее бессмертная душа? Она родилась к новой жизни. Не все мы умрем, но все изменимся».

Вера шепотом повторила слова апостола Павла. Что-то произошло с временем. Оно будто остановилось. Автобус двигался вперед, а время встало. Потом появился яркий свет. Их всех, и железную повозку, и людей внутри нее, обняла ярчайшая вспышка. Люди ослепли и закричали. Ослепла и Вера. Она перестала видеть Зиновию, людей вокруг, мир за окном. Свет превратился в огонь и достиг сначала до тела, потом до сердца, и сердце наполнилось болью и вспыхнуло.

Вспыхнуло все.

Все, что родилось под солнцем и луною.

И ярко, бешено горело все, что могло гореть.

И огонь.....

ХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ. ПЪВИЦА

...под веками пламя.

...лицо медленно остывало от вселенского жара.

— Э-эй. Э-э-э-эй! Вера-а-а-а! Проснись! Прибыли!

Вера глядела слепо, беспомощно.

Разум возвращался к ней, но она не верила ему.

Ухватившись за локоть Зиновии, Вера вылезла из автобуса. На другом автобусе они добрались до аэропорта Бен-Гурион. Перелет Вера помнила смутно. Помнила: тусклые иллюминаторы, и в них туман, а потом слепяще-синяя пустота.

Зиновия поймала перед зданием аэропорта такси, назвала адрес. По обе стороны машины мелькала жизнь, не прожитая Верой. Они приехали к Зиновии домой. Вера впервые видела такую роскошь. Цветные плашки паркета отсвечивали голубым, золотым, розовым. Картины болотно мерцали в тяжелых позолоченных багетах. Хрустальные люстры напоминали сверкающие княжеские лодки. Рояль плыл черным лаковым кораблем. Зиновия пробежалась пальцами по клавишам. Смеялась заливисто. Она так радовалась миру! Так радовалась дому. «Какая пылица, — кричала Зиновия, бегая по комнатам и счастливо раскидывая руки, — я завтра же найму горничную!» Она кричала о том, как наймет еще повариху и стилиста, и как позвонит продюсерам, что сочли ее мертвой. Еще что-то радостное залихватски кричала. А потом уселась за рояль, и стала играть бурно и пламенно, и запела. Ее голос заполнил комнаты. Вера не могла сосчитать, сколько у певицы комнат. Да и ни к чему это было. Раздавались звонки, звенели колоколами разговоры, возникали и таяли голоса, люди входили и выходили, а какие-то оставались, пахло вареным и жареным, ярко сияли посреди стола, укрытого белой скатертью, фрукты в мощной великанской вазе, и певица брала из вазы апельсин, чистила его острыми, уже то-

ропливо покрашенными заморским лаком ногтями и хохотала: «Конечно, в монастыре апельсины вкуснее!»

Зиновия жадно окунулась в забытую жизнь, она не пела, а пила музыку, как воду в пустыне, как вино. Обзвонила знакомых музыкантов, что играли с ней когда-то; снова собрала оркестр. «Вера, это мои музыканты! Мои! Ты такой певец, каковы музыканты твои! И у тебя такие музыканты, какой ты певец!» Опять смеялась. Вера не могла смеяться вместе с ней.

Вере постелили богатую пышную постель, она спала в отдельной комнате, а ночью, во сне, ей все казалось, что она в своей келье, и что рядом сопит, похрапывает сестра Васса; она просыпалась, поднималась на локте и испуганно смотрела вокруг себя, с трудом осознавая, где она.

Москву, что явилась ей бегло, быстро, изменчивым ликом своим, когда Вера направлялась в Иерусалим, и довелось ей прожить в столице отмеренное время, она не узнавала и не принимала: слишком сутолочным, слишком ярким, грязным и гигантским, подавляющим каменной мощью своею, представал перед ней этот город, вечерами так полный огней, что Вера, когда выходила на улицу, зажмуривалась, не в силах перенести громадный огненный натиск. Это был город, не знакомый ей, и она совсем не хотела с ним знакомиться; ни к чему он ей был. Многооконные небоскребы упирались в небо, а рядом расползались по пыли, по снегу нищие домишки. Мир никак не мог стать однородным, да и зачем? От века в мире боролись богатство и нищета, храбрость и трусость, добро и зло. Вера понимала: здесь тоже много зла, как и везде на земле. И здесь ждут люди ее помощи. Но перво-наперво надо было помочь Зиновии; Вера видела, ее захлестнула радость возвращения к самой себе и к земному делу своему, и молила Бога об одном — чтобы Бог ей, Вере, дал силы поддержать Зиновию во всемирном пении ее.

Являлись продюсеры, один лысый и веселый, другой волосатый и мрачный; и оба ели и пили у Зиновии, и сновали женщины, чтобы повкуснее накормить мужчин — повариха хлопотала

на кухне, горничная и Вера таскали в гостиную подносы с яствами и винами. Пили много. Вера глядела на винопитие без осуждения, спокойными печальными глазами. Все круглее становились ее большие, чуть раскосые, широко распахнутые и широко расставленные под морщинистым лбом византийские глаза; все сильнее торчали сибирские скулы, и легкая раскосинка делала временами диким, таежным ее худое смуглое, загорелое на жестокое иерусалимском солнце лицо. Не лицо, а лик. Зиновия иногда останавливала взгляд на Вере, вздрагивала и тихо, зло и быстро спрашивала: «Что? Судишь меня, святая? Приговор мне сочиняешь? А я вот такая. Хочу — пью, хочу — пою!» Вера вздыхала прерывисто, как после плача. «Пой, Зина. Лучше — пой».

Зиновия взяла ее на первую репетицию: «Поехали со мной!» Вера еще не знала, что Зиновия задумала. Приехали в большой белый, с колоннами, дом, поднялись по лестнице в белый, тоже с колоннами, зал. Певица взбежала на сцену. И поманила за собой Веру.

— Давай, давай, иди сюда!

Вера глядела строго, свела брови в линейку.

— Зачем? Не пойду.

Зиновия махала рукой, будто тонула и молила о помощи.

— Ну же! Ну!

Вера медленно поднялась по ступеням на дощатую сцену. Вблизи сцена гляделась совсем не торжественно и не нарядно: барабаны свалены в кучу, разбросаны подиумы, вьются змеями микрофонные шнуры, на стульях золотыми недвижными тушами лежат тромбоны, трубы и валторны.

— Через провод не упади! — кричала певица.

Вера подошла к ней, припадая на больную ногу. Только теперь она увидела, что близ рампы стоят два микрофона.

Зиновия крепко взяла Веру за руку. Рука Зиновии была твердая и теплая.

— Давай вместе. Черный ворон, что ж ты вьешься. Андрей! — крикнула во тьму зала. — Смикшируй там, где надо. У нее голос сильный!

Вера слишком поздно догадалась, чего от нее хотят.

Отступать было поздно.

Музыканты валом валили на сцену, рассаживались, гитаристы перебирали струны, духовики брали пронзительные, режущие ухо ноты: разминались. Пианист гонял руки по клавишам и кричал: «Замерз! Замерз! Пальцы не шевелятся!»

Вера, в черной, до пят, рясе, и певица в черных, обтягивающих бедра лосинах и в черной водолазке, — обе одновременно вдохнули воздух и запели.

— Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой! Ты добычи не добьешься... Черный во-о-о-орон, я не твой!

Оба голоса, высокий и низкий, заполнили зал так легко, будто светились во тьме теплым сладким молоком, и его доверху налили в каменный кувшин.

В зале сидели люди. Немного людей. Они замерли, слушая песню.

— Завяжу смертельную рану подарённым мне платко-о-ом... А потом с тобою стану говорить все об одном... Полети в родную сторонку, скажи мамушке мое-е-ей... Ты скажи моей любезной, что за ро-о-одину я пал! Отнеси платок кровавый милой любушке мое-е-ей...

Лысый продюсер привстал в кресле. Лохматый — обнял лоб ладонью, уронил голову на грудь и так сидел: слушал.

— Ты скажи: она свобо-о-одна... я женился на другой!..

Люди тихо входили в зал, протекали за задние ряды, мышами юркали на передние места. Кто были эти люди? Случайные в этом большом, угрюмом здании, и прибились к концертному залу, и утро, и час ранний, и что они делают здесь? Они изловили в воздухе музыку, какой не слышали никогда. Зиновия пела, закрыв глаза. Она плыла в песне, как в море. Рассекала голосом и сердцем темные воды, чтобы они не сомкнулись у нее над головой. Вера пела с открытыми глазами. Настежь распахнутыми. Она вся была — открытая дверь, и сквозь нее, открытую, мог входить и насквозь выходить, в широкий мир, и широкий ледяной, безумный ветер, и лю-

бой человек, что сюда забрел, в зал, и тот, кто тосковал вдали и не мог въявь слышать песню, но улавливал ее последней, предсмертной дрожью сердца. Круглые огромные глаза, почти совиные, прожигали темный, сизый воздух зала. Пахло куревом. Маленький барабанчик отбивал нервный пульс. Один резкий удар, четыре коротких, три длинных. Один, четыре коротких...

— Взял невесту тиху, скро-о-о-мну... в чистом поле под кустом...

Обе женщины пели и не смотрели друг на друга. Голоса их сплетались — крепче некуда. Словно это был один голос, и разделился надвое.

— Повенчальна была сваха — сабля во-о-о-острая моя!

Зал затаил дыхание. Репетиция, концерт? Все равно. У царя Давида в руках арфа, и он, закрыв глаза, поет свои псалмы. Пой, Вера, пой! Эта жизнь — тебе. Она твоя. Тебе в ней назначено петь. А ты об этом и не знала.

— Калена стрела венчала... середь би-и-и-итвы роковой... Чую, смерть моя приходит!.. Черный ворон...

И тут Зиновия открыла глаза и резче молнии обернулась к Вере.

И поймала глаза Веры, ее черные, без дна, зрачки: Вера тоже смотрела на нее.

«Весь я твой!» — надо было спеть древние, вечные слова, но Вера все переиначила. И Зиновия ее подхватила.

— Я не твой!

Торжествующая улыбка обвила щеки Зиновии. На ее румяных скулах застыли капли слез. Вера стояла прямо и гордо, молча. Сухая, жесткая как доска. Как всегда: спокойно.

Молчала, будто бы это и не она вовсе тут так пела.

— Ну что? — спросила Зиновия, и микрофон нагло разнес ее вопрос по всем закоулкам зала. — Каково тебе? А? Хорошо тебе? Не ругаешь меня? Ну, поругай, поругай!

Звукооператор догадался и убрал звук.

Люди в зале переглядывались.

Вера повернулась к залу спиной и медленно отошла от микрофона в сторону. Люди видели ее спину, облитую черной рясой. И ничего не понимали. Монашка какая-то, хромоножка, а голос с целый дом, до дна пробирает, поет так, что душу вынимает, ну да, они там, в монастырях-то в ихних, петь обучены, с утра до ночи в хорах поют, вот оттуда и взяли, а откуда, вы не в курсе, из Новодевичьего, а может, из Зачатьевского, а может, из Данилова.

Зиновия стала заниматься с Верой музыкой. Распевать ее: ставила у рояля и показывала упражнения для голоса. Вера послушно повторяла. Это было ее новое послушание в миру, и она безропотно делала то, что от нее требовали. Голос креп, расширялся, приобретал грудные бархатные ноты. На репетициях Зиновии и Веры толкалась публика; их репетиции уже посещали, как концерты, Зиновия шутила: «Билеты начнем продавать». Первый их совместный концерт прошел на ура. Народ завалил обеих певиц цветами. Люди несли и несли на сцену букеты. Люди пришли на концерт своей любимицы, про нее слухи ходили, что она где-то в монастыре на Святой Земле исчезла, погибла для мира, а она — вон она, живая-невредимая, поет как соловей, да еще монахиню с собой из монастыря привезла, с таким голосом — закачаешься! «Браво! Бис!» — орала им, надрывая глотки, и женщины выходили и выходили на сцену снова, кланялись, взявшись за руки, Зиновия улыбалась, Вера все тоньше, в нить, сжимала суровые губы, а люди ставили к их ногам корзины цветов, подносили такие букеты роз, что Зиновия не могла унести их за кулисы в руках, как крепко ни обнимала, — и в конце концов клала на плечо и так несла, как вязанку дров, и публика хохотала и рукоплескала бешено.

А Вера шла за ней, стараясь не хромать, а идти прямо и ровно, и ряса ее черная на сквозняке, что дул из-за кулис, развева-

лась вокруг ног, делая ее похожей на летящее над досками сцены черное облако.

Их неожиданный дуэт рождал домыслы, сплетни. Их концерты обрастали невероятными слухами. Желтая пресса старалась, вылезала из кожи. Их обвиняли в порочном сожителстве; о Вере писали, что она дочь богатейшего магната, которую он юницей заточил в монастырь из-за скандалов капризной любовницы; а еще, что она дочь знаменитого итальянского тенора, выросла в Италии и ни слова не знает по-русски, а влюбилась в Россию и тайно приняла православие и монашеский постриг; а еще, что они с Зиновией задумали узаконить свою грешную страсть в Амстердаме, а потом взять ребенка на воспитание; а еще, что Вера, на глазах у президентов всех стран, прыгала с парашютом на авиасалоне в Париже и сломала ногу и теперь хромот; а еще, что она, дурочка-монашка, вытащила Зиновию из петли, и в награду Зиновия обучила ее пенью, и вот поют вместе. Еще писали, что все это театр, кукольная комедия, и никакая Вера не монахиня, а просто так надела рясу, для привлечения народа на концерты, для пушей рекламы. А на самом деле она работает в ночном клубе на Варшавском шоссе, она танцовщица на шесте и искусная стриптизерша, а это так, наглый маскарад. Чего не вытворишь ради хороших сборов!

Жизнь пошла бешеная, плотно ложились друг к дружке дни, месяцы и годы. Женщин крепко склеивала музыка. Вера окунулась в мир, о каком даже не мечтала. Музыка раскрывалась ей всем нутром, а внутри были тысячи жемчужин, и все играли светом царским, самоцветным: золотым, алым, сиреневым. Каким угодно. На выбор. Музыка менялась ежесекундно, на лету. Ни одна мелодия не звучала сегодня так же, как вчера. Музыка измеряла время и тут же зачеркивала его, уничтожала. Внутри музыки время не билось, и все более Вера со страхом и радостью убеждалась: музыка — это Бог.

Заказать билеты, опять поездка, на неделе концерты в трех городах, а на другой — в пяти, сумасшедший график, продюсеры вытирали растерянные потные лица, ничего не поделаешь, вас

приглашают, это слава, а вы как хотели, мы никак не хотели, мы, в общем-то, так и хотели, а ваша бэк-вокалистка, ну да, та, высококонькая, уходит в декрет, да мы знаем, остаются еще две, этого мало, в апреле концерты в трех странах, готовьтесь к смене часовых поясов, мы и так не высыпаемся, пощадите, музыка не просит пощады никогда, музыка сильнее всего и всех, меня в самолете рвет, я в самолете уже все знаю, и когда высоту наберет, что делать, и когда садится, как себя вести, а вы думаете, господа, в таком режиме легко ли песни писать, так за чем же дело стало, обучите вашу подопечную, эту, черную вашу монахиню, пусть тоже сочиняет, мрачная тетка, как ворона, на сцену вылетает, а вы не поменяете ей этот жуткий наряд, отстаньте, это ее личное дело, Зина, не кричи, я попробую, завтра вылет в Архангельск, а потом куда?.. а потом в Петрозаводск, а потом в Питер, ударим по северу, Вера, чтобы в самолете не блевать, знаешь что помогает?.. лимон, да, я знаю, знаю.

Зиновия писала песни и пела их, с пылу с жару, Вере. Перебирала клавиши, закидывала голову. Черный пучок дегтярной черепахой сползал с затылка на шею. Вера слушала, и часто по ее лицу, когда она слушала Зиновию, текли слезы. Она не вытирала их. О погибшем сыне Зиновия никогда не говорила. Только однажды пригласила Веру в студию, где стоял черный рояль, усадила Веру в мягкое огромное, как корабль, кресло и спела ей песню о сыне. Это не была колыбельная, что Вера услышала из ее уст в Иерусалиме. Скорее погребальная песнь; и оттуда, из глубин песни, так явственно и живо восстал мертвый мальчик, что Вера обе руки ко рту прижала и все сильнее, сильнее вжималась в пухлое облако кресла. «Мой родной, мальчик мой! Постучись, родимый, домой. Я тебе открою дверь. Видишь, я спокойна теперь. Как тебе живется там? Как ты ходишь по облакам? Видишь ты оттуда меня — в молчанье ночи, в сиянии дня? Я не знаю, как теперь мне быть. Я продолжаю тебя любить. Ты ведь плоть моя, кровь моя... Видишь, теперь спокойна я. Только в ночи я слушаю тишь: вдруг постучишь ты. Вдруг — постучишь...» Наивные, простые слова нежно легли на светлую, полную боли музыку.

Вера не знала, что говорить. «Тебе нужно эту песню петь одной», — сказала наконец. Зиновия усмехнулась. «Я одна уже не смогу. Сначала я, один куплет, потом ты».

Настал день, когда Зиновия, сидя на диване и играя с подаренным поклонницей белым котенком, спросила Веру: «А почему ты музыку не пишешь? Пиши!» Слово Зиновии было для Веры закон. Она села и написала первую свою песню. И песня эта была песня о Сибири. О Енисее. Как в зимнем дыму он течет и бурлит, и женщина стоит на берегу, не ведая обид, забыв о судьбе, о времени забыв, а видя лишь этой зеленой воды разлив. И лед кругом. И мохнатый куржак. И жизнь прожита ни за понюх, ни за пятак. А просто — за так; за правду и ложь; потому, что любишь, и значит, живешь. Она неловко двигала пальцами по клавишам, извлекая из рояля единственные звуки, не умея толком играть и все же играя, потому что Зиновия так хотела, нет, сама жизнь так хотела, — и из глотки ее выходили звуки, они ей не принадлежали ничуть, их хозяином был Бог, да, Он один. И только потому звуки жили. Зиновия, выслушав Верину песню, подошла к роялю и крепко поцеловала ее. «Мы с тобой завоюем мир!»

Вера совершенно не хотела воевать. У нее и так было дел невпроворот. Она, наряду с горничной, стирала, гладила и на певицу, и на прислугу, и на себя, одевала певицу перед концертом, услужала ей как могла. Сама время от времени чисто простирывала свою рясу, сушила ее и гладила, и опять надевала: на все попытки Зиновии одеть ее как женщину, нет, ну хотя бы как человека, Вера отвечала отказом: «Мне и так хорошо». Да, это было ее послушание. Бог ей так заповедал. Монахиня в миру! Не она первая, не она последняя. Она пела свою новую песню, на пару с Зиновией, и вдруг посреди песни, как из надмирного облака, всплывал Иерусалим; и это был уже Небесный Иерусалим, Небесный Град, она еле различала его сияющие башни, стены его играли гранеными зубцами и самоцветно лучились, облачная дымка заволакивала крепкую кирпичную кладку, дым времени курился, будто небесный Енисей обтекал сверкающие

стены; она видела стоящих на стенах и трубящих Ангелов, и улыбалась им, и радовалась: вот, они играют, музыку и солнце нам посылают, меня ждут, — и я тоже, Ангелы, шептала она им, я тоже музыку творю! Я — с вами!

Зиновия, за очередную новую песню, крепко целовала Веру в щеку. А вечером собственноручно, на кухне, в духовке пекла в честь новой песни громадный, во весь противень, пирог со смородиной. И пирог, дымящийся, сладкий, роскошный, ели все, прихлебывая китайский чай «Красный халат» — Зиновия, Вера, горничная, повариха, продюсер лысый и продюсер лохматый, а еще поклонница, что подарила котенка, а еще соседские девочки-близняшки, а еще школьная подруга, что стала дипломатом в африканской стране, и еще люди, люди, люди, голоса, крики, смешки, блеск зубов и глаз, янтарное мерцанье коньячных бокалов — одного пирога на такую ораву было мало, и женщины бежали на кухню — готовить еду еще и еще, благо холодильник был едою забит, певица любила стряпать и любила, чтобы близкие люди ни в чем не нуждались. «Самое страшное — голод!» — говорила она, важно поднимая палец, на что Вера, искоса глядя на нее, отвечала ей: «Самое страшное — жить без Бога».

Что такое жизнь других людей без Бога, они, живя в Москве и катаясь по стране, узнали очень быстро. Жизнь без Бога означала смерть при жизни. То и дело Вере встречались прижизненные мертвецы. Их, еще живых, убило зло. Злые люди после концерта подходили к ней и плевали на пол перед ней, и корчили рожи: «Ишь, в монашку играет! Постыдилась бы!» Злые люди писали им с Зиновией подметные письма: «Ну и как вы, наглые тетки, друг другу в постельке? Нравится?» Злые люди лгали Вере в лицо: «Ах, какие у вас чудные песенки! Вы такие обе гениальные! Такие талантливые, просто прелесть! Вы так дивно поете! Мы в восторге!» — а, отойдя чуть в сторону, шипели за их спинами: «Голоса — как ножом по сковородке, на рожи — две уродки, фигуры — ужас, одна — слониха, другая — платяная вешалка, стишки серые, блеклые, мелодийки избитые, и все у великих композиторов скрадено!

Две бездарности, а так прославились! Деньги большие стоят за ними!»

Против злобы надо было бороться. Чем? Молчанием? Вера слишком долго молчала. Она молчала, сцепив зубы. Но наступал день, когда она сама отрубала от себя молчание — и заносила невидимый меч надо злом. Потому что если не ты на зло восстанешь, то кто же? И Христос из храма плетью торжников изгонял. Вера защищала не себя — ее жизнь не была ей драгоценна; она была нужна ей лишь потому, что она нужна была Богу. Она защищала Зиновию.

Мы бездарны? Не слушайте нас. Мы порочны? Отвернитесь от нас! Мы делаем все плохо? Ступайте и сделайте лучше нас: покажите нам образец искусства и икону жизни! Вы видите в чужом глазу соломинку? Поглядите в зеркало: может, в своем глазу вы узрите бревно! Зачем же тогда вы идете на наши концерты? Зачем слушаете наши песни? Значит, мы вас притягиваем? Зачем бежите к нам? Бегите прочь от нас! Зачем вы лжете себе? Покайтесь во лжи своей и во злобе своей! Иначе злоба сожрет вас изнутри. Мне жаль вас: вы и так мертвы. Но, продолжая жить так, как вы живете, во злобе и лжи, вы очень скоро умрете по-настоящему. А умереть без покаяния и без Причастия — это значит, по смерти быть в Аду. Вы хотите жить в Аду? Вы говорите, что после смерти нет ничего, никакого блаженства и никакого воздаяния, и все это досужие сказки, про Ад и Страшный Суд? Это не сказки. Это последняя правда! И последний приговор!

...они убивают друг друга. Они убивают, глядя пристально. Они вытирают грязные руки о камуфляж и считают выстрелы. Нет. Не считают. Они забывают. Закуривают, водку по стаканам разливают. Пьют и курят. Курят и пьют. До нового боя — тридцать минут.

...убить врага. Умереть самому. Увидеть лик смерти в огне и дыму.

...на жизнь не в обиде. Разбито стекло.

...не каждый увидит. А нам повезло.

Вера и Зиновия хотели заглянуть в лицо войне. Они так решили однажды вечером, отдыхая в гостиной после концерта:

красотой музыки хоть чуть-чуть отодвинуть от людских сердец уродку-смерть, — и возбужденная внезапным храбрым решением Зиновия, румяная, с горящими глазами, даже выкурила, развалившись в кресле, запрещенную сигарету. Зиновия просила продюсеров: устройте нам концерты в горячих точках! Две певицы летели в Сирию, в Венесуэлу, на Украину, в Ливию. Выступали на военных базах. Когда выходили на сцену обе, Зиновия в парчовом наряде, Вера в черной рясе до полу, — солдаты рвали воздух восторженными криками. «Они кричат нам браво, а мы еще не начали петь», — растерянно оглядывалась на Веру певица. Сцену солдаты наспех сколачивали из досок на открытом воздухе. Далеко на горизонте в красное закатное небо поднимались дымы, там рвались снаряды. Доносился грохот орудий. Две женщины, в виду войны, пели солдатам нежные песни — о мире, о любви. На пропыленных лицах солдат блестели слезы. Иной закуривал, отходил в сторонку, надвигал каску на лоб: не хотел, чтобы видели, как плачет. Солдат, ты мальчик, и слезы! Не стыдись, это жизнь. И война — тоже жизнь. Песня живая, про жизнь, важнее ее ничего не было здесь и сейчас.

И, кланяясь солдатам на сухом пустынном ветру, Вера знала: она все делает правильно.

Там, на войне, Вера говорила с солдатами. Она не считала это проповедью. Надо было называть вещи своими именами. За что воюете? За кого? Кому служите? Какому царю, какому Богу? Веруете ли во Христа? Она видела: кругом много восточных, смуглых и раскосых лиц. Это мусульмане. Русские ребята переглядывались. Кто-то расстегивал воротники гимнастерок, вытаскивал из-за пазухи нательные кресты.

— Люди! — говорила Вера, поднимая руки, и широкие черные рукава рясы падали ей до локтей. — Вот вы тут воюете. Не забывайте о Боге! Именно Он все рассудит. А не тот, кто отда-

ет приказы. Слушайтесь приказа, на то вы и солдаты. Но помните: в мире есть Бог, и есть диавол. Диавол сеет всюду соблазн вселенской смерти. Он хочет разъять, разрушить. Сердца — окровавить, умы опутать ложью, землю — взорвать. Всю! Возврата не будет. Вы понимаете, что Страшный Суд будет?

Понимаем, гудели солдаты, кивали ей, да, конечно, понимаем, но когда еще это будет, об этом фантастические фильмы снимают, а в реальности-то он еще ой-ей как далеко, а может, человек все-таки умнее дьявола окажется, и такого великого зла не допустит, ну, этот, дьявол-то, его окончательно не охмурит, раскинет человечиска мозгами, не перейдет последнюю черту! Вера слушала слова солдат, наклоняла голову. Потом лицо поднимала и всех их глазами обводила. Милые, родные! Ваши бы устами — да мед пить!

Она прекрасно видела: мир уже подвергся неизлечимой болезни, и рассорились страны, и беспомощны люди. И никто не знает, чего ждать от завтрашнего дня. Его призывают, и его дико боятся.

Они, Зиновия и Вера, проповедовали чистой и яркой музыкой, и это была самая лучшая проповедь, какую только можно было представить в умирающем мире.

Музыка легко, играючи стирала грязь подлости, смахивала пыль зла с драгоценного малахита живой земли. Музыка называла все вещи своими именами, не называя их расхожими и бедными людскими словами. Музыка убивала раскол, живым ветром склеивая разорванное, вновь сочетая разбитое. Осколки обращались в бесценную вазу. Убитые восставали из гроба. Память превращалась в человека, а человек — в память, и так соединялись забытые времена. Музыка сама становилась временем, и две поющие женщины с дощатой сцены слали в мир, жадно, безмолвно слушающий их, обращенную в белого голубя любовь: крылатого Ангела, посланника Небесного Иерусалима, смело выпускали в мир они. Он долетал до каждой души. Он целовал всякое сердце, сильно бьющееся от звуков музыки под рубашками, под свитерами, под тонким батистом, под пропыленной,

в крови, гимнастеркой, под грубой штормовкой. Две женщины не знали, исполнит ли их волю небесный посланник, долетит ли птица; они просто выпускали жизнь из рук: лети.

И летела крылатая музыка.

И от счастья плакали люди.

И над тем, что делали они и что пели они, можно было иным, злым людям смеяться; и смеялись иные люди, и презрительно отдували губу, и фыркали: «Ф-фу! кому нужно это якобы искусство, это не музыка, а площадная пошлятина, две сентиментальные бабенки опять заголосили, одна монашка, другая ведьма, а гляди-ка, как спелись!.. голосишки приятные, да, да вот репертуарец!.. опять все на слезу бьет. Кому нужны эти завывания про Бога, который сильнее всех? Кому — эти заунывные колыбельные, эти сюсюканья, причитанья про снега-ветра, про родные поля-луга?.. Все это давно устарело. Все это — мещанство!.. развлечение для раздобрых домохозяек!.. или там в глупом застолье послушать, под студень, под водочку!..» И не ленились злые люди писать певицам письма и записки с оскорблениями и унижениями; и на концертах бросали им на сцену не цветы, а квашенные помидоры и жареные куриные ноги, вываленные в грязи. Вера низко кланялась тем, кто бросал на сцену грязную еду, а однажды даже встала на колени и сказала громко, на весь зал: «Простите, что мы ввели вас во искушение и разгневали. Простите великодушно!» И замер зал, внимая — весь, до единого в нем человека — этой просьбе о прощении коленопреклоненной женщины в черной рясе.

Так у Зиновии и Веры, как у всякого человека в мире, рождались враги. Враги эти были тайные и явные, и Вера каждый день молилась за них. Она воочию созерцала людскую злобу — когда она жила в монастыре, она даже не представляла, сколько же злобы накопилось в людях, как им не на кого ее

излить. Любовь умирала, а злоба была такая живучая! Однажды, когда Вера и Зиновия садились в самолет и уже поднимались по трапу, с летного поля кто-то швырнул Вере в спину тухлое яйцо. Яйцо разбилось о ее жесткую, как лопата, лопатку, вонючие потеки пропитали рясу. Вера обернулась к толпе и внятно сказала, стоя высоко над людьми на ступеньке трапа: «Господи, прости рабу Твоему». И перекрестила воздух: благоговела невидимого труса.

Когда они вошли в самолет, Зиновия, в туалете, стащила с Веры рясу и застирала пахучее яичное пятно. Вера смеялась: богомазы яйцом образа малюют, вот и я сподобилась. Зиновия надела на Веру свою кофту. «Верочка, птиченька, терпеливица моя! Да я бы с трапа спустилась да как ему кулаком в морду дала, дядьке тому!» — «Пожалей его, Зина, он ведь несчастен». — «Почему?» — «Мало любви ему».

Беда была в том, что обе они, и певица и Вера, видели еще и другое.

Они видели, как Бога и впрямь превращают в товар; как из религии, из веры святой дымом исчезают святость и высота. Как вместо духа царствует мамона.

И как любовь раздирают на части, топчут ногами.

А народу нужна была вера. Все равно нужна — и шел он к ней, через всю дешевую ложь, боль и обиду, через ужас обмана и чересполосицу битв и замирений.

И народу нужна была любовь — вопреки безверью и безлюбью, что все сильнее раскидывало над землей громадные черные крылья.

Черный ворон, да ты, черный друг, не вейся...

Я однажды человека взяла и убила.

И не крикнешь бегущей крови:

стой! больше не лейся!

Слишком больно бьется под кожей живая жила.

Довелось и мне поиграть в игрушки со смертью.

Ах, зачем Ты, Боже, показал мне
нагую земную муку?!

Люди, мою стыдную рану трогать не смейте!
Люди... лучше йодом дождей залейте...
перевяжите речной излучкой...

Люди, вы над Богом моим смеетесь
во всю хриплую глотку:
Мол, все это имбирь в сахарной пудре,
небесные сласти!..

А на поминках — не молитва,
а холодец-водка-селедка.

А живым — метельный лай заполярной власти.
В лешей тундре, безымянный, отец мой...
взахлеб собака

Лаяла... оскал охранника...
теплый приклад двустолки...

Смерть не молитва. Не пламя иконы из мрака.
Смерть — красные, бешеные глаза старого волка.

А я об отце моем еще не спела песню,
О бандите и хулигане, шептала мне мать,
рыбаке и придурке,

Что пророчил, пьяный вусмерть:
«Умри, мой народ, и воскресни!»,
Что со мной, своей дочкой земной,
играл в тюремные, зимние жмурки...

О... сгорят времена... папирсой отца...
когда стану царственной старухой,
Великой старухой,
грандиозной, горькой, гранитной, грузной, —

Я спою о тебе, отец мой, колючий венец мой,
для тайного слуха,

Для вина поминок, для поземки простынок,
чтобы не было грустно.

Жить! только жить!.. плоски мыть!.. водку пить!..
убийцей ли, вором...

Жизнь ли, гибель... ах вы, близнецы...

Сиям проклятый... опять вас двое...
Что ты вьешься, Люцифер, землемер,
небесный ковер, черный ворон...
Да над вьюжной моей, сумасшедшею головою...

И явился не запылится, из-под земли вырос человек, что любил Зиновию, да так и не расстался с супругой своей и на Зиновии не женился.

Человека этого звали... Да, у него было, конечно, имя, но оно слишком громко, знаменито звучало, и слишком оно было опасным для того, чтобы другим его просто, как за завтраком или обедом, произносить; у Зиновии для него было свое, тайно-ласковое имечко; Вера же звала его, как все, N, она не могла иначе.

N, явившись один раз, стал появляться и другой раз, и третий, и десятый. Стал — приходить. С цветами, как водится. С тортами. Вера в пост не вкушала торт. N косился на Веру, когда она тихо ела столовой ложкой из алюминиевой миски разваренную гречку, в то время как N и Зиновия, рядом с ней, отпивали чилийское вино из высоких бокалов и закусывали отменными устрицами из фирменного рыбного магазина на Тверской.

О чем N беседовал с Зиновией? Вера никогда не подслушивала их разговоров; хотя они оба Веру не стеснялись, при ней ругались, при ней мирились и звучно, вкусно целовались. Зиновия, Вера видела это, приняла N и простила; у них началось новое время их любви, и Вера радовалась за Зиновию — вот, у нее теперь есть своя, женская жизнь, ведь она молода, и она хочет жить, и, хоть жизнь эта у них, у мужчины и женщины, во грехе, да Господь все устрояет; все управит Он и тут; если суждено им Богом, людям этим, быть вместе, — будут.

И Вера не замечала того, что происходило на самом деле; ее глаза не видели, уши не слышали. После концертов она молилась в своей комнате — она обратила комнату в келью: у нее

там по стенам висели дешевые софринские иконки, купленные в церковных лавках, да на видном месте, на деревянном столике с высокими, как у богомола, тонкими ножками лежало ее родное Евангелие, что колесило вместе с ней по земле. Она молилась, как всегда, сосредоточенно, отрешаясь от всего мирского, полностью погружаясь в разговор с Богом.

Молитва — это и был ее дом, а вовсе не роскошная, царская квартира Зиновии. Все, происходящее с ней, Вера принимала сердцем, потому что сердце ее непрерывно молилось.

Так, беспрерывно молясь, на ходу про себя повторяя Иисусову молитву, подобно преподобному Серафиму Саровскому или святой Иулиании Лазаревской, она и не увидела, не заметила, что случилось.

Н приходил уже очень часто, через день, а потом и всякий день, когда Зиновия и Вера пребывали в Москве. Цветы в доме не переводились. И все чаще Н подсаживался к Вере, перемолвиться с нею парой слов. Все чаще просил ее: «Вера, спойте, пожалуйста, вашу новую песню». Вера послушно садилась к роялю. Ее неумелые, негибкие, слишком твердые для музыканта пальцы с трудом впивались в клавиши, она давила их, как давят смородину в медном тазу, чтобы пересыпать сахаром. Да, она пела. А Н — слушал.

И Вера не видела, как он слушал; она была занята песней.

День этот настал просто и печально, как все остальные дни в круговерти метельного времени. Н подгадал, когда Зиновии не было дома. А Вера была. Она, засучив рукава и подоткнув подол рясы, убирала квартиру, отпустив домой горничную. Открыла дверь на звонок. Никогда она не спрашивала трусливо: кто там? Зиновия журила ее за это. «Верочка, ты дурочка! Это же мегаполис! А не монастырь! Здесь любой тебя по голове булыжником долбанет, или ножом пырнет! Или пулю в тебя с порога всадит — и давай грабить! А у меня, сама понимаешь, есть что стащить!»

На пороге стоял N. Бледный как снег. самого еле видно из-за громадного букета белых роз. Вера поклонилась, приглашая гостя войти. Он вошел. Сбросил плащ. Вера смущенно одернула рясу, взяла у N из рук розы и поставила в воду — не в вазу: в ведро. Они сели за стол. Розы в ведре благоухали. N заметно волновался. Губы кусал. Вера глядела ему в лицо прямо, светло и спокойно.

— Простите, — сказал N, — простите, простите. Я — люблю вас.

Вера вроде бы и не удивилась. Выслушала это, наклонила голову. Молчала.

Она давала человеку свободу: говорить, молчать, плакать, уйти.

— Вы можете смеяться надо мной.

Вера вздохнула.

— Но вы же любите Зиновию. Вы же всегда любили ее.

— Да. Я любил ее. И сильно любил. Но я любил тело. И меня любило тело. Чужое тело. А я всю жизнь искал душу. Душу! Понимаете, душу! Я всю жизнь... душу искал! И вот нашел! Нашел... вас... Не смотрите на меня так! Вы глазами из меня — душу вынимаете!

Вера отвела взгляд. Закрыла глаза.

Губы ее шевелились. Она беззвучно повторяла Иисусову молитву.

— Вера!

N взял в свою руку ее руку. Вера какое-то время руки не вынимала. Чужое тепло перетекало из руки в руку, и она прислушивалась к этому перетеканию, спрашивала себя: хорошо ли это? плохо ли? что я должна делать? — и не делала ничего, просто так сидели, рука в руке.

Потом она, будто опомнившись, мягко вынула свою руку.

И ее рука все еще хранила тепло чужой любви.

И Вера помолилась за любящего человека: «Господи, спаси его и сохрани».

— Я не могу вам помочь.

Он плакал.

— Я так и знал!

Склонился над коленями Веры. Припал губами к ее руке, спокойно лежащей на коленях.

Тепло чужих губ. Боль чужой любви. Нельзя быть вместе, но и расстаться тоже нельзя. Так рядом!

Дверь стукнула. В гостиную, нераздетая, прямо в шубе и сапогах, разъяренной зверицей ворвалась Зиновия.

Вера, как издалека, услышала ее вскрик.

— Я так и знала!

«Вот она почему-то знала все. А я почему ничего не знала?»

Н оторвался от руки Веры, выпрямился, поднялся, глядел на обеих женщин сверху вниз. Высокого роста он был. Глаза его вспыхивали слезами, а лоб волновался, как море, морщинами. Ничего не говоря, не глядя на Зиновию, он вышел. Зиновия резко, грубо, чуть не разрывая мех, стащила пушистую песцовую шубу, переступила через нее, обернулась и пнула ее, как убитого зверя. Вколачивая каблуки в паркет, протопала к столу. Села. Мерила Веру острым, ножевым взглядом.

— И что скажешь?

Вера молчала.

— Монашка умоленная! За моей спиной!

Вера молчала.

— Далеко у вас зашло?! Отвечай!

Вера подняла на Зиновию глаза.

— Зиновия... ты ли это... Бога — побойся...

— Никакого твоего Бога я давно не боюсь! — кричала Зиновия, из глаз ее летели искры слез и ненависти. — Никакого! Я так и знала! Я чувствовала! Ты — предатель! Иуда ты! Ты ничего не говорила мне! Чтобы я... — Задыхнулась. — Да чтоб ты... — Осеклась. — Да ты бы хоть прощенья попросила! У других — просишь! а у меня — нет! Слабо тебе!

И крикнула, протяжно и страшно:

— Свята-а-а-ая!

Вера встала из-за стола.

Что-то ей надо было сделать сейчас же; или уйти, и уйти навсегда, или остановить истерику Зиновии, дать ей воды, безжалостно облить ее холодной водой, потом растереть полотенцем, и слезы ей вытереть, обнять, утешить; и правда, может, встать перед ней на колени и прощения у нее просить, как она просила прощения у всех людей, кто их прилюдно оскорблял; а может, надо было размахнуться и вlepить Зиновии пощечину, от всей души, и заорать: да никого я не люблю, и ничего и не было, и быстро ты брось эти штучки, рыдания и вопли! разве же я способна на такое, ты же сама видишь!.. а если ты меня до сих пор не поняла, тогда иди, думай, молись, плачь, понимай!.. — и вдруг как кипятком окатило ее: когда сидела она за столом, а он, N, целовал ее руку, разве не приятно, не радостно ей было? Разве нежностью, сладким теплом не обдавал этот горячий, со слезами, поцелуй ее изнутри? А вдруг она сама любит его? И врет сейчас Зиновии, врет, что не любит.

«Но я же... я же — монахиня... я же — всех люблю... всех...»

И Вера растерялась.

Она не знала, что ей делать. Не знала себя.

И стыдилась себя, и боялась себя.

И спрашивала себя: «А что ты чувствуешь по правде? Что? Что?!»

Не было у нее на это ответа.

Медленно, медленно опустилась она перед Зиновией на колени.

И обняла ее ноги, крепко, крепко обняла.

— Зина... прости...

Зиновия дрожала.

— Ага! Прощенья просишь! Значит, рыло в пуху!

Она оттолкнула Веру, зло, грубо, как давеча шубу, пнула, и сама отошла, и запустила пальцы с острыми крашеными коготками себе в смольные волосы, и закинула к потолку лицо, и смеялась, и плакала, — сходила с ума. Вера все еще стояла на коленях. У нее не было сил ни подняться, ни говорить, ни идти. Она склонилась, будто в земном поклоне, и лбом припала к паркету.

И так, согнувшись, стояла на коленях, уткнувшись лбом в пол, как на молитве напротив чудотворной иконы. И незримая икона громадными глазами с темного, закопченного лика, светясь синими выпуклыми белками и прозрачными озерными радужками, зрачками сияя, в которых — не чернота, а золото живое, жалобно, слезно глядела на сжавшуюся в покорный ком Веру, как на приبلудную собаку, как на жалкого голодного зверя, что всецело — в чужой могучей власти.

Посреди ночи Вера внезапно проснулась. Она теперь спала у Зиновии не на мягком диване, не на заграничной пуховой перине — на жестких досках, чуть прикрытых верблюжьей кошмой, а сверху грубой льняной простынкой. Такою была ее просьба о ночлеге.

Услышала легкий скрип. Еще, еще один. По плашкам паркета кто-то очень осторожно шел. По деревянному мосту через незримую реку.

...перламутр минут, гиацинт часов...

...отведи беду... отодвинь засов...

...нет... только не зажигай свет...

Вера таращилась во тьму, но огня не зажигала. Рядом с ее рукой на стене висел выключатель ночника. Она не протягивала к нему руку. Ждала. Глаза скоро привыкли к темноте. Она услышала дыхание. И запах спирта. Кто-то пьяный вошел к ней. «Поздние гости Зиновии? Кто-то мотался по дому и заблудился? Горничная подвыпила... ночевать осталась... и бродит?..» Глаза различили во мраке светлую ночную рубашку до полу. Белую праздничную ризу в полумгле храма.

Белую розу.

Человек вступил в полосу лунного света. Выблеснуло лицо секирой. Женщина. «Зиновия!» — хотела воскликнуть Вера, да не успела: певица уже наваливалась на нее всей тяжестью, грудью и животом, и силилась набросить ей на шею тонкий жесткий

шнурок. Вера все сразу поняла, отбивалась. Вертела головой, отдирала от груди, от голой шеи липкие пальцы.

Пьяная Зиновия перебарывала Веру, оказывалась сильнее. В Москве певица потихоньку набрала вес, снова стала той пышной примадонной, что когда-то приехала спасать свою жизнь в иерусалимский монастырь. Ей удалось обвить шею Веры удавкой. Сильные пальцы Зиновии затягивали удавку, пьяный язык плел кренделя, вышептывал то, что трезвая таила в себе, скрывала.

— Ах ты змея!.. подколотная... Вот она и вся твоя святость... Подлая ты, подлая!.. Ну ничего... молись... сейчас полетит твоя душа в Рай... или куда там?... Молись, давай, молись... мысленно... не рвись, дура... я все равно сильнее...

«Господи Иисусе Христе... Сыне Божий... помилуй мя... грешную...»

Вера лежала под ней, она все еще не верила, что Зиновия ее убивает; ей казалось это невозможным. «Мне снится страшный сон, я сейчас помолюсь, поднатужусь, скажу себе, что это сон — и проснусь». Когда пришло понимание: это не сон! — было поздно и бороться, и молиться: Зиновия уже сильно, зло стягивала петлю.

— Сдохни... сдохни, собака!..

Вера видела над собой искаженное злобой и бешеной ревностью пьяное лицо Зиновии, оно уже начало подергиваться туманом; она не могла поднять руки, чтобы оттолкнуть Зиновию или процарапать ногтями ее лоб и щеки. Тело утратило силу. А душа еще ныла и стонала. Еще хотела жить. Воздуху не хватало. Рот открывался и закрывался, как у рыбы.

Из последних сил, выгибаясь на жесткой своей постели коромыслом, Вера выхрипнула:

— Прости ей... Господи... прости...

И тут случилось чудо. Пальцы Зиновии разжались. Вера громко и хрипло вдохнула воздух. Она дышала с таким звуком, будто ножом чистили сковороду. Вдыхала воздух еще, и еще, и еще раз, и веря себе, и не веря: жива. А убийца? Что с ней? Вера не видела Зиновию. Или Вера ослепла?

— Зина... — Хрипы разрывали грудь. — Зина... где ты...

Рядом, на подушке, валялась черная удавка.

Зиновии не было нигде.

Вера приподнялась на кровати на локте — и увидела ее.

Зиновия распласталась на полу животом. Ноги разбросаны по полу, руки согнуты в локтях, ладонями затылок обхватила. Трясется, стонет. Бормочет невнятно. Вера прислушалась. Да, говорит! Ей, Вере. С ней. И ей все равно, слушает, слышит ее Вера или нет.

— Я тебя... к музыке ревновала... не только к нему... к поганцу... а к песням... к успеху!.. мне казалось — ты у меня успех крадешь... что все восторги лишь тебе достаются... А я, я одна... хотела успеха!.. невероятного, громадного... чтобы мне одной доставалась вся слава... А тут — ты... под боком... как бельмо на глазу... да еще как поешь... так поешь — лучше меня... лучше... лучше... все сердца сразу в плен берешь... а меня уж никто и не слушает... и никто на меня не смотрит...

Вера, надсадно кашляя, прижав ладонь к искалеченному удавкой горлу, с трудом спустила ноги с кровати, хотела идти — и упала рядом с лежащей на полу Зиновией бессильным тяжелым снопом.

Она хотела ее обнять.

И обняла.

Теперь она, Вера, всю тяжестью своей, жесткой, углой, легла на Зиновию. И придавила ее к паркету, так срубленное дерево придавливает раненого зверя.

— Ты мне все говори, все, все... я все выслушаю... все пойму...

— А... простишь?...

Зиновия повернула лицо, она щекой лежала на полу, ее рот безобразно расплущился, губы, набухшие вином и рыданиями, еле шевелились.

— Бог тебя уже простил...

Лежа под Верой, обнимающей ее, Зиновия, задыхаясь, лепетала:

— Я!.. я гадина... прощенья нет мне... Я ведь давно хотела тебя убить!.. очень давно... еще в Иерусалиме... когда к тебе все шли и шли, и вот я думала: вот она святая... ее все любят, превозносят... к ней все идут на поклон... и помощи у нее просят, и руку ей целуют... а у меня никто помощи не просит, только вопят мне: песен!.. песен!.. пой нам!.. пой быстрее, да все самое лучшее, мы тебе — денег заплатим!.. Я свой дар обращала в деньги... в одни только деньги... и не стыдилась... Бесстыжая я была... и есть... сгорел мой стыд синим пламенем!.. а когда, я и не заметила... Не... заметила...

Сотрясалась в бешеном плаче.

Вера быстро, жарко целовала ее затылок. Потную шею в вырезе рубахи, спину, плечи.

— Ну Зиночка... ну успокойся, успокойся... все ведь кончилось, все... ужас прошел... давай Господу помолимся...

Одним резким движением Зиновия перевернулась с живота на спину, отбросив в сторону Веру, и Вера разжала объятия и испуганно притиснула руки к груди.

— Господу?! Господу... Да разве же я сейчас на Господа имею право! Я же — убийца!.. чуть ею не стала...

— Господь пришел не к праведникам, но к грешникам, — хрипло и твердо сказала Вера.

Зиновия лежала на полу лицом вверх. Смотрела на Веру.

Вера смотрела на нее.

Зиновия смотрела на Веру глазами растерянными и все еще ее ненавидящими. И себя — ненавидящими. За то, что грешница; что пьяная дрянь; что не удержалась, не устояла.

Вера смотрела на Зиновию спокойно и мрачно. Так смотрит мать на сына, что убил ближнего своего; и не прощает его; и тут же прощает, ибо она — мать.

Она только мать, и ей нельзя убить и затоптать своих детей.

Ее дети согрешат, убьют, предадут, а она простит их, а если они не способны каяться, она сама покается за них.

— Зиновия... Зря ты пила вино...

— Не вино, а коньяк, — страшно усмехнулась Зиновия.

— Ты простудишься так лежать. Вставай.

И Вера протянула Зиновии руку, а потом вторую.

Она протянула ей обе руки.

Зиновия схватилась за руки Веры, Вера потянула ее вверх, все вверх и вверх, и так подняла ее на ноги. Обе стояли, шатаваясь, будто обе пьяные. Обнимали друг друга, поддерживали друг друга, чтобы ни одна не упала.

— Сядем... ноги слабые, как ватные...

Сели на Верину кровать.

— Верка... — Зиновия опять еле плела языком. — Ты вот что спишь на каком бездарном ложе... жестком, сволочном... как в монастыре... тело твое... не отдыхает нисколько...

— Не надо, чтобы тело наслаждалось, — Вера закрыла глаза, тяжело дышала. — Надо, чтобы дух работал.

— Вот у меня работал-работал... и отбросил копыта...

— Не кощунствуй. Тебе надо попить воды. И мокрое полотенце на лоб. Я сейчас... принесу...

Вера встала и с трудом побрела в ванную комнату. Появилась с намоченным полотенцем и с кружкой холодной воды.

— Пей!

Зиновия покорно пила.

Вера обвязала ей голову мокрым полотенцем.

— Сиди так. Через полчаса хмель выветрится. Ничего не говори. Просто смотри на меня.

И Зиновия послушно, как собака, смотрела среди ночи на Веру, на ее бледные щеки и капли пота, что катились с висков на щеки, на развитые и мокрые ее волосы, на монастырский платок, сползший на плечи, — им Вера повязывала голову на ночь. На дрожь ее пальцев, на коричневую букашку малой родинки над верхней губой. Смотрела Вере в широко раскрытые под высоким лбом глаза.

А из глаз Веры на Зиновию смотрела недавняя смерть.

Вера ее увидела и переплыла, и глаза ее все еще смерть отражали.

Но жизнь подносила свое серебряное-золотое, угрюмое в угрюмой ночи зеркало прямо к Вериным глазам. Из живой амальгамы вливалось все живое в Веру, питая, насыщая. Прощая.

— Зина! Тебе лучше?

— Да, Вера.

— Я отведу тебя спать? Надо уснуть. Хочешь не хочешь, а надо.

— Может, лучше я с тобой посижу?

— Нет. Не надо.

— Ты меня не бойся. Я уже...

— Я знаю. Я не боюсь. Просто надо отдыхать. Завтра работа.

Репетиция. А послезавтра концерт.

— Я знаю. Вера! Прости меня. Простишь?.. простила?..

— Когда ты это делала, я тебя уже простила.

Зиновия упала головой в колени Вере.

— Прости... святая... еще раз!.. и еще!.. и каждый день... все прости и прости... все прости и прости...

Вера улыбалась, и слезы длинными белыми, в ночи серебряными полосами разрезали ее полынно-бледное, жесткое лицо.

— Бог простит.

Ты меня убила. Ты возревновала.

Ты жестоко, страшно позавидовала мне:

Что не ты, а я другого целовала —

Не устами — сердцем: птицею в огне.

Долго ты готовилась. Даже и молилась.

Ладила веревку... точила смертный нож...

Ну, давай, убей меня, подруга. Сделай милость:

От сумы, от тюрьмы и тьмы — не уйдешь.

Вот и свечерело. Постирала рясю.

Возвела глаза на иконописный дым —

На кольчугу скани, на рубины-стразы,

На нежнейшую ликом, честнейшую Херувим.

А никто не верит. Времячко иное.
Бездною безверье зверие глядит.
Ты, моя убийца, нынче будь со мною —
Не ревнуй напрасно, не таи обид.
Тебя привечаю. Наливаю чаю.
Кто тебе такая на седой земле?..
Бедная расстрига, певчая-шальная,
Ряса черным ветром — в поземке, во мгле.
Не ревнуй к любви! Реки пьяной крови
Протекают мимо наших губ и глаз.
Где твоя веревка? Нож наизготове?
Молюсь перед смертью — будто в первый раз.

Что же ты рыдаешь, меня не убиваешь,
Что прощенья просишь, не встаешь с колен,
Что слезами жаркими ярость заливаешь,
Что бормочешь тихо: все прах и тлен...
Не скажу ни слова. К смерти я готова.
Ряса моя чистая. И душа чиста.
Кто меня любил — пусть полюбит снова.
Обольет слезами подножие Креста.
Тяжко в жизни Вере. Не откроют двери.
Закрывают ставни... сердце — на замок...
Люди, вы же люди. Люди, вы не звери.
Люди мои, в каждом — одинокий Бог.
Тоже человек Он! Больно ему, туго!
Умирать не хочет! Лысая гора!..
...ты моя убийца. Ты моя подруга.
Ты же, Богородица, плачешь до утра.

Вера обратила человеческие страсти и страдания в песню. Обе пели ее на концертах. Публика слушала с замиранием сердца. Песне этой всегда кричали «бис», и Вере и Зиновии приходилось еще и еще раз петь ее. Зиновия пела, и слезы блестили

у нее на глазах. Вера пела страстную, страшную песню спокойно и гордо. Ее низкий голос летел над залом, взмывал большой сумасшедшей птицей и улетал к небу через лепнину потолка, через сырую холодную жесть крыши. Все та же ряса, народ уже к ней привык. Все тот же апостольник, обвязанный вокруг шеи.

Когда она, дома, разматывала и сдергивала с себя апостольник, чтобы расчесать волосы перед сном, и подходила к зеркалу, зеркало холодно отражало ее суровое, подсушенное безжалостным временем лицо и узкую красную борозду от Зиновьиной удавки на высокой и гордой шее.

N, после покушения Зиновии на жизнь Веры, больше не появлялся в доме Зиновии. О нем не было ни слуху ни духу. Однажды раздался телефонный звонок. Зиновии не было дома. Вера медленно подошла к телефонному аппарату, сработанному под старину: трубка лежит на позолоченных оленьих рогах, циферблат с ангелочками. «Добрый день. Говорите. Не молчите!» Длинное молчание порвал надвое знакомый голос. «Вера? Только не бросайте трубку. Я прошу вас о встрече. Если вы боитесь дома, да, дома лучше не надо, давайте на улице. В ресторане. В кафе. Можно где-нибудь в спальном районе, чтобы нас не увидели. Не узнали». — «Хорошо», — ответила Вера. И больше ничего не сказала.

Они увиделись с N возле дальней, на поверхности земли, станции метро. Воздух дышал весенним безумием. Рядом с метро весело мчались пригородные поезда. N не прикасался к Вере. Не брал ее под руку и даже не смотрела на нее. Она видела: это он боится ее, а не она его. Они быстро нашли бедное кафе. Низкие темные потолки, плафоны горят желто-молочным, унылым светом. На одном-единственном столе в вазочке торчали мимозы. «Сядем к мимозам, — кивнула Вера, — они живые». Сели.

И молчать, и говорить было одинаково трудно. Первым отважился N.

«Вы простили меня?» Вера думала мгновение. «Вы ни чем не виноваты. Ни передо мной, ни перед Богом». N поморщился.

«Опять вы о вашем этом Боге! Мы не в церкви, и не в монастыре. Я вызвал вас не просто так. Не... чтобы поглядеть на вас... хотя и это тоже. Вот... гляжу». Он и правда вскинул голову и гладил и целовал Веру глазами.

«Я слушаю», — спокойно сказала Вера, когда молчание выплеснулось через край.

«Я долго не буду вас мучить. Без предисловий. Только ни о чем не спрашивайте меня. И... не переспрашивайте. У меня есть сведения, и они достоверные, что скоро... может быть, завтра... начнется война».

Вера не удивилась. И спрашивать, как ее о том просили, ничего не стала.

Просто сказала: «Война все равно начнется. Только никто не знает, когда».

Н вдохнул и громко выдохнул. «Спасибо, что вы не женщина. Извините, я не хотел. В том смысле, что вы не ахаете, не плачете. Вы не обиделись? Сведения мои очень точные. Я допущен в святая святых. Я дружен с людьми, они... я не имею права о них говорить. И даже вам. И никто не имеет права. Да и что вам скажут их имена? Вы далеки от этого всего».

«Да, — склонила голову Вера, — я далека».

Н нервно мят руки на столе, он заказал кофе и мороженое, Вера пододвинула ему мороженое: «Мне нельзя, сейчас Великий пост», — Н поморщился, Вера усмехнулась, отхлебывала из крошечной, как ракушка-беззубка, чашки крепкий кофе, а Н что-то говорил ей, она уже не слышала. Призрак Большой Войны заревом встал перед ней, и она не знала, куда ей спрятаться. Да и все люди не знали. Они бежали, пригибались, приседали, ложились животами на землю, вминали лица в камни и песок, молились — Вера не ушами, а отчаянным сердцем слышала их молитвы, — и она молилась вместе с ними, а зарево росло и надвигалось, и не укрыться от него. Сегодня или завтра, все равно! Зачем же тогда была вся жизнь земная? Все людские любви? Все дети, что рождались и громко вопили, когда их обмывали и пеленали, все старики, что смиренно уми-

рали? Зачем богомазы писали иконы, музыканты играли на скрипках и дудках, а певцы пели песни, широко разевая восторженные рты? Зачем тогда было все это? Уж лучше бы никогда всего этого не было. Зачем Бог положил человеку рождать в мире неизреченную красоту, а сам обрек тварь земную на постоянное, страшное ожидание Страшного Суда? Что есть Большая Война? Это, видать, и есть Страшный Суд. «Восстанет Бог на Суд, и небо, и земля разорятся, весь мир разрушится, все красоты его исчезнут. Восстанет Бог на Суд нечестивых и непокорных, и тварь обратится в прах. Кто в состоянии вынести силу Его? Падут перед Ним все высоты и низринутся все долины; и небо, и земля прейдут и исчезнут, как дым, — шептала Вера, нимало не задумываясь о том, слушает ее N или нет. — И перед Ним, и окрест Его огонь пополяет и поедает грешных и безбожных. И все те, которые не чтили и уничтожали Его, издеваясь над Его долготерпением, как сухие ветви истреблены будут исходящим от Него огнем. Небо омрачится от ужаса: какой же нечестивец спасется тогда? Море высохнет от страха: какой же беззаконник останется в живых? Вся земля сгорит: какой же грешник избегнет наказания? Огонь возгорится от Господа и всюду потечет на отмщение; и небо, и земля, и море воспламятся, как солома!» Она не понимала, что говорит слова преподобного Ефрема Сирина уже громко, во весь голос. На нее изумленно и гневно глядели люди, сидящие за столами в кафе. Кто-то постучал согнутым пальцем по лбу: дурочка! Кто-то рассерженно бросил N: «Слушайте, уведите вашу даму, она невменяемая! Здесь люди отдыхают, едят и пьют, а вы!..» Издалека крикнули: «Как накачалась бабенка! Выведите ее! Позовите вышибалу, официант!» N пришлось взять Веру за руку, и тогда она прекратила быть Ефремом Сирином. Вырвала руку и прижала ладонь ко рту. «Я люблю, когда вы так руку прижимаете к губам», — пробормотал N. В его глазах ходило северное сиянье.

Ваза с мимозами упала, N неловко, локтем задел ее, вода растеклась по столу.

Вера пришла домой. Лицо ее превратилось в камень. Зиновия была уже дома, ураганом бегала по комнатам, вывалила из шкафов все платья — завтра их ждали с концертом в Кремле. Вера прошла мимо Зиновии, как мимо шкафа, тяжело, мешком, села в кресло. И будто вросла в него. Не двигалась. От каменного ее лица исходил лютый холод. Зиновия бросила копошиться в ярких тряпках. Подошла к Вере. Села на пол у ее ног на маленькую скамеечку. Скамеечку эту смастерил Зиновии N, когда он еще любил ее. Смотрела на Веру снизу вверх. Все вверх и вверх.

Смотрела и ничего не говорила.

Вера наконец перевела на Зиновию глаза.

— Что, Зина?

— Это что с тобой, Вера. Ты сама не своя.

Вера ослабила пальцами хватку платка на шее. Зиновия видела: она задыхается.

— Все ерунда. Все преходяще. Давай лучше я поглажу твоё платье. Ты уже выбрала платье на завтра?

— Выбрала. — Зиновия похлопала себя ладонями по бокам. — Вот оно! На мне.

— Снимай. Эта ткань мнется. Я поглажу.

Зиновия стащила платье через голову. Вера взяла его, аккуратно разложила на гладильной доске, возила по яркой цветастой ткани тяжелым, как гиря, утюгом.

Зиновия сидела в одной сорочке на смешной детской скамеечке, глядела на Веру.

— Ты так красиво гладишь. И умело! Я так не умею.

— Меня мать научила.

Через секунду, тяжело разглаживая шов, Вера набрала в грудь воздух и вытолкнула:

— Я видела сегодня N. Она сказал мне: скоро война.

Зиновия сидела не шевелясь. Потом медленно сползла со скамейки на пол. Сорочка ее задралась и лежала на паркете вокруг ее бедер мертвым шелком. Она заплакала так быстро и так горько, что Вера испугалась — такой плач нельзя было ничем утешить.

Только одно оставалось. Вера поставила на железную подставку утюг, бросила на диван глаженое платье и села на пол, рядом с Зиновией. Обхватила ее за голые плечи. Крепко обняла. И заплакала вместе с ней.

Так они сидели и в голос плакали, две бабы.

«Этот концерт будет последний», — сказала Вера Зиновии.

«Как — последний?» Зиновия все еще не понимала.

«Очень просто. Я больше не буду петь».

«Со мной?!»

«Ни с тобой. Ни с кем».

Зиновия пожала плечами: блажь, настроение такое!.. вот пост закончится, и наступит Рождество, и все вкусно поедят, и Верочка тоже, и все плохое отлетит, как с белых яблонь дым!.. вот ведь она, Зиновия, даже смерть сына пережила, а ей-то, ей-то что страдать?.. никого особо не теряла, никого не любила... ну да... не любила... и не полюбит... сухарь несчастный, Верка, сухая косточка... галета иерусалимская... Готовились к концерту. Складывали ноты в кейс. Зиновия шептала себе под нос, повторяла тексты, чтобы не забыть. Бросала в косметичку пудру, патроны помад, духи, бусы, серьги: артистка на сцене должна радовать глаз зрителя! иначе грош ей цена в базарный день! Зиновия пялила на ноги тесные туфли, морщась, неуклюже бегала в них по комнатам: разношивала. «Ох, красотища!.. да малы немного. Верка!.. я в них водки налью, они по ноге и расправятся!» И правда, наливала в туфлю водки, хохотала: «Теперь от меня горьким пьяницей пахнуть будет!» Вызвали персонального шофера. Обе, и Зиновия и Вера, сошли по лестнице вниз, машина ждала у подъезда. У Веры было чувство, что она спускается в преисподнюю.

— Судия восседает на огненном престоле; окрест Его море пламени, и река огненная течет от Него подвергнуть испытанию все миры. И в людей вложил Он огня Своего, чтобы не попалил

их оный огонь, когда воспламенит Он всю тварь и будет очищать ее как в горниле...

— Что ты там бормочешь, Верочка? Быстро в машину! Все рассчитано по секундам!

И они втиснули свои тела в лаковую красивую железную повозку, и покатила железная повозка по каменным улицам, неся обеих женщин в своем брюхе: чтобы родить для толпы людей, собравшихся в блестящем холодном, как ледокол во льдах, зале, единственную, жаркую музыку.

Как они пели на том концерте? А разве музыку можно — словами? Слово тоже может стать музыкой, но для того, чтобы это произошло, надо умереть и еще раз родиться. Несчастен тот, кто не умеет умирать. Если ты в юности прошел через смерть, она не страшна тебе и в старости, она — твой друг. Господь прошел через смерть, и музыку Его бессмертия слушает весь мир вот уже две тысячи лет. И вечность будет слушать; Он сам сделал Свой выбор. Не убоись ничего, человек! Ты ведь создан по образу и подобию Божию. Зачем ты сам себе врешь, что ты не музыка? Ты — музыка! И ты — Бог!

Но только тогда, когда ты не глумишься над Ним и не плюешь в Него, и не вопишь на всю грязную площадь: «Распни Его!» — а молишься даже не Ему: молишься — за Него.

Они обе вышли на сцену и поклонились, и запели. Оркестр сливался с их голосами, вместе, сияя, голоса живыми реками бежали к океану. Океан сиял, перекачивал волны вдали. Розовый и золотой прибой топырил пенные гребни. Необъятная музыка колыхалась, звала. Ждала. Ее жаль, так жаль было покидать. И разве Веру кто просил это делать? Ее просто вели, и она шла.

«Господь, спасибо Тебе, что Ты ведешь меня. Спасибо Тебе за волю Твою. Я исполнила свое дело здесь, и я опять должна срываться с места и лететь. Прости меня, если тут было что не так!»

...руку твою сжать... так крепко, до кости сжать...

...я твое дитя. Ты моя мать.

...я твоя мать. Ты мое дитя.

...я тебя родила, в небесах летя.

...ты моя подруга. Колющее жнивье.

...ты дрожащее, живое зеркало мое.

Она не слышала, как катился к их ногам прибой аплодисментов, и им кричали «браво» и вызывали на бис. Зиновия брала ее руку, пожимала, у них были условленные пожатия: два раза — это на бис песню поем, два коротких, одно длинное — поем на бис, но не эту песню, а другую. А одно пожатие — это значило: ничего не поем, устали, просто низко-низко кланяемся! Два раза, песня на бис. А какую мы пели? Только что? Я не помню. Не помню!

— Зина... что поем...

Шепот беззвучный. Зал кричит и рукоплещет.

Оркестранты стучат смычками по струнам.

— Как — что... только что пели... память отшибло... «Молитву»...

— А, «Молитву»...

И они пели «Молитву», недавнюю Верину песню, и в зале опять плакали люди, потому что люди, на краю смерти, хотели жизни, и чужие нежные голоса им ее — давали, полными горстями, и люди ели и пили эту жизнь, и готовы были пить и есть всегда, и дорого за нее заплатить, даже не деньгами, нет, чем-то гораздо более драгоценным и важным: возможно, даже жизнью самой, — с этой музыкой они не боялись умереть, и это была этой музыки главная тайна, ни у кого не хранилось за пазухой такой тайны, только у этих двух странных женщин, одна монашка, другая царица, пышная и красивая, как Екатерина Вторая, да что вы сочиняете, простая русская баба, на крестьянку похожа, да они обе крестьянки, глядите, какие грубые руки у той, что в монашьем платке, и лицо у ней грубое, будто топором стесанное, да, лицо как скала, к такой не подступишься, — а голос, голос! Он же летит сквозь тебя! Насквозь! Он тебе... состав крови меняет... эти песни послушаешь — и другим человеком становишься...

— Моя молитва — мое объятие. Моя молитва — любовь моя.

— Снимаю жизнь я, как будто платье!.. устала в тесной одежке я...

Они обе пели слова Веры и песню Веры, и Вера пела ее, как чужую, Божию, а Зиновия пела и сладко завидовала: вот, гляди ж ты, какое чудо сподобилась написать, моя преподобная.

Вера пела: «Устала, Боже!.. уплыли силы...» — а ее собственную музыку и ее собственные простые, земные, жалкие слова заслоняло это, великое: «Суд без милосердия и огонь неугасимый ждут нас. Помни о сем, душа моя, позаботься избавиться от сего и возьми с собою добрые дела в дар Судие». Иная музыка, мощнее и величавее, печальная, необъятная, огненными столбами восставала перед нею до неба, и была эта музыка гораздо сильнее и чище всех на свете человеческих музык; и только немногие из человеков могли такую музыку услышать, и нотами — записать. И ночными, неутешными слезами — оплакать.

— Ни от сумы... ни от тюрьмы...

— Я жизни Божьей... я жизни милой...

— Я жизни светлой — молюсь...

— Из тьмы...

Песня закончилась, две певицы стояли на сцене, и не могли ни говорить, ни петь, ни кланяться — силы их все, до капли, были выпиты музыкой, которая больше не повторяется в жизни. Люди встали с кресел, поднимали над головами руки, хлопая. Плакали. Улыбались. Кто-то крестился. Кто-то лицо ладонями закрывал. Густой гул стоял в зале. Обе женщины стояли недвижно, и шевельнуться не могли. Вера закрыла глаза. У нее было чувство, что ступни ее приподнялись от пола, и она повисла в воздухе.

— Вот это успех, — шепнула Зиновия.

Шепот этот отрезвил Веру. Она повернула к Зиновии голову.

— Давай поклонимся.

Они взялись за руки, как дети, и поклонились — раз, другой, третий.

Зал неистовствовал.

И тут из первого ряда поднялся человек, высокий, с гладко выбритым лицом, и сделал незаметный знак рукой, и тут же ему из-за тяжелого атласного занавеса два служителя вынесли букет роз.

Это был не то чтобы букет. Цветочная пирамида, торжественный собор, сложенный не из кирпичей — из цветов. Темно-красные, бархатно-мрачные розы вспыхивали и гасли среди глянцевого болотно-зеленых листьев, турмалинами в пещере.

Человек этот был N. Он подхватил букет из рук капельдинеров и чуть не упал под его тяжестью. Поднял его перед собой, ничего не видел из-за плотной алой стены роз. Понес, осторожно ступая, осторожно всходил на сцену, нащупывая ногами ступени лестницы. Зал замер, утих. Все напряженно следили за человеком с могучим букетом. Многие узнали его. По залу ходили вспешки шепота: «Это N, N!»

Человек поднялся на сцену и тяжело, как медведь, ступая по широким доскам, пошел к обеим певицам. Дошел. Наклонил голову, пытаясь из-за частокола цветов увидеть лица женщин. Ему это удалось. Зиновия поймала глазами его глаза. Вера смотрела поверх него, поверх и мимо зала. Ему почудилось: эта полоумная монашка смотрит в небо. В ее холодных радужках плывли облака и скрещивались лучи. Она смотрела на Град Небесный и улыбалась.

N хотел протянуть великанский букет Зиновии. Она уже протянула руки. Он передумал. Склонился перед Верой и тихо, медленно положил розы к ее ногам.

Стояла тишина, как в колодце. N отступил на шаг. Зиновия закусила губу и побледнела. Вера вернулась с неба на землю. Увидела гору цветов у себя под ногами. Наклонилась, бережно, как новорожденного козленка, взяла букет, пошатнулась под его тяжестью, потом взвалила себе на плечо и так, с букетом на плече, медленно, чуть покачиваясь, припадая на ногу, пошла за кулисы. Она колола пальцы о шипы. Но улыбалась. Публика

не должна была видеть ее боли. Только радость. Зиновия стояла посреди сцены. Она растерялась. Идти вслед за Верой? Сзади? На вторых ролях? Нести невидимый шлейф ее непонятной, странной славы? Ее бледность сменилась густым гневным румянцем. Щеки ее стали такого цвета, как унесенные за кулисы Верой розы. Публика молчала. Публика боялась аплодисментами обидеть одинокую, посреди пустой сцены, певицу. Публике нечего было сказать Зиновии — ни криками, ни молчанием.

А в самом конце второго отделения на сцену бросили горбушку хлеба.

В насмешку? Весело глумясь?

«Дурацкую милостыню опять нам изобразили. Хулиганят! Унижают. Жеста нашего ждут. Воли нашей. Как себя поведем».

Вера втянула носом воздух и вдруг стала похожа на большую собаку, делающую стойку.

Кто вопил. Кто хохотал, пальцем показывал. Кто возмущался, веером обмахивался: боже, какая духота, какое издевательство! Кто ждал: что сейчас будут делать эти дивы, одна роскошная дама, в музейных жемчугах, другая умалишенная монахиня, в рясе до пят? Горбушка лежала у ног Веры, Вера к хлебу ближе стояла.

Зиновия подняла руку, останавливая поток оркестра. Река музыки перестала течь. Голые перламутровые руки Зиновии покрылись гусиной кожей. Она следила, как Вера делает шаг к горбушке, как встает на колени.

Вера встала перед хлебом на колени.

Взяла хлеб в руки. Вдохнула его.

И — поцеловала.

И опять затих зал. Сначала молитва, потом розы, теперь хлеб! Сначала: Бог, пусти меня в Рай! И вот Райский Сад. И вот опять на земле, полной мучений, со слезами ты ешь хлеб свой.

Вера откусила от хлеба. Ела его. Жевала. Проглотила. Люди, в душевной тишине, видели это.

Из партера, амфитеатра, лож и с галерки. Вера медленно съела брошенную на сцену ей, как собаке, грязную горбушку и, стоя на коленях, перекрестилась.

Встала. Молчала.

Поклонилась — на все четыре стороны.

Музыканты за пультами опустили головы. Дирижер яростно дергал галстук-бабочку.

За кулисами стоял продюсер и корчил гневные рожи.

И он ждал. И все ждали.

Когда Вера протянула руки к залу, зал ответил не овацией — настоящей бурей.

Вера бессильно обернулась к Зиновии, ясно, по-детски глядела.

— Так кричат... будто война началась...

— А хоть бы и началась, — сквозь зубы процедила Зиновия.

Потный румянец раскрасил ее яблочные, круглые щеки.

Они кланялись, держась за руки, а мир грохотал, гремел его гром, шел стеной ливень.

Они увиделись с N еще не раз и не два.

Вера пыталась узнать последнюю правду.

Она задавала ему вопрос, что задавала своему отражению в безумном зеркале — там, в монастырском Эдеме.

Есть ли ключ от сундука, где спасение хранится?

Есть ли тропа, по которой — уйти от гибели Мира?

N спокойно говорил с ней. Их обнимали то теплая, сдобно пропитанная пряностями и дамскими духами духота ресторана, то уличный колющий ветер. Время принимало обличье ветра и снега, расхристанных говорливых, грязных ручьев нежданной оттепели под подошвой, под каблуком. N говорил с Верой так, будто боролся с ней.

И она с ним билась; шло подлинное сражение.
Два человека пытались доказать друг другу правду.
Отнять правду друг у друга.
N не кричал. Не спорил с Верой. Он усмехался.
Холодные слова лились сквозь зубы, рот кривился.
Ей казалось: он презирает ее, дуру-бабу.
И она в ответ не кричала. Выдыхала слова тихо, нежно.
Но эта нежность полосовала N остро наточенным лезвием.
Мы самые сильные!
Мы не самые.
Мы герои!
Есть в других землях другие герои.
Мы богатые!
Подай всем нищим на всей снежной паперти. Всем!
Мы будем дирижировать этим оркестром.
Вера все понимала, но все же спрашивала.
Каким?
Миром!
Многие хотели стоять за этим дирижерским пультом. Мы
помним, чем это кончалось.
Все — мелкие черви у нас под ногами!
Вера оборачивала к N румяное от холода лицо, ветер гневно
поднимал мех ее воротника.
Зря вы мне это сказали.
Почему?
Потому что тот, кто говорит так — говорящий червь.
N умолкал. Они шли дальше молча, против ветра.

Вера не говорила Зиновии об этих странных встречах. Ми-
молетных, беглых; вроде бы незначущих; быстрых и холодных,
как мрачный дождь.

Она понимала: спокойное свидание и беспокойная беседа —
все, что она могла подарить N на этой земле. Что будет там, по-

том, в небесах, никто не знал. И она знала меньше всего. Облака могуче и грозно ходили в небе; в этих призрачных ладьях плавало, плыло время.

Иногда N приносил Вере подарки. Она долго вертела в смущенных руках красивый браслет из крупной яшмы и темно-зеленого малахита — и, повертев и насладившись его созерцанием, возвращала его, не глядя в лицо N. А потом все-таки вздергивала голову и пыталась на N глядеть. Она не видела его лица. Оно плыло мимо, как облако. Попадало в слепое пятно. А может, она его просто не запоминала.

Ночами пыталась, закрыв глаза, вспомнить, и попытка умирала, не родившись.

N пригласил ее в очередной ресторан. Она пыталась отказаться: «Да нет, давайте лучше погуляем!» Сегодня метель, сурово произнес он, и на Веру будто айсберг надвинулся, вы простудитесь, я хочу сберечь вас.

Она запомнила этот вечер на всю жизнь. Поверх рясы она надела серую беличью шубку — ее ей купила Зиновия, в бутике около Красной площади, задорого. Произведение знаменитого кутюрье, последний писк столичной моды. Вера пыталась шубку не носить — Зиновия насильно надевала ее на Веру. Туго завязать под подбородком апостольник, вот и вся защита от ветра и снега. Подумала, стоя перед зеркалом и чуть качаясь, и напялила высокую, как митра, лисью шапку из алмазно-блесткой чернобурки. «Звери, — подумала, — жаль зверей». Сердце сжалось, потом застучало. Когда Вера поворачивала ключ в замке, сердца в груди будто не стало: под ребрами зияла пустота.

Она обогнула дом, впечатывая в нападавший толстым белым слоем снег узкие сапожки, и тут прогудела машина — раз, еще раз. Вера вздрогнула и оглянулась. Водитель уже открыл дверцу, ждал ее. Она хотела сесть вперед, а потом вдруг захлопнула переднюю дверь и распахнула заднюю. Не хотела, чтобы N видел ее лицо слишком близко.

Он видел ее в зеркале. Улыбался. Потом мрачнел. Красивое богатое авто бесшумно скользило по широким и тесным улицам,

светящимся нежным снегом. В машине они почти не говорили. N вышел первым и подал ей руку; Вера подцепила рукой в варежке полу шубки и подол рясы и поймала насмешливый взгляд мужчины — детская варежка, диво дивное.

— Я зимой всегда ношу варежки, — прошептала Вера, а N стоял с ней рядом и сжимал ее руку.

Провел на крыльцо. Сияли громадные круглые, лунные фонари. Вера поскользнулась на мраморной ступеньке. N поймал ее, когда она уже падала.

— Вы фарфоровая, и можете разбиться.

— Я? — Вера задохнулась от негодования.

— Честно. Я все время за вас боюсь.

— Я монахиня, умею трудиться и могу постоять за себя.

— О, да вы почти что солдат. Вам легко будет воевать.

Они уже входили в стеклянное, зеркальное фойе. Он снял с нее шубку так, будто снимал платье. В зеркале она видела свое потное, залитое банно-вишневым стыдом лицо. Стояла столбом, не знала, куда и зачем идти, и N взял ее под локоть крепко и больно и повел вперед.

В огромном, будто тронном зале стояли столы из карельской березы, полированные столешницы отбрасывали на лица гостей золотой свет. N указал на свободный столик у окна.

— Садитесь. Я заказал.

Сели, подбежала официантка, узнала N, угодливо склонилась, разулыбалась, как на карнавале. У официантки на худом лице торчали толстые губы, толще двух сложенных бананов.

— Вот меню! Выбирайте! Что будете на первое? Салатики у нас вкусные!

Вера сидела с каменным лицом. N выбрал все сам, не тревожил ее.

И все же спросил, осторожно и строго:

— Почему вы молчите?

Вера молчала.

— Почему вы всё время молчите?!

— Не всё, — сказала Вера, — я иногда и говорю.

Он скрипнул зубами и натужно улыбнулся.

— И пою, — добавила Вера.

Он взорвался.

— О да! Поете! Еще как поете! Без умолку! Тут вам рот не заткнешь!

На их столик оглядывались.

Включили тихую нежную музыку. Музыка заливала горящие внутренности теплым молоком. Омывала склоненные друг к другу головы, в ней тонули глаза и пальцы.

— Это поет Зиновия... нет... да!.. это мы поем.

N прислушался.

— Да. Это вы поете. Вы поете так, что мне хочется взорвать мир.

— Вы и без меня... без нас его взорвете.

— Зачем вы играете в монашку?

— Я не играю. Я монахиня в миру.

— Ишь! — Он дернул головой вбок. — Я вам не верю!

Вера пожала плечами.

— Я не расстрига. У меня есть постриг, и есть обязанности; для меня весь мир теперь — монастырь. И мои послушания в миру — они такие же, как если б я жила в монастыре. И, может... — Она помедлила. — Я туда еще вернусь.

— Черт подери! — громко крикнул N. Опомнился. Вытер потное лицо ладонью снизу вверх, от губ до лба. — Жарко здесь!

— Да, не холодно.

— Как вы говорите со мной!

Официантка подскочила с подносом, расставляла на столе кушанья, бормотала:

— Два салатика с тигровыми креветками, зернистая икра, так... арманьяк... бастурма турецкая... вот бокальчики, бокальчики...

— А как нужно, чтобы я говорила? Есть правила?

N сжал пальцами подбривые виски.

— Ну что вы как неживая!

Вера отвернула лицо. Слезы подступили внезапно и щедро. Она не хотела, чтобы он видела, как она плачет. Он все равно видел это. Слезы крупно, быстро катились по щекам, шее за воротник.

— Я сейчас уйду, — прошептала она сквозь слезы, беззвучно.

Н схватил ее руку и поцеловал. На ее запястье отпечатались его зубы.

— Я не дрессируюсь, — шептала Вера сквозь рыдания, — я не ручная.

Он выпустил ее руку. Глядел в окно. По густо-синему, уже сине-черному московскому вечеру разудало плясала пьяная белокосая метель.

Когда он повернулся к ней, она увидела: его лицо медленно плывет к ней над столом, как охваченная огнем безжизненная планета.

— Давайте бросим всю эту чепуху. Страдать и прочее. Я вас позвал не для того, чтобы ахать тут и ручки вам целовать! Нет. Слушайте. Все серьезней, чем вы думаете... певица. Монашка! — Н изогнул рот в мгновенной усмешке. — Они распускают обманные слухи. По всему миру! Что у нас ракеты давно умерли, состояние их ужасно. И они не смогут долететь, если вдруг что. Взорвутся прямо в шахтах. Они кричат... слушайте!.. просто вопят!.. во весь голос орут!.. что мы заложили во все страны мира ядерные бомбы, и, когда надо, мы прикинемся любыми террористами и взорвем их. Песни и пляски смерти, мать их!.. О, простите, монашка. Вы же не переносите крепких словечек. А если я закурю? Вы вытерпите табачный дым? Только честно!

Вера наклонилась и вытерла мокрое соленое лицо подолом рясы.

— Что вы, вот же салфетки.

— Вытерплю. Курите на здоровье.

Она видела его руки, когда он щелкал колесиком зажигалки. Пальцы дрожали.

— Они врут, говорят гадости! Гадость на гадости сидит и гадостью погоняет! Столько злобы, это чудовищно! И эта злоба —

нам, все подарки, весь змеиный яд — нам. Кричат: эти заранее подложенные бомбы начнут взрываться, а мы тем временем нападём на Латвию! на Литву! на Эстонию! На Молдову! На Украину! На...

Вера взяла салфетку, глядела прямо в лицо N и медленно рвала салфетку, разрывала на мелкие части.

— Они кричат: вы обеднели! У вас нет денег! Промышленность ваша помирает! Торговлю мы вам перекрываем! А потом кричат сами себе: ребята, что мы теряемся! Хватит сюсюкать со злодеем! Россия — злодей! А кто-то должен взять топор и злодея — зарубить! Чего мы боимся?! Ядерной зимы?! Потеплее оденемся! Не так страшен черт, как его малютки! Все равно Россия гибнет! Гибнет, собака! Умирает под забором! — N схватил руку Веры и сжал до кости. — Распад! Тление! Они говорят... что мы гнием... разлагаемся...

Вера глядела прямо и мертво, глаза ее остановились, как у сомнамбулы.

— Мы, видите ли, Вера, мы — новые фашисты. И нам, новым фашистам, нужна новая война. Так они вопят, именно так. Мы хотим большой крови. Да, чтобы всюду лилась кровь. И не только. Чтобы все погибало в огне и надышалось радиацией под завязку. И вся Земля стала — зоной! Наши люмпены их беспокоят. Наша беднота! Вопят: вы скоро начнете убивать и жрать друг друга! Именно поэтому вы строите полицейское государство! Да, так вопят, так, так...

Вера не шевелилась.

— Да вы ешьте, ешьте! — зло шепнул N Вере. — Вы же голодная!

— Я мяса не ем. Пост.

Она еле разжала губы.

— Проклятье! Ваш пост, пост! Всегда! Завтра мы все умрем. И вы вволюшку не поедите уже! Никогда! Вы хоть понимаете, что значит «никогда»?!

Вера взяла вилку в руку, нож в другую.

— А вы?

Отрезала от листа салата зеленый кусок, жевала, как корова. И опять глаза светло, твердо замерзали подо лбом.

— Я — понимаю! — Горько усмехнулся, опять рот кривил. — Я вот знаю, что я с вами — никогда... Ну и что? Я же — живу! А вот Земли не будет никогда — это уже хуже. Я их ненавижу.

— Кого?

Вера держала вилку, как скорпиона. И склонился над салатом и быстро, зверино пожирал его, будто век не ел. Остро взглядывал на Веру.

— Не притворяйтесь. Все вы понимаете. Ненавижу этих лгунов! Лжецов. Обратней! Кто сам хочет войны, а желанье ее развязать валит на нас. Котик сливочки слизал и на Машеньку сказал!

Она вздрогнула.

— Мне эту песню мама пела.

— А! Мама! Отлично. — Вытер рот салфеткой. — Матери, дети — все погибнут! Какая ерунда! Думать, что кто-то выживет в такой войне! Идиоты. Дряни! Я их всех сам убью. Вычислю, найду поодиночке. Я — сам — террористом сделаюсь, чтобы эту мразь... с лица земли...

Вскинулся.

— Да если надо — да если надо!.. их, гадов, дряней, перебить!.. я сам — войну развяжу! Страшную! Мало им не покажется. Ненавижу! Нена...

Официантка подскочила, поправляла кудри за ушами.

— Вы звали меня?.. вот она я!..

— Нет! Не звал! Да! Звал! Несите первое! Грибной суп с телятиной. И второе сразу! Да, жаркое! И форель в белом вине! Сразу, я сказал!

Вера подняла руку ладонью вперед.

— Стойте! Не надо.

— Что — не надо?

— Ничего не надо. Я ничего не хочу. Это выброшенные деньги.

— Деньги?! — И встал, резко двинув стулом об пол. — Вы — о деньгах?! Мне?!

— Сядьте... что вы...

Н, будто пьяный, рванул из кармана смокинга бумажник. Высыпал деньги на мясной мрамор плит. Швырял в стороны. Хохотал, блестел зубами и белками. Официантки сбились в кучку, глядели обалдело, тряслись. Люди за соседними столиками возмущенно переглядывались. Кое-кто прижимал палец к губам: Н узнавали.

— Ну же! Ну! Налетай! Подбирай! А на счетах-то у меня сколько! На счетах! Не счесть! Я и сам не знаю! А война будет — ничего не будет! Ничего! Ничего!

— Сядьте, — уже твердо, возвысив голос, сказала Вера.

Н сел.

Официантки подбирали деньги, несли их к их столику, клали рядом с тарелками. Н не смотрел на деньги. Он смотрел на Веру.

— Почему вы так ненавидите людей?

— Я? — На Н будто дыбом встала шерсть. — Это они — ненавидят нас! Это я — в ответ!

— Ответная ненависть множит ненависть. Это закон.

— Ишь, законница!

Он тяжело дышал.

За соседним столиком хохотали и пели песню Зиновии и Веры.

«Они и не знают, что я тут, рядом с ними, сижу. А может, это не я. А маска меня, личина вместо меня. Тело, руки, ноги. А где душа? А и нету души. Тихо из мира уходи. Звезду туши».

На маленькой сцене вздергивали ногами девочки из варьете. Когда они прекратили плясать, вышел человек в туго обтягивающем тело костюме, обклеенном блестками, с огромным ручным питоном. Питон обвивал грудь дрессировщика, раскрывал пасть и высовывал язык. Посетители косились на человека и змею, кто-то громко захохотал, кто-то тонко завизжал и оборвал визг. Вера молча смотрела на человека, на питона у него на груди. «Валя», — прошептала тихо. Змея обвила человеку шею, и казалось, что это громадный пятнистый воротник. Раздались аплодисменты и крики: «Браво, маэстро!»

- Вы любите мир?
- Какой прямой вопрос! Кто ж его не любит!
- А войну — любите?

Н сморщился.

— Глупостей не говорите. Кто же любит войну! Правда, все дети играют в войну. Всегда. Это природа. Человек должен убивать. Или — готовиться убивать. Лучшие солдаты — лучшие люди. Самые честные, благородные. Творческие. В дворянских семьях детей всегда выучивали на военных. Это было правило. А Красная Армия? Она же всех сильнее. Да! Сильней! А все слабаки. На параде Седьмого ноября тридцать второго года на Красной площади Сталин пустил по брусчатке пятьсот танков! Новейшей модели. Мы — сильнее всех! Это истина. Не спорить! Цыц! Вы слышите — не спорить!

- Я и не спорю, — Вера тихо улыбнулась.

Кожа на лбу Н подрагивала.

- Как хорошо, вы улыбаетесь. Вы меня не ненавидите?
- Нет. Вы сами себя ненавидите.
- Что вы порете чушь!
- Все остыло.

Вера указала на яства.

- К черту эту жратву. Вы поняли, зачем я вас позвал?
- Да. Чтобы сказать, что первыми войну развяжете вы.
- Кто это «вы»?
- А кто тогда мы?
- Что вы мне тут...

Вера сама взяла графин с коньяком и сама налила коньяка себе в бокал. А Н не налила.

- Вы — любите — войну.

Н смотрел на Веру исподлобья, изумленно.

— Ну... да. Да, да! Подавитесь этой моей любовью! Вы раскусили меня. Да я и не скрываю этого. Того, что война — это свято! Мы победили в последней войне. Самой страшной. Победа эта дорогого стоит. Кровью заплатили. Трусами и родину, и Европу устлали. Поднялось государство, да, понятно, что против Гитлера

страна поднялась, но страна это ведь народ, да, поднялся народ, как один все люди поднялись на врага, и что? Народ, он и велик тем, что побеждает. Ну вы, святая, монашка, гляньте на ваши иконы! На Георгия Победоносца! Змеюку копьём колет, убивает. Зло — убивает! А вы что, хотите зло навек оставить жить на свете? Взлелеять?! Грудью хотите зло выкормить? Не выйдет! Да не только у нашего народа так. У всех народов так! Все народы — идут к победе и за победой! Ах, да, вы, монашка, скажете: вражда, вражда, это от дьявола! Да не от дьявола это! От Бога. Война — Богом придумана! Так на свете положено, чтобы — война! Я, солдат, иду за своим генералом! Я беру оружие в руки и иду, так заведено! Так — было всегда! И будет всегда!

— После будущей войны — не будет больше никогда, — жестко, сухо сказала Вера.

— Война, а в ней победа, это право на жизнь. На жизнь! Война — это не смерть, а жизнь. Да, что вы так пялитесь на меня! Жизнь! Самая настоящая. Война — это новая наша земля. Завоеванная. Это люди, они на этой новой земле селятся, вспахивают ее, засеивают и говорят, живя на ней, на своем языке. Язык — народ! Вот — жизнь! И хороводы водят, и песни поют! И баб в постели свои кладут, и детей зачинают и рожают. Жизнь, а что другое?! Да даже для того, чтобы картошку в золе испечь или рыбы в реке надергать и уху сварить, земля нужна, где картошку ту — вырастят и рыбу ту — изловят! Земля! Своя! Завоеванная. Или — отвоеванная! Другого пути сделать землю своей — нет! Ну ведь бьются мужики — за бабу! А за вас, монашка... мне даже не с кем побиться...

Вера слушала. Молчала.

И N спешил говорить, выговориться.

— Война! Вы морщитесь: фу, война! Войнушка! Опять война! Кому война, а кому мать родна. Вы только прикидываетесь вселюбящей. На самом деле вы тоже ненавидите. Вы ненавидите войну! Она для вас как ядовитая гадюка. Такой ядерный гад. И ползет, подползает. И вам надо раздавить его сапогом. А чтобы не укусил. Ну ведь так? Да? Так где вы тот сапог возь-

мете? Или тот булыжник, которым гада того — скорей прихлопнуть? А! Да! Правильно! В руку камень-то возьмете! И — занесете, и опустите. И — убьете! Да, да, убьете, вы, умоленная, вы, миролюбка! Кто кого! Или вас убьют, или вы убьете! Так мир устроен. И, чтобы вам — жить, вы — убьете. Вот — война! Ее смысл! И что? Обвинить ее? Оправдать? Встать, суд идет! Сто, тысячу раз в истории уже судили войну! А она неподсудна. Все никак ее не засудишь, в тюрьму не посадишь! Или... стойте!.. вы дадите змее той ядовитой — себя — укусить? И не шевельнетесь? Во имя жизни чужой гадины — себя — убьете, а ее — не убьете?

Вера поднесла бокал ко рту. Прикоснулась к нему губами. Ее глаза опять налились слезами.

— Не знаю.

— Видите! Вы — уже — не знаете! А, проняло! Проняло вас! И монашку проняло! А война, ведь она такая разная! Разномастная! Сто лиц у нее! Сто масок! Одну сдернет, под ней вторая. Война, она лепит людей! Делает их! Рождает. Там люди — становятся людьми! Дымы, пожарища, выстрелы... и ты должен быстро сделать выбор. Жертва ты? Или герой? А может, ты подлец? Оборотень? Зверь ты чудовищный, сучонок, пожиратель падали? Предатель ты, и из окопа своего в окоп врага ползешь, чтобы ему все наши планы выдать, все наши карты и позиции... Война, в одном котле жизнь и смерть... и это такой восторг! Вы, монашка... вы даже не представляете себе, как сладко жить, когда вокруг тебя пули свистят и все пылает! Ты жив — в сердцевине смерти. И это такое чувство, такое... Полнокровнее него я ничего не знаю! Может, если бы младенец вспомнил, как он рождался, шел на свет головкою вперед, в крови, ужасе и тьме, и адской боли, и лютом страхе, и мог бы человек взрослый, жизнь проживший, об этом чувстве вспомнить, рассказать про страшные роды, — вот это, наверное, сравнимо с войной. Мы — посреди войны — рождаемся! Мы — все — дети войны! Вы понимаете это, монашка вы благостная?! А! вам бы автомат Калашникова в руки! базуку! да просто — связку гранат! И приказ бы у вас

над ухом: брось те гранаты под танк, да и сама бросься, ведь этот танк сейчас надвинется на твое село, подомнет под гусеницы стальные, колющие твой родной дом и расстреляет твоих детей, твоих стариков! Ну?! — командир тебе крикнет. Что ж ты ждешь?! давай!..

Н рубанул рукой воздух.

— А вы сами — на войне были?

Голос Веры был тише шевеленья водорослей под водой.

Н осел, обмяк. Молчал.

Молчал долго. Вера допила коньяк из бокала. С удивлением глядела на пустой бокал. Двумя пальцами взяла розовое брюшко креветки, подхватила губами. Н смотрел на ее губы.

— Да. Юношей — в Афгане. Потом в Чечне. Недавно — в Сирии.

— А на Донбассе?

— Донбасс пусть воюет без меня. — Усмехнулся. — Вру, вру я все вам. И там — был. Недолго. Здесь у меня дела.

— Я догадываюсь.

— Вы, — мышцы его лица напряглись, и кожа на лице мгновенно расчертилась странными морщинами, письменами легкого презрения, — вы женщина и монашка, вы не можете даже догадываться, какие. То, что я на виду у всей страны, еще ничего не значит. Мы с вами вот сидим в обыкновенном ресторане, да нет, правда, очень хорошем ресторане, на всю Москву он славится, и я...

Вере надоело слушать про ресторан. Она невежливо перебила Н.

— И что? Война — по-вашему если, так выходит — лучшее, высшее состояние человечества? И — человека?

Н прямо, нагло смотрел ей в глаза светлыми, ледяными глазами.

— Да. Это так.

— Но ведь это ужасно. Это против Бога, — тихо сказала Вера.

Н рассмеялся. Смех его раскатился звоном разбитого ледяного хрусталя.

— Бог? Бог-то как раз и положил на земле все так! Как оно есть! Это порядок вещей. Люди воюют, так Бог сделал. А Он, как вы-то думаете, Он — что, глуп? Он — мудрее всех нас! И прошлых, и будущих! А мы лишь исполняем Его волю.

— А вы не думаете, N, — она назвала его по имени-отчеству, — что мы исполняем не Его волю?

— А чью?

— Вам сказать, чью?

— Ну, скажите!

Не глядя, он цапнул графин и щедро плеснул себе в бокал коньяка.

— Дьявола.

— Дьявол! Дьявола! Ах! — Он опрокинул в рот весь бокал, проглотил коньяк, как водку. — Да что вы говорите! А вы откуда знаете? С дьяволом общались?

— Да. Я видела его. И говорила с ним.

— Ну и... — N, как она давеча, подцепил пальцами креветку из салата, медленно жевал. Его радужки ледяно и зло горели. — Каков он, ваш дьявол?

— Он — это я сама. Он во всех нас.

N по-мальчишьи присвистнул.

— Эка куда хватили! И во мне, что, тоже?

— И в вас.

— Где же тогда Бог? Гуляет?

— И Бог в нас.

— Оба, что ли, в нас?

— Да.

— Тогда... — Искал глазами воду: пить хотел. Щелкнул пальцами. — Если они оба в нас, тогда — кто же мы такие? А?

Вера молчала и глядела на него.

Он, глядя ей в лицо, бросил:

— Вы похожи на икону! Ешьте больше! Вы красивая, зачем вы изнуряете себя?

— Зачем вы нарочно грубы со мной? — спросила Вера почти шепотом. — Зачем вы злитесь, кричите? Про войну я все

поняла. А вы — поняли? Зачем эта злоба? Вы же сами с собой воюете.

— С дьяволом! — ухмыльнулся N.

Потом опал, съезжился, — тестом, в которое ткнули пальцем.

— Вы заставили меня думать. Я буду думать.

— О чем? О войне?

— Да.

— Хорошо.

Он вскинулся.

— А вы?! Да, вот вы! Вам бы — хоть разик, разочек побывать на войне! Тогда бы вы мне проповедей не читали. Чтобы вас волкли бы, после разрыва снаряда, в окоп! Под мышки бы подхватили, тащили по грязи. А кругом — земля черными веерами! И глохнешь, глохнешь от взрывов! И свалили бы вас в окоп, а сверху — опять разрыв, и засыпало бы вас землей, и стряхивали бы ее с лица, со щек, глаза, землей залепленные, открывали, а уши болят зверски, контузило, и кровь из носа течет, из ушей, и рукой вытираетесь, и плачете. Да, плачете! Потому что не мы побеждаем, а на нас враг насаждает! И, может, сейчас мы все тут сдохнем разом, и не успеем нашу землю защитить! А, скажете, а если не нашу?! Да плевать, чью! Враг есть враг! Врага — уничтожить! И весь сказ! Тут не до философий! Не до жалости. И предатель от нас, Иуда, уже пополз в блиндаж врага! Нас — предавать! Так надо врага раздолбать во что бы то ни стало. Пусть все мы погибнем — а наших людей, нашу землю — спасем! И ты не будешь думать, станешь или нет героем. Ты должен быть героем! Быть героем — это твоя работа. Она прекрасна. Прекраснее всех других работ на земле. Вот — война!

— Война, — эхом повторила Вера.

— Ты убиваешь, чтобы защитить жизнь. И вы не нюхали этого чувства. И вряд ли понюхаете. На войне вы не будете перевязывать солдат. Стрелять из пулемета, из огнемета. Вы будете, как серенький зайчишка, прятаться в подвале, на дне руин. А впрочем, может, и будете воевать! И спасать! Вы же монашка. Вы же обязаны спасать!

— Спасать...

— Что вы как попугай!.. Давайте выпьем. И закусим. Почему вы ничего не едите?

— Я... ем.

— Вранье! Я же вижу. Девушка! — Он опять щелкнул пальцами, подзывая официантку. Официантка подбежала, шаталась на каблуках-шпильках, растягивала в улыбке густо накрашенный рот. — А жаркое наше где?!

— Я не буду, спасибо, — мотала головой Вера.

— Пост! Пост! Опять пост. У вас всегда пост!

— Хватит, — сказала Вера.

— Что — хватит?

— Хватит клоунады. Будьте самим собой.

Н застыл и так сидел минуту, две, больше. Красногубая официантка принесла дымящееся мясо. Н отодвинул от себя тарелку.

— Как вы, так и я. — Он протянул руку по столу и взял ее руку. Сжал. — Я хочу, как вы. Я ничего не знаю. Я буду думать про войну. Но и вы подумайте. Чтобы нас не убили, первыми должны убить мы. А по Богу вашему, по Его заветам, что, мы должны быть жертвой, и не рыпаться, не шевелиться, сложить ручки на груди, закрыть глаза и приготовиться к удару? Слишком большая жертва-то, такая наша огромная земля!

Вера едва слышно ответила на его пожатие.

Он улыбнулся.

— Спасибо. А я думал, вы вообще мертвец.

— Почему?

— Как все верующие.

— А вы сами — веруете в Бога?

— Да. Нет! Я сам не знаю. Я крещеный! Православный! У меня над постелью... образок Николы Угодника висит...

Помолчал.

— А бабушка у меня — мусульманка была... татарка...

Сидели, сжав руки. Вокруг них вспыхивал пьяными огнями, мерцал, двигался и плыл, вздыхал и выпивал, и бил посуду, и засыпал, и буянил ресторан, и улыбался во весь рот, и бле-

стел голыми плечами и нитками поддельных жемчугов, и пел, и мычал, и звучал, и утихал, и гас, и опять вспыхивал, взрывался, и автоматные очереди били, и трассирующие пули летели огненными зернами, и воздух накалялся и остывал, и разворачивались смоляные веера подземной, гробовой грязи, и пахло дегтем и соленой кровью, и война глядела им обоим в лица, и красные, волчьи зрачки ее расширялись, и на красное их дно валились города и страны, а они глядели друг на друга, и Вера понимала — да, это любовь, это настоящая любовь, такой на мирной земле не бывает, значит, она тоже на войне, и надо его, раненого, перевязать и спасти, а бинта нет, и марли нет, и спирта тоже, есть очень дорогой коньяк, и он просит пить, и надо дать ему пить, из кружки, а кружки тоже нет, ну, значит, из рук, из сложенных черпаком ладоней, вот так, так, пей, мой соболенок, волчонок мой, мой — человек: встреченный в жизни, полюбленный в смерти, да, так бывает, и что?

Из руки в руку перетекало пьяное счастье. Чужие люди кругом гомонили. Война взрывала время. Наступил миг, и война убила время, и оно упало, раскинув руки, лежало в луже собственной крови, и смотрело в небо ледяными глазами, и остановилось.

Зиновия заявила Вере, в счастливом смехе показывая все слепяще-белые, снеговые, нарочно для сцены сработанные зубы: «Мы с N уезжаем немного отдохнуть. Ты тут, Верочка, посиди за домом! Ты тут у меня, — Зиновия покровительственно приобняла Веру за жестко торчащее под черным сукном плечо, — почти мать игуменья!» Вера чуть не дернула плечом, чтобы стряхнуть руку Зиновии, но спохватилась, устыдилась. «Конечно, я послежу. Похозяйствую».

Зиновия и N укатили. Куда? Вере было все равно. Она не думала о них. Мыла посуду, писала песни. Только тусклая, неясная тоска, будто под ребрами тихо горел, мигая, угасающий лампад-

ный огонь, томила ее. Умиравший огонь ясно и безжалостно освещал все внутри Веры, что она пыталась забыть, сама в себе замолчать. Не вытаскивать на свет памяти и молитвы.

Убитые ею в Иерусалиме люди казнящими палачами приходили к ней во снах. Она просыпалась, вытирала ладонью потный лоб, возила головой по подушке в пятнах слез, потом вставала, умывалась холодной водой и посреди ночи сама себе служила Литургию. Чин Литургии она знала хорошо, наизусть.

Когда рассветало, она читала утреннее правило.

«От сна встав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути во греховней смерти, но ущедрь мя, распныйся волею, и лежащего мя в лености ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне noctnem возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя...»

...еще ночь. Спать невмочь.

...чья — дочь?.. что — смочь?..

...кто там за дверью... кто — в углу...

...Боже мой, Боже, страшиться негоже... спать на голом полу...

...свернуться коломком... застыть снежным комком...

...этот страх... он мне еще незнаком...

...и вдруг резко, громко в дверь и правда постучали.

Стучали! А звонок?!

Ее комната находилась близко ко входу в роскошное Зиновиино жилище.

Еще стук; резкий; грохот и гром. Били в дверь ногой. Возможно, в сапоге.

«Сейчас высадят. И ворвутся. Что я скажу Зиновии? Я одна. Никого».

Горничная не ночевала.

Вера быстро прошла к двери спальни, вышла в коридор и подошла к обитой синей кожей двери. Наблюдательный глазок мерцал тусклым жемчугом. Вера никогда не смотрела в трусливый глазок. Она просто открывала дверь.

«Не надо! Стой! Молчи! Слушай! Это ночь! Опасность!»

На диво легко и пусто звенело в груди. Музыка пустоты.

— Вера! Не бойся. Это я. Открой!
Руки сами отомкнули замок. Дверь сама распахнулась.
А Вера будто стояла недвижно и ничего не делала.
Вошел N. На нем лица не было.
— Здравствуйте, N, — сказала Вера.
N не поздоровался с ней. Ему не до этого было.
— Вера! За мной гонятся. На меня в санатории напали. Эти люди гонятся за мной! Я обманул их. Я спрячусь у тебя?
Он назвал ее на «ты».
— Где Зиновия?
— Там...
Махнул рукой во тьму.
Вера отступила на шаг.
— Проходите.
Он быстро прошел в раскрытую дверь.
Эта комната была Вериной спальней.
Вера вошла в спальню следом за ним.

Зачем я красный крест, а ты черный? Существует бумага, есть дрова и уголь, есть вата и мягкие тряпки, немая жалкая одежда, все это можно сжечь в огне. И человека можно сжечь. Или живого, или труп. В Освенциме и в других лагерях смерти сжигали людей. Ты же не хочешь сгореть в последнем огне? Вот и я не хочу.

Обнимал сначала воздух. Пустой воздух. Ему казалось, он обнимает ее. Он и она — одно. Муж и жена одна сатана, а мы разве сатана? Разве все так пошло и жутко? Дико? Потом руки обратились в чугун и мощно и тяжело переплелись; двойная черная, тяжелая скульптура стояла на краю белой пустыни, где одни сугробы и гробы, и больше ничего. И тебя, умершего от любви, даже не похоронят. Никто и не подступится к тебе. Ибо страшно и прекрасно твое искаженное любовью лицо. Оно — преображение. Ты уже преображенный, так стой и молчи.

...а разве я стою?... я — лечу... лежу...

Зачем я черный крест, а ты красный? Все напрасно. Слишком много брать на себя не надо. Нацепят кровавую награду: вечную отраду. Зачем ты бормочешь стихами? Зачем не обнимешь? Кто стоит между нами?

...чугун растаял и рассыпался. Они вдыхали запах друг друга: и только лишь запах, больше ничего, ни движенья, ни жеста. Мягче теста губы, тверже стали живот. Никто никогда не умрет? Еще как умрет. Еще как оживет. Мы сегодня — народ. Мы, двое, внутри снежного воя. Волки бегут над головой в небесах, в широком, как степь, как тайга твоя, черном окне. Белый крест рамы. Помолись обо мне.

...жалельщица... молельщица... это ты так меня жалеешь... да не нужна мне такая жалкая жалость...

...Господи, как же ты сильно ко мне прижалась...

...зачем все... зачем так...

...я бедная... и ты бедняк... Ты только врешь, что ты сильный, богатый...

...да, вру. Да! Я черный крест, навек на тебе распятый.

Земля и небо поменялись местами. Двое, лежа, летели — или пели? Бежали? Друг друга удерживали на земле, держали? На полу — на кровати — на нарах — на полатах — на больничном матраце — в рыбацкой лодке — а век-то какой короткий. Не успеешь оглянуться — закроешь глаза. Целовать нельзя. Только это и нужно, и можно — это одно: в жизни кричащей, осторожной. Осторожно. Это наша с тобой тишина. Пустота.

...горит моя икона в Божьей печи. Пылает. Кровью-золотом тает. От креста до Креста.

И загрохотали в дверь так оглушительно, что оба вскочили, держась крепко друг за друга, будто плыли на плоту через енисейский порог, и камни вздергивали плот на мокрые копы и скользкие пики, и оба тонули и кричали беззвучно!

— Вера! Они!

Она озиралась. Все надо было делать быстро; и думать быстро.

А лучше не думать.

Цапнула, потащила с кровати простыню. Схватила со стола ножницы.

Кромсала простыню, вязала белые ленты в узлы.

Рвала простыню, вцепляясь в ткань зубами.

Сильные руки сами рвали.

И поздно понял. Но — понял.

— Вера!

— Открывай окно!

Дернул на себя оконные створки. Оба глянули в ночь и тьму. Здесь над землей было высоко. Этажи оба не считали. Забыли. Не хотели знать.

Оба, задыхаясь, вязали узлы.

— Хватит?! До земли?!

— Да!

— А не хватит?!

— Тогда прыгнешь!

— Да!

Он соглашался с ней. Глаза его сияли.

И ее глаза тоже во тьме сияли.

Он перекинул самодельный тряпичный канат вниз, в окно. Крепко привязал конец к батарее.

Вера крикнула:

— Скорей!

В дверь ломились.

И хотел обнять Веру. Она отступила на шаг. Он усмехнулся, его зубы сверкнули во мраке многоглазой, шевелящейся дикими огнями ночи.

— Ты...

Она сама обняла и поцеловала его.

Дверь выставили. Грохот в прихожей, будто дом рушится.

И уже стоял на подоконнике.

Вера смотрела, как он скользит вниз по канату, наспех связанному из рваных простыней, обдирая ладони в кровь. Она держалась обеими руками за конец каната, привязанный к вентилю батареи, будто жалкая тряпка уже отрывалась, а надо было удержать ее из всех последних сил.

...чужие люди ворвались. Кричали. Хватали ее за плечи, трясли, орали на нее. Хотели вытрясти из нее правду. Люди хватывали блестевшее во тьме оружие, потрясали им и угрожали Вере. Она не смотрела на орудия смерти. Она улыбалась людям. Грех, что она совершила только что, так недавно вкусила, жадно и странно, она это знала, не повторится. Он ей сейчас, из сердцевины чужого крика, грехом не казался.

Она благословляла его.

...зачем вы кричите на меня? Бьете меня? Это все напрасно. Он ушел. Убежал. Вы не догоните его.

Я помогу тебе бежать. Я лестницу свяжу
Из рваных простыней. Ее — руками подержу
В окне, пока ты из окна — как бы паук!.. — по ней...
А с факелами уж бегут... О... тысяча огней...
Быстрее лезь!.. я не хочу глядеть: тебя убьет
Твой враг. Твоя коса тебя между лопаток бьет.
Богато ты одет: хитон смарагдами расшит...
Рот поцелуями спален... лоб — думами изрыт...
Видал ты виды... прыгай вниз!..
твои враги пришли!..
Пусть они убьют меня. Здесь близко от земли.
Я уцепилась за карниз... я на тебя смотрю...
Ты золотой, летящий лист... тебя — благодарю...

Ну, что вы пялитесь, да, вы, — солдаты за обол?!..
Ушел, не дав вам головы. Ушел мужик! Ушел!
Ушел! Убёг! Вон! По снегам! Через заборы все!
И вышки все! Через собак! Их вой — во всей красе!

Через трассирующих пуль огнистые ручьи!
И черный, до зубов, патруль вооруженный!
...И
Через поёмные луга, через буреполом —
И ругань поварихи над нечищеным котлом
Тюремным, где свекла-морква, очистки и мазут —
Где мать-воля сожжена, а смерть — не довезут
В телеге... лишь морковь-картось... —
 через такую тьму,
Где фонарями — только кровь
 горит, смеясь, в дыму!
Где ветром скалится барак!
 Где ест мальчонка грязь!
Где проклинает нищ и наг вождей великих власть...

И на свободе он уже — на счастье он уже —
На облачном, заречном том, небесном рубеже...
Ушел от вас! И весь тут сказ. Солдат, меня вяжи!
Как я пятой — под пулей — в пляс —
 врун, правду Расскажи.

Зиновия вернулась из санатория, где они отдыхали с N, молчаливая и подавленная. Она наверняка знала, что произошло. Вера ни о чем не расспрашивала Зиновию. Зиновия ни о чем не расспрашивала Веру. Вера вспоминала, что говорил ей N, эти его слова врезались в нее намертво, как позолота имени — на могильной плите.

Она слышала его голос внутри. Это была иная музыка. Военная. Скорбный марш.

Далекая — звуками — клятва.

В чем? Опять в любви?

...страна может разрушиться. И умереть. Как человек. Заболевает все, неизлечимо заболевает. Старится все. Смертно все. Любое живое существо, а значит, и общество, что состоит из всех нас, живых существ. Почему мы умрем? От утери любви. Да, Вера, да. И от потери совести. Мы потеряем совесть. У нас вырежут ее острым скальпелем, как гнилой аппендикс, вырвут из нас и выбросят. На помойку.

...ну что ты на меня так смотришь? Не смотри так. Ты слишком серьезна. А смотри, как веселы мальчишки и девчонки. Они бессовестны. У них совести нет. Они готовы только жрать и использовать, но они не хотят давать и заботиться. Они не желают — трудиться. Я говорю тебе: война, да! Страшно! Но пустота вместо совести страшнее войны.

...да, да, Вера, да, радуйся, это я про гибель Бога. Его распинают в очередной раз. Не распиная. Не хотят трудиться: распятие, это тоже труд. Зачем трудиться, когда можно плевать в потолок? День прошел, и ладно. А кормежка? Кто меня покормит? А, другие! У них есть деньги на мою еду, питье, катание в повозках, развлечения, алкоголь и курево. Другие! Родители, супруги, друзья, а если нет близких людей, я пойду на улицу и убью чужого. И ограблю. И снова у меня будут деньги, и я буду есть и пить. Убийство? Вы говорите, это плохо? Да ничуть! Это нормально. Ведь трудиться не надо. Одно движение. Так все просто.

Одно движение ножом, стволом — вместо месяцев и лет изнурительной работы.

...кормить... поить... учить... лечить... возить... принимать на руки младенцев... хоронить... наказывать... награждать... Кто будет делать это все? Нет, Вера, ты только вдумайся: кто будет это все делать?! Молчишь... О Боге своим думаешь... А может, я вот это все говорю сейчас тебе, а ты сидишь, молчишь и про себя молитву читаешь...

Я занимаюсь войной. Это значит, Вера, и миром. Мир и война — две вещи совместные, как ни крути. Если выпустить из рук руль войны — мир быстро покатится к разврату, вседозволенному наслаждению, сытому довольству, пусть даже ценою гибели

ближнего. Мразь, да, мразь, на сцену вылезет не певица Вера Сургут, а мелкая, подлая мразь, оборотень. Ты будешь кричать ему: ты черный! — а он будет верещать тебе в ответ: нет, я белый, это ты черный, давите черного гада, люди! Ты увидишь, как он убивает, а он схватит тебя за руку, вложит тебе в руку свой окровавленный нож и заорет: эй, люди, хватайте его, это он, он убил! Зеркало, везде будет кривое зеркало. Тебе поднесут его к носу и завопят: гляди! гляди! ты хвалился, что красавец! А ты несчастный урод, обманщик и подлец! И ничем, Вера, заметь, ничем, никаким твоим Богом ты не докажешь, что ты — не подлец, а подлец тот, кто тебя замазал грязью, затоптал и погубил.

Наше время придумало: нет движенья, все стоит на месте. Нет конечного и бесконечного, все безгранично и бестолково катается внутри пустого шара! Нет смысла, потому что, да, Вера, вокруг все только и кричат об этом, нет Бога! Но если нет Бога, Вера, то нет и человека! Это даже я понимаю.

...если наступит царство оборотня, вот это и будет, Вера, твой дьявол, или как это там у вас, Антихрист. Антихрист, ну и имечко! Думаешь, это он вызовет войну? Она? А что, у него есть пол? Мужик это или баба? Да все равно. Мне лично все равно. Я не хочу засматривать ему в рожу. Я просто думаю: поперед всякой опустошительной, чудовищной войны на земле наступит царство твоего Антихриста, выжженной пустыни. Все свое, все вокруг люди сожгут не бомбами, не огнеметами. Они сожгут себя и землю бездельем и презрением. Оборотень только так и живет. Ему важно все перевернуть.

Так опередим его! Перевернем — мы! Перевернем его с ног на голову! Пусть постоит на голове и поорет, пощады попросит! А мы — потешимся!

Что, злой я? А ты бы как хотела, чтобы — добрый был, мягкий как масло?!

Я мужик, я маслом не могу быть. Это вы, бабы, масляные. А мне надо трудиться. Я еще не хочу на свалку.

Не хочу в хоровод похоти, крови, похвальбы, перевертышей, скелетов и черепов. Зубы лязгают, кости гремят. А я — человек!

Скажешь, тоже скелетом стану? Да. Стану! Но до тех пор я хочу... спасти хоть кроху, хоть щепоть живого...

...вот ты хочешь хорошо жить? Сладко есть, вволю пить, наслаждаться, радоваться, испытывать счастье, не бояться завтра? Я — не знаю. Честно, не знаю, хочу ли! Мне важно жить, а как — уже второй вопрос, десятый. Но чертова прорва людей хочет счастья любой ценой. И готова кровью платить и Бог знает чем, лишь бы урвать самый большой на земле счастья кусок.

И как это там у тебя, в Евангелии твоём, ты мне читала? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал бряцающий.

Ну что сидишь, продолжай, я забыл!

...если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы... пользы... да...

Нет любви, Вера. Самое страшное — нет любви! Мало нам любви! И война от этого же проистечет. Как ни прячься от нее, ни укрывайся в убежищах. Нет любви — и все побегут вцепляться зубами, вгрызаться, тащить под брюхо, красть, а потом указывать перстом и нагло заявлять: это не я, это он украл!.. все будут высасывать соки, присваивать, лгать, нагло врать в лицо, растаскивать сокровища, не рожать, а губить... убивать, а не любить...

...не любить... Вера... но я... знаешь, я не верю в это...

...я знаю это, но я в это не верю... до конца — не верю...

...а ты, ты — веришь?

Н исчез.

Зиновия молчала.

Она вела себя так, будто в ее жизни нет и не было никогда никакого N.

И Вера молчала.

И даже не ждала.

И однажды, настал день, погожий он был или ненастный, это было уже все равно, Вера положила перед собой лист бумаги и написала N письмо.

Оно получилось недлинным.

«N, мы то сопротивляемся друг другу, то соединяемся. Так не ведут себя люди ни в дружбе, ни в любви. Это война. Мы два человека в состоянии войны. Вы говорите, что любите меня. И пытались мне это доказать. Если бы мы оказались вместе, война бы не кончилась. И она не кончится никогда. В отличие от той, что скоро начнется и когда-нибудь кончится. Вы думали о Боге и диаволе, но живете ли вы в любви? Ваша такая беда: вы живете в цепях. В кандалах, их на вас надел диавол. А может, люди. Люди тоже могут служить диаволу. Вы любили Зиновию, потом я встала у вас на пути. Вы меня захотели присвоить. А вы не умеете любить. Вы умеете только воевать. Прощайте, а может, до свиданья, не знаю. Все-таки прощайте. Ведь начнется война. И несчастен будет тот, кто выживет в ней. Я буду молиться за вас».

Вера не знала адреса N. Он долго не звонил. Зиновия ни о чем Веру не спрашивала. Потом N пришел домой к Зиновии. Без предупреждения. Вера открыла дверь. N не перешагивал порог. Глядел на Веру волчьими глазами. Так глядят перед расстрелом. Вера подняла руку ладонью вперед: подождите! — и ушла в комнату. Ряса ее шуршала, черным мешком мела паркет. Потом она вышла и через порог протянула N сложенный вчетверо лист бумаги. Он взял, низко поклонился и ушел.

— Спасибо тебе за все. Я вернусь в монастырь.

— В Иерусалим?

Вера погладила лежащий на столе кирпич ржаного хлеба, как живого домашнего зверя.

— Вернусь. Только не в Иерусалим. Иерусалим — везде. Он всюду. Он такой же земной, как и Небесный. И я... Зиновия, знаешь... я... пойду, пойду... пойду... и пойду. И приду в Сибирь. И там сделаю свой монастырь. Соберутся люди вокруг меня! Соберутся, я верю! И будем там молиться, плакать за всех, лечить всех, любить.

Зиновия держала на руках белого подросткового котенка. Чесала ему за ухом. Котенок мяукнул, Зиновия сердито сбросила его с колен.

— Лечить... Любить... А ты будешь там петь?

— Буду.

— И наши песни?

Вера вздохнула.

— Это мирские песни, Зиновия.

— И даже «Молитва»? Даже она?

Вера молчала.

Зиновия щипала кружево рукава. Будто гитарную струну.

— Что молчишь?

Котенок мяукал: есть просил.

— Хочу... и молчу. — Вера устыдилась. — Прости меня, Зина.

— Бог твой простит!

Зиновия встала и подошла к окну. Глядела на снег: он медленно падал со страшно, фосфорно светящихся над огромным городом, туманных небес.

Облака бродили по небу, слепые призраки несбывшегося.

Далеко внизу горели, вспыхивали и гасли жестокие глупые рекламы.

— Слушай... лучше спой... напоследок... ее...

Вера выбралась из-за стола. Выдернула край рясы из-под ножки стула. Стул упал. Она его подняла.

— Прости, Зиновия.

— Да что ты все: прости да прости! Ты лучше пой!

Вера глубоко вздохнула. Песня полилась.

— Моя молитва — мое обьятье! Моя молитва — любовь моя... Снимаю жизнь я, как будто платье... Устала в тесной одежке я. Устала, Боже... нет больше силы... Ни от сумы... ни от тюрьмы... Я жизни Божьей, я жизни милой, я жизни светлой молюсь из тьмы.

Зиновия, глядя в окно, пела вместе с Верой. Ее мокрое, светящееся тайной болью лицо отражало бесстрастное, алмазное оконное стекло.

— Я жизни Божьей... я жизни милой... я жизни светлой — молюсь!.. из тьмы...

Они обе спели свою последнюю песню. Общую песню.

Вера туже затянула на шее черный апостольник. Обтерла ладонями лицо.

Оно тоже, как у Зиновии, тихо светилось, залитое прощальными слезами.

— Если надумаешь, слышишь, Зина, вдруг в мире досыта наживешься... ко мне прийти... приходи... ты меня найдешь.

ХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ВОЙНА

Вера не знала, летит она или идет, едет или не движется: стоит, как вода в колодце.

Вера перемещалась, но не шевелилась; устремлялась, но замирала и ждала.

Мир шумел и крутился вокруг нее, обтекал ее, как остров. Она же не делала никаких усилий, чтобы этот мир преодолеть.

Пространство превратилось во время. И это было так странно. Горизонт сиял и вспыхивал, а потом гас за кромкой тайги. За черными тенями и каменными крыльями огромных городов. Вера не узнавала ни городов, ни селений; она шла по земле, а ей казалось, это земля идет по ней.

Вера возвращалась в Сибирь, и ей казалось невозможным покинуть этот мир прежде, чем она нащупает ногами сибирскую землю, ляжет на нее грудью и животом и обнимет ее сильными руками: сколько сможет. Она, возвращаясь на родину, несла свое время с собой в своей забытой скитальной котомке, в вечном своем, ветхом детском ранце, и растерянно оглядывалась назад: где он, мой святой Иерусалим?.. — и глядела вперед, будто назад, туда, за оком оставленной Святой Земли.

Она иной раз осознавала, что возвращается, и тогда ее обнимала тревога: найдет ли живыми тех, кого любила и знала? — а ее, узнают ли ее? вспомнят ли?.. — а иногда забвение туманом заволакивало горечь ее возвратного пути, и тогда ей хотелось плакать, просто плакать, как простой бабе.

И она садилась при дороге на скамью ли, на камень, на земляной холм, да просто на траву, а не росла трава — так на сухую либо сырую и грязную землю, на приречный песок, и плакала.

К ней, идущей в черной длинной рясе, подходили люди: благослови, матушка! За версту от Веры веяло иночеством. Люди припадали к ее руке, снизу вверх засматривали в ее лицо:

а ты случаем не прозорливая, странница? Вера понимала, чего хотят от нее люди. Они хотели утешения.

И она давала им утешение; и благодарили ее люди, пусть даже безмолвно.

Когда она, поклонившись им, уходила от них дальше, вперед, иные старики вослед ей крестили ее.

Глядели на ее старый скитальный ранец у нее за спиной.

А иные люди глумились над ней, прогоняли ее, грозили ей кулаком и даже плевали в нее.

Она улыбалась: «Люди, спасибо, вы ненавидите меня, Христа тоже ненавидели и били, а потом казнили, а я жива, значит, еще потерплю. Еще побреду».

Вера, возвращаясь, видела: веры на ее земле гораздо больше, чем она себе представляла. Она мнила так: вера умерла, или уже умирает, безбожие захлестнуло и утопило людей, ни к чему им оказался Бог и служители его, кто кричал о мракобесии, кто о несметных богатствах Церкви, а рядом шептали верные: настали последние дни, уже делят нас всех на овец и козлищ, и права была старушка Расстегай, что однажды, за давним чаем, просыпала перед Верой мелкие семечки слов: «Однако людишки как пьяны нынче, не понимает никто, чо деется! А деется, Верушка, вот чо: растеряли мы веру в Бога Господа, как пить дать, растеряли! И не соберем в котому, да где ж завалялась, миленька, та котомы?!» Вера тогда не соображала, о чем Расстегай ей бормотала. Теперь она понимала все.

И не умом понимала: кровавой горечью сердца.

И даже не им, не своим земным, больным, резко бьющимся: а будто кто-то Небесный за нее все знает, понимает, а ей, медленно по земле бредущей, только ясные картины в облаках показывает.

«Спасибо, Господи», — шептала Вера пересохшими губами.

Она в путешествии ела мало, привычная к постам; чаще ей хотелось пить, и она стучалась в низкие окна домов или изб, жестиками показывая: пить! — и на нее махали рукой, или задерживали штору, или показывали язык, но чаще выбегал из дома маль-

чик с кружкой в руках, или выбредал сутулый старик, на снег — в одной рубахе, оглаживая белую бороду, с початой бутылкой минералки, и протягивал Вере, и пила она. И благодарила, кланяясь низко.

Она шла, как во сне, возвращалась, поминутно благодаря Господа за легкий ход по земле, за то, что снова идет по родной стране: ее земля казалась ей, при всей непонятной жесткой враждебности, теплой и нежной под ногами, и воздух она грудью вдыхала сладкий, даже если это был горький бензинный дух. Истосковалась! Только теперь поняла, как. Но святой Иерусалим по-прежнему был с ней, рядом с ней и в ней. Он просвечивал сквозь густо-синие и медвежье-черные грозовые облака. Светлой храминой нависал над утлым придорожным кафе, над серым холщовым полотном дороги, ведущей на восток.

Вера шла на восход солнца, чуть прихрамывая и улыбаясь солнцу, даже когда его не было на небосклоне, и часто ночью шла, она ничего не боялась, ведь она уже прошла через смерть, и она встречала солнце грудью, блаженно поднятым навстречу лицом — и солнце брызгало в Веру лучами, счастливо приветствуя ее.

Она видела раненых в старой забытой войне и раненых новых войн, с перевязанными свежими бинтами руками и ногами, и хромали искалеченные люди, и кричали ей хрипло: «Эй, подойди, монашка, если не трудно!.. благослови и помолись за нас!..» — и Вера подходила к воинам, к совсем юным солдатам, и широко крестила их, и в землю кланялась им, и тихо читала над их покорно склоненными головами молитву. Один такой раненый солдатик, бритый, как из тюрьмы, голая кегля башки уже обрастала колючками, нагло, по-бандитски скалясь, бросил ей: «Ты знаешь, святая мать, я раньше в Бога не верил, а когда в мясорубке побывал — поверил. Ведь это Он мне жизнь спас». Вера согласно наклоняла голову: «Да, Он тебе жизнь спас». — «Да вот, калека ведь, — возмущенно, отчаянно кричал бритый калека, — как мне жить-то теперь без руки?! побираться разве?! Да на кой мне такая жизнь?!» Вера тихо гладила его пустой ру-

кав. «С Божьей помощью все образуется. И рад будешь, и сыт будешь». Солдат растерянно проводил ладонью по бритому потному темени. «Не верю я тебе! А вот ты мне скажи, ты настоящая монашка, ну, как это у вас там называется, схима, вроде?.. или ты начинающая?.. первый раз в первый класс?.. Да нет, на рожу-то ты не первоклашка... А может, ты эта, игуменья? Да просто так вот из монастыря вышла да пошла по дороге, пошла? Типа погу-лять?!» Вера улыбалась. «Я не мать игуменья. Аз есмь раба Бо-жия Вера, и монастырь свой я покинула, и вот, в миру иду». — «Эх, так ты расстрига! — обиженно, разочарованно кричал мо-лодой безрукий солдат. — Так зачем тогда рясу носишь, сни-ми!» — «Нет, не буду, — все так же улыбалась Вера, — я в ней умру».

И нищий бритый солдат отшатывался испуганно.

И Вера внезапно и больно вспоминала того своего, давнего мужика, Бритого-сердитого, как бормотал он в железной тюрьме вагона, под стук колес: «Яички, яички красивые, цыпляточки си-вые!.. тебе очистить яичко, Верушка?.. будешь?.. жри!.. а то на кочергу похожа, ни кожи ни рожи!..» — встреченного в поез-де, минутного своего мужа, зэка-вольняшку, потную рубашку.

И крестилась, продолжая путь: помяни разбойника моего родного, Господи, во Царствии Своем.

Вера шла через леса, реки, поля, города, мосты, берега, бо-гатство, нищету.

И чем дальше она шла по родной земле, тем величавее ста-новился ее простой и незаметный ход, и ее сердце все больше раскрывалось родным людям, и многие люди вдруг стали непо-нятно узнавать ее, а многие, случайно или неслучайно, уже зна-ли ее; и, ее встречая, странные неведомые люди кланялись ей и падали ей в ноги, а она смущалась, останавливалась возле них на миг и благословляла их.

...красный крест... Солнце, это в небе ты. От версты до вер-сты... от полноты до пустоты...

...красный, прекрасный Иерусалим...

...плыву, в небесной реке налим...

...Вера, зачем ты Вера... лучше бы тебя мать по-другому назвала...

...красную келью жизни всю пройти, насквозь, от угла до угла...

...красным крестом солнце с небес падает, поймаю...

...красная жизнь, я тебя вспоминаю... забываю... понимаю...

Как разнесся слух по земле? Отчего людям стало известно о ее возвращении? И кто она была такая, чтобы множество людей знало об этом, и всякий день узнавали о ее печальном ходе по стране многие люди, и ее уже поджидали, толпы собирались возле городов, что она обходила по окружным дорогам, вокруг монастырей, мимо которых она проходила, троекратно крестясь, рядом с вокзалами и станциями, где она должна была сесть в железную повозку, чтобы ехать дальше, все дальше на восток.

Люди подходили к ней, и сердца их замирали. Им так прямо и передали те, кто о Вере прознал: святая в Сибирь идет! ловите ее! подстерегите! хоть прикоснитесь к ней! — и люди шли, неведомо догадываясь, где она пройдет, или ловя вездесущие слухи, как рыбу сетью, передавали из уст в уста небывалые рассказы о ней: вот прошла насквозь знаменитый город, идет в другой, на восток, и там, может, колесами воспользуется, кто знает, и дальше покатит.

Дальше, дальше. Все дальше.

Далеко маячила Сибирь, в тайном слезном мареве, и Вера, ложась отдыхать на лавку в зале ожидания или в тепло натопленной, бедной комнатенке у добрых неизвестных людей, думала спокойно: еще долго пойду, быть может, целую жизнь.

И не жалко ей было целой жизни, чтобы дойти до родины; ведь жизнь по сравнению с родиной и Богом была такая маленькая, а Бог и родина были так велики, что ей казалось невозможным печалиться о своей жизни, малом сером перышке в крыле у серафима.

Сон длился, она шла, переступая ногами, измеряя усталыми ступнями милую землю, и земля то обжигала ее ноги твердостью камня и острой щебенкой, то мягкой черноземной периной ло-

жила под ее босые ступни — да, летом она шла босиком, стаскивала с себя старые сапожки и шла по земле босыми ногами, стопами, как быстро бьющимся сердцем, нежно ощупывая ее.

Если к ней подносили больного ребенка — она накладывала на него руки. Она не спрашивала себя: имею ли я на это право — исцелять, излечивать? Таких вопросов она уже не задавала себе. Люди ждали от нее исцеления — и она горячо молилась, чтобы больной исцелился. Люди хотели, чтобы она утешила и спасла их — и она утешала и спасала.

Она давала людям то, чего они ждали от нее.

А ждали они только добра.

Они все исстрадались во зле.

Вера щедро, горстями, дарила им добро, ласку и любовь. Как же мало было на земле любви, если люди так стосковались по ней! Может быть, они разучились любить? Дарить друг другу радость? Нет, такого не могло быть; а как же возлюбленные, что бежали сломя голову друг к другу на свиданье по тесным каменным ущельям городов, как же семьи, где совместно готовили еду у раскаленной плиты, как же рождение детей — их, зачатых в любви, так ждали, так желанны они были, бессловесные крохи? Но всюду было и другое. И мать плескала кислотой в ненавистную дочь. И пьяный сын убивал старого отца кухонным ножом. И насмерть забивали мальчишки и девчонки товарища, он ни в чем не провинился, а просто сильно позавидовали они ему. Друзья становились врагами. Подруги приторно улыбались друг другу, а за спиной держали камень. И только ждали мгновенья, чтоб его бросить.

Жизнь была полна ненависти так же, как и любви.

И Вера думала: да, это верно, иначе, если бы не было ненависти, как бы мы узнали, что такое любовь? Как бы отличили ее от иных чувств?

Бог есть любовь, повторяла она себе растрескавшимися губами, Бог есть любовь. Пить! Жить!

Ее жизнь, при возвращении, постепенно исчезала. Веры становилось все меньше. А что же, кто появлялся вместо Веры?

Иногда ей казалось: она идет не по земле, а над землей. Ее ступни не касаются дороги.

Ее кормили, угощали, это всегда было так чудно, Бог видел, когда она голодна, и подталкивал ближе к ней то бабу с корзиной яблок, то заезжего парня, рюкзак через плечо, а в рюкзаке в свертке — подсохшие бутерброды; то в заштатном кафе, куда она заходила погреться, когда ее землю накрывало белой попойной холода, к ней развязно, цокая каблуками по кафельным плитам, подходила чудная, странная официантша, брякала об стол стакан чая и тарелку с котлетой и лепешкой картофельного пюре на воде, и бросала, языком заплетая византийские вензеля: «Платы не надо! И сдачи — не надо!»

Она много чего видела, пока возвращалась. А мир не менялся. Со времен Христа мир болел все теми же болезнями. Излечивай не излечивай, они возвращались. Так же, как она: пешком, босиком.

В заброшенном селе, где торчало из земли пять живых домов, остальные, мертвые, были открыты солнцу, ветру и снегу — двери сорваны с петель, окна разбиты, в комнатах танцует метель, засыпает снежной жесткой крупкой, небесными перлами, пустые столы, осколки посуды на полу, изгрызенный мышами черствый каменный хлеб, и хрустальные висюльки люстры, в нее камни пацаны швыряли, пытаясь сбить, как птицу, с потолка, чуть позванивают на мертвом сквозняке, — точно в таком доме она и остановилась на ночлег, — ей сказали: наше село проклятое, у нас тут Иуда удавился! Какой Иуда, спросила Вера; она давно ничему не удивлялась. Старухи, что черными курицами топтались перед Верой в снежной пыли, мелко закрестились. «И, милушка! Иуда предатель! Да еще какой, зловредина! Он тут нашего наиглавнейшего святого — предал! На смертушку обрек!» Вера слушала, не перебивала. «Святой-то ой какой святой был! Святее некуда! Такой чудесный! Свет от него исходил за версту! Он у нас в селе жил, в избе у околицы! У нас церквы-то нет, так он нас всех у себя в избе собирал да нам Святое Евангелие читал! А мы — слушали! А ежели кто из нас заболает, так он без

лекарствий нас на ноги ставил! Он — нам песни пел. Песню нам поет — мы и очуаемся! Чудодейственный мужик. Лоб высокий, с залысинами, ото лба солнце горит! И вот Иуда тот взял да поехал в район, в ментовку, да там взял и наговорил на нашего святого! Что он — человека убил! А в те поры в лесу рядом с нами мертвеца из-под снега выкопали. И так все подгадалось, что подвели святого под приговор! Под пожизненное! И увезли нашего любимича, увезли... далёко... на севера... А там вышла в тюрьме драка сильная. И убили, убили на северах нашего святого! А Иуда...» Вера ждала. «А Иуда оставил записку: мол, простите все, это ж я убил того дядьку в лесу! когда он грибы собирать пошлепал! кошелек скрал у него! и выходит так, двух убил, а я-то зачем живу? прощайте все и не поминайте лихом Иуду! И пошел и удавился в сарае. Мы сами, старухи, его нашли! А он уже смердел. Вот она, жизнь-то какая!»

Вера выслушала про Иуду все, до конца. Наложила на себя крестное знамение.

По очереди перекрестила всех старух.

«Дайте мне хлеба», — попросила.

Старухи принесли ей хлеба, сели на лавки и следили, как Вера ест.

Потом поднесли ей воды. Одна старуха спросила: «Ко мне пойдешь, бродяжка? Я чайку горячего вскипачу. У меня и самовар есть!» Вера помотала головой: не надо, мне и так хорошо. «Да тут же по комнатам ветер гуляет!» — воскликнули старухи. Вера улыбалась: ветер, это хорошо. Это свежий воздух. Бог любит ветер. Он Сам на ветру всю жизнь прожил. По дорогам ходил.

Старухи ахали, плакали, принесли Вере теплых одеял и укрыли ее, когда она легла на голую лавку спать.

Прежде чем уснуть, она помолилась за сельского Иуду.

За упокой его души.

Хоть он и самоубийца.

К Вере прибилудилась рыжая собака с влажными карими человеческими глазами. Собака закидывала голову и любовно, преданно смотрела на Веру. Вера наклонялась и гладила собаку по голове. Они шли дальше вместе, и собака то и дело крепко прижималась к ноге Веры.

Собака научила Веру просить милостыню. Она научила ее не страдать и не стесняться — садиться при дороге и протягивать руку. Для собаки люди приносили кости, огрызки, горбушки, Вере доставалось что-то и повкуснее. Они вместе с собакой ели, и собака ела красиво и нежно, Вера любовалась ею. Вера иногда разговаривала с собакой. И собака понимала ее.

Вера возвращалась, и собака возвращалась вместе с ней туда, откуда ее изгнали: в любовь и заботу.

Жизнь все больше превращалась в житие, но Вера об этом не думала. У жизни были годы, месяцы и дни, а у жития не было этого ничего; житие, это был огромный золотой тяжелый ком, он тут же, на глазах, превращался в набухшую дождем и снегом тучу, из тучи ударяла молния, и Вера закрывала ладонью глаза.

Вера возвращалась в Сибирь вместе с собакой, и она снова, как при давнем ходе ее из Сибири в Иерусалим, встречала разных людей, попадала в разные приключения, видела и хорошее и плохое, видела и ножевые удары из-за угла, и грязные пятки спящего на лавке бродяги, видела чудо детского чистого, небесного взгляда, и чудо великого теплого сердца, когда один человек, на краю бездны, обнимал другого и шептал ему: «Не плачь, я с тобой». Она видела карманные кражи на рынке и внезапную смерть модного певца на открытой арене, на широкой площади; видела, как попадают под колеса электрички люди, и кровь разливается по шпалам и брызгает на серебряные, сельдяные рельсы; видела девок с фазаньим раскрасом щеки и мужиков, на виду у всех играющих пистолетами в волосатых кулаках; видела, как сворачивает голубую белую ангельскую голову подросток с сигаретой в углу презрительного рта, а рядом взасос целуются две девчонки, еле удерживаясь на земле на высоченных, как башни, каблуках. Видела, как люди дерутся не на жизнь, а на смерть и прицельно стреляют друг

в друга; видела, как, стоя на коленях, плачет мать над тельцем сына-грудника, убитого в оставленной возле магазина коляске. Она видела позор и счастье, милость и подлость, жалость и войну, убийство и рождение. Да, на ее глазах родился ребенок — в угрюмом, как гроб, здании сельской автостанции, и среди пассажиров нашелся врач, он принял роды, а Вера стояла рядом, все без слов поняла, что она должна и может тут помочь; она подавала врачу скрученные в жгут чужие рубахи, счастливо нашедшийся бинт, йод и медицинский спирт из станционной аптечки; они гляделись как настоящие врач и ассистент, и все так и подумали, что эта высокая худая монахиня в черной рясе — из ближнего женского монастыря, а это просто такое у нее врачебное послушание, здесь, рядом, в сельской больничке. Младенец родился и тонко закричал, закрихтел, Вера смотрела, как мать лежит на вокзальной лавке, подплывшая кровью, и тяжело дышит, и счастливо смотрит, как ребенок сучит ножками на руках у врача, а по лицу врача, по вискам его и щекам течет пот, а может, врач тоже плакал, как плакала Вера, не замечая, что плачет.

Собака сидела тут же, рядом, не шевельнулась. Только высоко подняла морду, вытянула по полу хвост и нюхала воздух.

Вера шла, и в воздухе перед нею маячили странные письмена. Буквы. Буквицы. Она не могла их прочесть умом, но прекрасно читала их сердцем. Чем дальше она шла и приближалась к Сибири, тем плотнее выстраивались в небесах, по обе стороны ее пути, эти письмена. Она боялась их рассматривать, не хотела видеть их изгибы и узоры во всех подробностях. Не хотела их разгадать. Они висели в небе рядом, как завитки облаков, и этого было достаточно.

Вера понимала: она свободно может говорить на этом страшном небесном языке, но время еще не пришло.

Сейчас, при возвращении, она могла без труда беседовать с рыбами и птицами, с деревьями и стрекозами, с легким снегом, что летел с распахнутых серебряной шкатулкой небес ей в обязанное апостольником суровое лицо. На вокзалах, в туалетах, она стирала апостольник, потом высушивала его на солн-

це — на карнизе, на спинке бульварной скамейки. Черный штапельный квадрат висел под палящим солнцем. Вера поднимала лицо к солнцу и закрывала глаза, чтобы не видеть манящих и строгих небесных писем. Высохший чистый апостольник опять туго обхватывал ее голову.

И опять и опять она шла на восток.

И рыжая огненная собака шла вместе с ней.

На пути Вере встречались люди, что сами заговаривали с ней. Она отвечала. Слово за слово, Вера выясняла: человек, что с нею завел разговор, не верит в Бога. Смеется над Богом! А с нею речь завел лишь потому, что она — в рясе. Интересно стало человеку: что же это толкает женщину, мужчину на такие бестолковые мучения? Жить в монастыре — какая глупость! Это несовременно. Это — архаика! Кто же сейчас верит в Бога? Ну так, старушки! А вы, вы же еще молодая...

Вера спокойно слушала человека. Буквицы тайных писем плыли по небу высоко над ней. Она шла, не останавливаясь, и слушала чужую речь. Человек шел рядом с ней, и собака шла. На ходу Вера говорила человеку о Боге.

Она видела: иные люди напрочь забыли Бога. А иные и не подозревали о Нем.

И надо было, в этой беглой случайной встрече на улице, в этой немыслимой беседе о том, о чем на ходу говорить нельзя, а только с глазу на глаз, под взглядами огромных старых икон, в слезах горя или счастья, можно говорить о Нем. И о том, как Он свят. И как Он жив. И как только Им одним спасается — и еще спасется — человечество.

«Презирайте Его! Смейтесь над Ним! Кричите, что Его нет! Громче кричите! На Него тоже кричали. И били Его. И распяли Его. А Он жив».

Откуда вы знаете, что Он жив, кричал прохожий Вере, рассерженно семеня рядом с ней, вы что, видели Его?!

И тогда Вера останавливалась, печально глядела на человека и твердо отвечала: «Я видела Его».

Сибирь распахивалась перед ней, как старый, окованный лентами ржавой жести крепкий сундук. Вера видела дома и не видела их. Яснее, больнее всего она видела землю под ногами.

Ее башмаки вконец износились. Хотела их сбросить и босою идти, но боялась изранить ступни, и еще боялась холодов.

Однажды летом на нее напали пчелы. Она не отмахивалась: стояла и ждала блаженной казни. Одна, две пчелы укусили ее. В руку, в щеку. Щека распухла. Пчелы улетели. Она шептала молитву. Собака легла у ее ног и закрыла морду лапами: она боялась пчел.

Страшный Суд, шептала Вера себе неслышно, аллилуйя. Жаль меня острыми жалами, Господь, бей, казни. Я — грешница. Там, среди облаков, пчелы водятся ли? Между туч люди летят, Суд гремит, а музыка звучит. Она звучит внутри.

В ней, пока она шла, звучали их с Зиновией песни. Звучал рояль, потом орган, потом скрипка жалобно плакала и ныла, потом хор безжалостно обрушивал великие небеса, и они рассыпались на тысячу снежных, ледяных кусков. Потом звучало все что угодно, музыка становилась миром вокруг Веры. А Вера ужасалась своим грехам, и, пройдя по земле еще малый отрезок пути, садилась на землю или даже ложилась на нее: ничком, чтобы теплее, ближе ощутить.

Ночевала где придется. Иногда люди пускали ее в сени, а собаку оставляли во дворе. Иногда гнали в шею: «Да пошла ты, катись колбаской, бродяжка!» Оставался вокзал и ожидальный зал, прибежище бездомных.

Однажды ночевала Вера на маленькой железнодорожной станции, спала сидя на жесткой лавке. Собака спала рядом, плотно прижималась к ее ноге в изношенном башмаке.

И тут, на дальней станции, Вере приснился Царь. Сначала она увидела его в блеске и славе. Царь сидел на троне и протягивал руку вперед. Невидимый слуга вложил в руку Царю скипетр. Другую руку Царь поднял ладонью вверх. В нее прислужник положил тяжелую, как круглая земля, державу. Царь крепко сжал золоченые знаки власти. Вера во сне вздрогнула всем телом, как собака. Она видела Царя, его жену и детей только на святой иконе в монастыре, в покинутом Иерусалиме. Ты же давно святой, хотела она во сне сказать Царю, к чему простой женщине снятся святые? Царь едва видно улыбнулся. Его озерно-светлые, холодные глаза вспыхнули горем и прощением. Вера захотела кинуться к его ногам. И тут вдруг Царь превратился в маленького лысого человечка. Человечек сидел на троне, где миг назад сидел Царь, и держал в маленьких ручонках скипетр и державу. Удерживал с трудом. Держава заскользила, выпала из детско-стариковской шутейной ладошки, упала и разбилась. Осколки ослепили Веру. Во сне она закрыла лицо рукой. Отняла руку: лысого на троне уже не было. Сидел другой. Сивый, невидный. Тонкая умная улыбка прорезала бледные одутловатые щеки в еле заметных оспинах. Он смотрел вниз и вбок. И Вера туда поглядела тоже. К трону подвели человека с заломленными за спину и перекрученными проволокой запястьями. Человек смотрел не на трон. Он смотрел мимо и выше.

Вера поняла: пред очи нынешнего Царя привели Пророка. Пророк молчит. Что он может сказать тому, кто делает вид, что видит, и притворяется, что слышит?

Вера хотела рвануться вперед и крикнуть: «Эй! Давай я за тебя скажу! Пока мне глотку не перерезали!» — но тяжелый сон опутал ей, как лошади, ноги и не давал бежать.

Ты, сказала она себе в отчаянии, ты примерила на себя платье чужой страны, ты ходила в платье святой веры, ты, Вера несчастная, и кому ты была нужна на чужбине? Вот — твоя страна! И твой Царь! Да, это все твои Цари, и зачем тебе от них сбегать? Где родился, там и сгодился! Ты брела вон от родины, ты хотела... А что ты хотела? Увидеть чужие края? Выполняла волю

мертвой подруги? Перед нею, как живые, встали кружевница Анна Власьевна и старушка Расстегай; они обе, морщинистые и веселые, весело смеялись и размахивали руками, друг другу пытаясь указать на Веру; они видели ее, но не могли до нее докричаться. Ты, шептала Вера себе, ты забыла свой народ! Какой он нынче, твой народ? ОН другой! Может, он и не примет тебя, другую? Возомнила себя там, на чужбине, святой! А вот народ твой — новые скоморохи и новые бояре, новые нищebroды и новые богатеи; богатеи зажрались, а нищие голодают, все как надо, все как встарь! Башню люди строят все ту же: до небес. За облака хотят прорваться! Все выше и выше! А ты? Поле-зешь ли на ту башню? Ринешься ли с нее вниз?

И разобьешься... как та держава... на тысячу кусков...

...проснулась, и долго не понимала, где она и что с ней. Собака строго сидела и внимательно глядела на Веру.

Собака хотела есть.

Вся животина все дрожащее зверье и птичье
 На человека хочет поменять обличье
 Все отчаянное мое зверьё и птичье
 Клеочет рычит-стонет уснет впадет в забытьё
 О голуби сизые фениксы кто вы безвестные
 Не голуби мы а ангелы небесные
 Мы ангелы мы твои архангелы-сироты
 Очи наши бездонные твоей лопатой вырыты
 Живые куда вы летали легкие-любимые
 В каких небесах распахивали крылья голубиные
 Летали мы девушка на прощенье-прощание
 На вечной жизни небесное обещание
 Твоя душа с телом однажды расстанется
 С руками-ногами простится
 в глаза как в зеркало глянется
 Поднимем тогда на небо мы душу крылатую
 И сверху глянет она на тело избитое распятое

Приведем душу ко дворцу Небесному Граду
А она плачет не требует награды
Приведем душу во Ад где в котлах масло варится
А грешники на сковородах адских стенают-жарятся
Отвернется душа не нужен ей Ад
Крикнет нам ангелам несите меня назад
А назад нельзя из Ерусалима Града Небесного
Из света звездного дня воскресного
Приведем тогда душу ко гробу
где тело спит в земле
А черви едят его во сырой во мгле
И воскричит душа моя погодите меня черви точить
Я еще хочу молиться еще хочу любить
Отпустите меня к людям на людей поглядеть
Я стану людям новые песни петь
О том, чтобы они зверей птиц да рыб берегли
На самом краю неба и на краю земли
Потому что живое оно живо и лонись и надысь
Животина не может Богу молиться а ты молись

Люди кланялись ей, ловили ее руки и старались поцеловать их, а какие и осыпали ее проклятиями, а она все шла и шла, и серая змеинная шкура асфальта покорно ложилась ей под ноги, и становилась Вера двужильною, не нужны были ее зренью и слуху названия сел и городов, она понимала — это уже Сибирь, вот она, родная. Обь Вера перешла по мосту. Она останавливалась и долго глядела вниз, на текучую воду. Холодная вода! Ее города! Боже, зачем ей был далекий Иерусалим! Аннушка, шептала она облакам, Анна Власьевна, я все сделала хорошо, я твою волю исполнила, не правда ли? Из воды, крутящейся около быков моста, на нее смотрели лица, и это были лица родителей. Отсюда, с высоты, отец и мать казались ей благочестивыми и благородными; волосы их светились золотом, глаза сияли восторженно, прощая Вере даже то, что она не делала никогда.

«А после вместо матери у меня Анна Власьевна была», — шевелились Верины губы, обсушенные ледяным ветром. Вера вспоминала детские игры, шалости и веселье, а может, боль, слезы и тьму, и паутину по углам — и ничего не могла вспомнить. Да и было ли детство? Ей казалось: она слишком рано ушла из дома. И потеряла детство. А может, ей просто не дали им всласть полакомиться.

Она пыталась вспомнить обиды, уколы, укоры, ругань, побои, насмешки, издевки — и не могла: может, в ее жизни и не было ненависти? Как тряпкой вытерли, стерли из памяти бандитов в Иерусалиме, синагогу в крови. Зато она помнила, как усердно работала во славу Божию в монастыре. Как книжки там читала: умные.

Вера глядела на обскую воду и думала: сколько же тут рыбы! Отравляет человек водоемы свои, а рыба все не сдается нефти и яду. Перейдя на восточный берег, она вознамерилась порыбачить. Да удочки не было у нее, и крючков, и поплавков, и червей. А хорошо было бы рыбу поймать да в костре запечь. Она села на берегу на старую лавчонку, так долго сидела, глядела на воду, на закат. Побрела дальше. Собака за ней. Дошла до церкви; железные, с чугунным узорочьем, двери закрыты, в последних лучах медного солнца сверкает начищенный замок. Вера села у дверей храма, обняла колени, склонила голову, закрыла глаза и погрузилась в нежную дрему.

Ночью к ней подошел пьяный подросток и поднес зажигалку к ее подолу. Ряса загорелась. Вера проснулась от боли и от огненных сполохов перед глазами. Закричала. Мальчишки давно след простыл. Собака выла, как при мертвеце. Вера, в горячей рясе, сбежала с церковного крыльца, каталась по сырой и холодной весенней земле. Сбила пламя. Чулки ее сгорели. Она смотрела на свои ноги в ожогах и спрашивала себя: Господи, мои ли это ноги? А может, чужие?

Она сняла сожженные чулки и выбросила их: все равно скоро тепло! Трудно побрела дальше. Обожженная кожа болела. На обрыве стояла больница. В больничном саду медленно

и тоскливо гуляли старые люди в халатах и тапках. Старухи из больницы выпросили на больничной кухне подсолнечного масла, принесли Вере; она мазала маслом ожоги, плакала и смеялась. Собака стояла рядом. Она всегда была рядом. В отличие от людей, которые все время куда-то — и навек — исчезали.

Идя и думая о многом человеческом и Божием, она стала жалеть, что в свое время не вышла замуж, или что ее не обвенчали нарочно, насильно. Глядя в лица мимохожих женщин, она думала про каждую: вот у нее дома муж, дети, а то и внуки! — и ей становилось пронзительно, светло и жалко себя. Одинокая! Как больно! Она думала тяжело и отчаянно: семья, это ведь маленький храм, а я так и не пожила в этом малюсеньком, милом и отчем храме, не убирала его, не обиходила его. Ей захотелось быть хозяйкой, матерью, но она шептала себе: ты, мать Вера, тебе вера только одна и осталась, слишком поздно! — и зудящее слово «поздно» жалило ее злой пчелой, укалывало ядом грядущей смерти. Смерть летала близко, Вера чувствовала ее черное дыхание и легкий неслышный перестук ее костяшек, но давно она смерти не боялась.

Только все время было жаль, смертельно жаль чего-то. Или — кого-то.

Тот человек с ручным питоном в Москве... тот бродяга, Алешенька, в Одессе, монах-расстрига... Липа Гузман, чернобородый богатырь, на жаркой восточной улице, и золотой попугайский коготь серьги зацепился за ухо, и камни все в трещинах от солнца... Сестра Васса, ее ночной шепот, и вот бросает ей ломтик лимона в крепкий, как вино, чай, а на сахар указывает тоненьким пальчиком и смеется: «Сладкое — наслаждение, грех!..» Лицо Зиновии. Лицо N. Боже мой, Боже! Сколько же лиц у Тебя!

Она пыталась отомолить то, двойное иерусалимское убийство, когда она, убегая из притона, выстрелила сначала в рот насильнику, а после в живот безымянному часовому; она убила двух людей, и страшно было жить кожей и кровью сращенной с пожизненным проклятием, чудовищным, сиамским уродом-

близнецом: душа и грех. «Я убила, Господи! Человеков убила! Живых! Одного и другого! И не охнула! Но это же была война! Моя война! Да, сделай так, Господи, чтобы будто бы я убила этих людей не в мире, а на войне. Да ведь это и была война! Моя война! Я — жизнь свою спасала, а то бы убили меня. Баш на баш! Никому жизнь не отдашь! И все же, все же! Я взяла на душу смертный грех. Боже, милый Боже, прости мне! Если можешь! Ты — можешь! Я с таким грехом — жить не могу! Долго не проживу... И до Енисея — не дойду...»

А если — дойти? Енисей близко. Дойти, и осесть, и пустить корни, и — врасти? И земные поклоны класть без устали; и рукодельем заняться, и дарить поделки направо и налево, и однажды отвезти ручную вышивку в воинскую часть, пусть солдаты повесят в торжественном актовом зале вместо ковра. Она смеялась над собой: чушь прекрати думать! — да ты же не вышьешь гладью ни танк, ни пулемет, вот Распятие — да, вышьешь; и подаришь изделие свое в храм, там тряпка твоя шелковая будет нужней.

Крест вышить. Черный крест.

Красный лучше. Ткань снегов расстелена. Остановиться, ноги устали, сесть на снег. Нож попросить у прохожего мужика. Якобы воблу почистить! Или — колбасу! И полоснуть по запястью. Кровь брызнет. Это твой шелк. Лей на снег! Вышивай! Живет только то, что вышито кровью. Про что спето кровавым горлом. Все остальное — сдохнет. Собака моя, ты не сдохнешь! Ты умрешь, как человек. Да ты человек, у тебя человеческие глаза. Полные слез.

А люди, спрашивала Вера себя, они кто, рабы или цари? Кого в них больше — царя или раба? Все больше и сильнее она хотела служить самым слабым, последним. Самым битым и насмерть забитым. Вот они точно мало любви в жизни видели. Да что там! Не видали ее совсем! А зато сколько смеялись над ними! Пинали их, гнали! Самой драгоценной награды они достойны. И не шелковой вышивки. А — чего?

Крови твоей на снегу?

На церковном подворье кормили бедных — Вера старательно плескала черпаком из котла в подставленные алюминиевые, цвета серебряной полночной Луны, миски горячее варево, кромсала тесаком хлеб, всовывала миски в руки нищих, согбенных и дрожащих. Люди медленно брели к накрытым чистой клетчатой клеенкой столам, прижимая к себе драгоценную миску, нюхали луковый пар. На краю стола излучал жар самовар, как в старое доброе время. Времена смещались, и не становилось времен. И Вера, когда все поедят, собирала со столов пустые миски, складывала их грязной горкой и смиренно тащила мыть — открывала уличный кран, холодная вода обжигала, веселила пальцы.

Услужить человеку! Она и не знала, до чего это хорошо. Да, в монастыре послушания инокиням назначались всевозможные; а такого широкого, как ветер, счастья никогда не испытывала. Правду говорят: своя земля и в горсти мила. Все глубже зарывалась Вера жадными руками в широко распахнутый сибирский сундук, и она знала, там, на дне, лежит и любовно вздрагивает всеми излучками и порогами ее серебряно-изумрудный, дымящийся Енисей, — уже скоро, уже завтра она увидит эту морщеную ветром, вышитую светом скатерть. Дойти и услужить! Что будет творить, не знала. Но глодало изнутри: сотворить! возвести!

Только б не война! Только б не война...

Тут мысль обрывалась, она скусывала ее, как нить. Пыталась увидеть перед собой N — его руки, его лицо. Какой он был? Она не запомнила его. Издали, отсюда, он казался слишком гладким. Блестящим. Гладко оструганным. Она вместо его лица видела гладкую отполированную кеглю. Вместо его рук ощущала лишь их далекое тепло. Они были такие теплые, когда он брал ее руки в свои. Это было одно, что он себе позволял. Ласку к ней. Благоволение.

Мужчина крепко сжимает руки женщины: благословляет ее.

На объятие или на разлуку, это все равно.

Люди иной раз были как бесы, а ангелы спускались с облаков в виде людей. Мир Верхний и Мир Нижний мешались, варились в единой похлебке, красной солянке. Людская площадь большого города чудилась Вере живым котлом. И она, вдруг — огромного роста, упираясь головой в небеса, брала котел за ржавую дужку и еле поднимала, тяжелый, а кипяток булькал, и время выплескивалось и обжигало ей локти и ноги. Бессонной ночью на стылом вокзале, на безымянной станции Вера вставала на раннюю молитву, как в монастыре. И люди оглядывались на неслышно творящую молитву суровую монахиню в потрепанной рясе, и отворачивались, и стыдливо поджимали забывшие о молитве рты, и вздыхали.

Бесы таяли и разлетались пылью от утреннего правила, а ангелы в виде людей придвигались к ней ближе. Поезд подгромыхивал к перрону, Вера подходила к вагону, низко кланялась проводнице и глядела безмолвно; когда ее сердито и жестоко прогоняли, а когда и украдкой, туда-сюда глазами постреляв, пускали в вагон, и шептали: «Посиди, матушка, или даже лучше в тамбуре постой, так и доберешься, а тебе куда? А собака — твоя? Мы со зверями не пускаем, нет...» Она молчала.

В плацкартный вагон они торжественно входили вместе с рыжей собакой и шли мимо всех незнакомых жизней, проходили их насквозь, навывлет.

Где место было свободно — она садилась, и собака клала голову ей на колено.

Ей говорили, что скоро начнется голод, что людям не платят денег за работу, говорили, как люди воруют еду на рынке и кошельки из карманов, а еще говорили попутчики, что скоро начнется война, и Вера молча опускала голову. Старик с заплочным мешком спускал с плеч веревку, развязывал дорожный мешок, вынимал хлеб и жевал его беззубым ртом. Шамкал, глаза закрывал. А потом открывал, и летели из его глаз искры, как от ночного костра, в Верино лицо. «Земля не родит! Дороговизна всюду! Нищие бродят и вопят! Люди в дальних селах — в полях сено

крадут! И продают! Кражи всюду, воры по домам шныряют! Где и голодуха сильная! Люди людей убивают за копейку! Болезни старинные ожили! Ни похоронить толком, ни родить! Времячко!» Рябая баба на полке напротив, глазенки крошечные, как у свиненка, часто-часто моргают, аж сморщилась вся от гнева и покраснела. «Старый пень, каво болташь! Однако дрянь несешь! Мало-мало охолонь! Сено, вишь, у нево скрали! Скажи спасибо, што самово не скрали! Щас, наоборотки, еды завалися! Мясов, курей, всево! А ты... фух!..» Баба махнула рукой на старика, как на муху. Вера широко, медленно перекрестилась.

«Молись, матушка, — кинул ей старик, будто голубю корку, — верное это дело, молитва. Да молодые над ней смеются! Ржут как кони!»

«И опять што валишь, дед! — встряла подслеповатая рябая баба. — Щас наоборотки молодежь верует! Ищо как верует! Нам с тобой и не снилося! Чеши, чеши языком-то! Может, вральну язву и начешешь!»

Вера тихо читала вечернее правило. Солнце закатилось. Тьма напоззала на землю.

Посреди светлой весенней ночи поезд встал и долго стоял. Вера вскинулась. Она спала сидя, голову положила на вагонный стол, руки ее упали плетями. Молчание поезда разбудило ее. Сердце толкалось в ребра. Ничего не понимала она, только знала: круг замкнулся.

«А может, это и есть мой Иерусалим?»

Собака, что умно и покорно спала возле ее ног, подняла голову и задвигала большими стоячими ушами. Вера вскочила. Побежала по вагону, на ногу припадая. Собака — за ней. Ряса обвивала Вере голые ноги. Ранец, подпрыгивая, бил по спине. Башмаки стучали по вагонному полу. Добрая проводница, что пустила ее в поезд, презрев наказание начальника, витаращилась изумленно: «Вам, монашка, до Красноярска разве? Так каво вы мне сразу не сказали?!»

Вера вылетела из вагона на перрон. Нежная майская ночь выливалась белый мед на город из громадного полночного ковша.

Поднялся ветер. Он мял и грубо крутил Верину рясу, бил собаке в нос незримым кулаком, и собака повизгивала. Вера наклонилась и погладила по голове собаку. Ее губы задрожали, и по щекам на отошалуую шею стекли, как дождь по стеклу, упрямые, нищие слезы.

— Я вернулась, — тихо сказала Вера собаке.

Верини колени подогнулись, и она села на перрон, и крепко обняла рыжую собаку, и притиснула к себе, и морду собачью к груди прижала, и поливала слезами.

Мир — не покойник, которого надо обмыть,
Мир — не смертельно больной,
и нельзя прикасаться к одежде;
Мир — он тянется, длится, вьется, как нить,
А клубок заново не смотать, чтобы сделалось все,
как прежде.

Заболел ты? При смерти? Так я о тебе помолюсь.
Помолюсь так, что не пристанет ни язва, ни мор,
ни проказа.
Это служба моя такая: мыло, банный веник и дуст,
Хлорка, известь и щелок, и навек погибает зараза.

...Мир, ты врешь все. Ты болен! И я твой врач.
Я лечу тебя этими страшными,
жгуче простыми словами:
Отче наш, и Богородице Дево, хоть плачь,
И Сорокоуст, и вот Он, крылатый,
в метели идет
между вами.

Ну, зови же скорее, бедный, болезный, к себе меня,
И прибегу, задыхаясь, глазами светясь,
путаясь в рясе —

Я успею до твоего погребенья,
до этой тяжелой вспышки огня,
До хоровода воплей, до рук в умирающем плясе.

А я-то, я-то!.. мнила, ты вечно, Мир, будешь жить!
А ты, дурачок мой, безволосый смычок, из жизни
не извлечешь ни звука.
И, увидев меня, последней Вере
ты жалко выхрипнешь: «Пить».
И последней Любви протянешь дрожащую руку.

Только я на колени встану у последней койки твоей,
В последнем твоём полевом госпитале,
пахнет потом и кровью,
Последняя твоя сестра, красный крест,
меж последних твоих людей,
Последнюю воду в кружке поднося ко рту твоему,
к изголовью.

Вера не узнавала улиц. Дома глядели сквозь нее и мимо нее. Она подходила к дому, ощупывала ладонями камни; камни излучали холод, а нагретые солнцем — святое тепло, и она склонялась и целовала камни, как чью-то живую щеку. Она шла по городу и видела яркие похороны, и обитый красным шелком гроб, и черный крест, вышитый на атласе; видела детей, что бегут в школу, за плечами их ранцы трясутся, ноги веселыми ножницами режут весенний воздух. Видела, как в железных повозках едут люди — кто на работу, кто в гости, кто куда, — и думала: а вдруг в этой селедочной тесноте едет воскресшая Анна Власьевна, кружевница, едет веселая старушка Расстегай? «Не воскреснет никто, нет чуда чудесней, — шептала она себе, — нами, мертвыми, Бог вызвездил твердь небесную, из нас сложил Небесный Иерусалим». Ей хотелось быстрее вырваться вон из Красноярска: от себя старой, от себя

прежней. Ноги несли ее, она была благодарна своим выносившим ногам.

Рыжая собака послушно и весело бежала за ней, и однажды собаку убили. Ее подстрелили специальные охотники на собак — видать, вышел приказ во всем городе перебить бродячих псов и кошек, Вера и ахнуть не успела: подкатил железный слепой фургон, выбежали два мужика, у одного охотничье ружье, у другого пистолет, стали палить, чуть Веру не подстрелили. Она отбежала и упала на землю. Лежала на земле и видела, как ее родная собака визжит и катается в корчах по асфальту. Затихла. Морда в крови. Меткие стрелки попали в бок и в голову. Шерсть потускнела, слиплась. Зубы оскалились. Вера лежала щекой на тротуаре и видела, как мужики вразвалку подходят, ощутила летящий от них густой табачный дух, услышала табачную, смачную речь. «А бабу каво, тоже зацепили?» — «Посадят тебя, лешак!» — «Да не, живехонька она, однако, глянь, шевелится». Вера встала на колени. Глядела, как ее собаку волокли за задние ноги к фургону. Вбросили внутрь, в черный зев железной двери. Машина завелась, поехала, обдав Веру гадким синим, сизым дымом. А Вера все стояла на коленях.

Перекрестилась. Она молилась за собаку.

А ведь она так и не дала ей имени; весь путь по земле звала ее просто: собака.

Нарекаю тебя Рыжулей, шептала Вера и крестилась, будешь ты Рыжуля на небесах, а когда я приду в Небесный Иерусалим, ты там встретишь меня, да, именно там, ты помни, жди у врат.

Поднялась с колен и пошла дальше. Все дальше и дальше.

Вышла из города, вокруг то стелилась степь, то колола ветер иглами весенняя тайга, лиственницы выпускали на волю, под теплые руки ветра нежную пахучую хвою, и опять поля, и вспаханная земля, а под тонким слоем жизни — вечная мерзлота, и никто, никто не согреет землю, никогда не оттает она. Зачем же теплый человек все шагает, шагает по ней? Она с горечью думала о себе: может, она неправа, и надо было ответить на любовь знаменитого N, и жить с ним в роскошных его хоро-

мах, и родить ему хороших детей, здоровых и красивых, разве это все не Божие дело? Очень даже Божие, конечно, соглашалась она с собой, но есть еще мой Иерусалим, и я его возведу, пока я тут, на земле.

Что Вера имела в виду, когда шептала себе, как в солнечном бреду, идя по длинной, бесконечной дороге: мой, мой Иерусалим? Она не могла бы дать ответа. Подлинный Иерусалим, тот, что остался крыльями за плечами, разве он не был сном, да, ведь это был всего лишь сон, бормотала себе Вера, но зато какой красивый сон, правильный, честный, про людей, Бога и дьявола, про Литургию оглашенных и Литургию верных, а кроме Божественной Литургии, и нет у человека чистой небесной радости: ни у простого нищего, ни у великого царя. Под ребрами, в груди, горело и тлело великое, царское чувство. Она пока не знала ему имени. Может быть, это тоже была любовь, один из ее многих неуловимых ликов; Вера хотела быть и жить во славу Господа, а одна или с кем-то, она не знала; да ей это было все равно; просто шла и шла, и на ходу молилась, и садилась, чтобы отдохнуть, прямо на холодную землю, смеясь, и плакала о рыжей убитой собаке.

Ей подавали хлеб и деньги. Она низко кланялась, принимая милостыню. На краю села она увидела брошенную заимку; чернобревенный дом глядел выбитыми окнами, земля огорожена длинными жердями, а жерди все на дождях, снегах и ветрах подгнили, посерели серебряно, покрылись трещинами. Вера отогнула гнилую жердь, поднялась на посеченное временем крыльцо, вошла в дом. И опять на нее пахло мертвою, святой погибшей жизнью. «Может, дом этот меня как раз и ждал!» Лампа под потолком, и стекло разбито; у швейной машинки на подоконнике отодрано колесо, вон в углу валяется, поблескивает голубиным серебром. Обои исцарапаны — котами ли, мышами. Старый портрет на стене, холст, масло, чья-то наивная, тюремная, простецкая кисть, издырявлен пулями: в портрет стреляли, и пробили лоб, щеки и спокойно сложенные на коленях руки, а под коленями скорбный малеванец изобразил лагерные бара-

ки, крыши засыпаны снегом, поодаль из сугробов торчат кресты, тут живут, тут убивают, тут же и хоронят, и там, далеко, в зимней снежной кисее, колючая проволока. «Отец, отец мой, спасибо за привет с небес, ты не думай, я тебя помню, я за тебя помолюсь». Вера встала посреди убитого дома на колени и долго молилась.

Потом стащила с плеч ремни ранца и вытерла лицо подолом истрепанной рясы.

Устала. Вечерело. Холодало. Она вышла на крыльцо. Огляделась. Проселочную дорогу окутывал туман. Май, думала она туманно, если землю вскопать и взрыхлить, и верно засеять, взойдут семена и рассада. У баб попросить? «Завтра в тайгу пойду, ручей найду, речонку какую, крапивы нарву, ошпарю, вот тебе и еда». Вспомнила, что в ранце лежит огрызок милостыни — кусок ржаного хлеба. Она вернулась в избу, вынула из ранца твердый, стальной ржаной и съела его. По щекам ее текли слезы. Вспомнила, как ела хлеб, в насмешку брошенный ей на сцену. Простреленный человек с портрета глядел на нее дырявыми глазами. У человека тускло мерцала из тьмы бритая маковка и печально светились сложенные, как в гробу, изработанные, в шишках и мозолях, руки. Бритый нарисованный зэк смотрел, как она ест хлеб и плачет, и без слез плакал вместе с ней.

Вера поселилась на заброшенной заимке. В сараюшке нашла битые стекла, застеклила и старой ватой законопатила окна. Топила печь даже летом, чтобы в избе тепло было. Нашла в избе, за печью, топор, и пилу, и другие инструменты, подмогу в хозяйстве; на полках отлично сохранились и горшки, и кастрюли. Ходила в село, туда приезжала три раза в неделю торговая машина, безденежную Веру уже все знали, из машины бросали ей бракованный, с запеченной грязью, хлеб, сельские старухи оделяли яйцами, пирогами, морковью, луком. Старой ржавой лопатой она вскопала землю, сама посеяла лук, картофель, петрушку,

брюкву, китайскую капусту и огурцы. Явилась к ней одноглазая тетка из села, давала советы, с интересом, хитро косилась на Верину обтрепанную рясу, хрипло спросила: «Из монастыря сбежала?» Вера молчала. Тетка подмигнула: «Давай постираю! А ты пока мое платишко поносишь». Вера улыбнулась: «Сама постираю».

Тетка вынула из кармана пачку сигарет, долго смолила, потом вытащила из-за пазухи чекушку. «Рюмки у тебя есть? А то давай из горла! Не побрезгуй, сифилиса у меня нету!» Вера молча улыбалась и глядела, как тетка пьет — запрокидывая шею, жадно, как мужик, крупными глотками, без закуски. Зло утерла рот. «Хоть бы морковку какую дала, мать! Да нет у тебя морковки! Вырасти еще!» — «Выращу», — кивнула Вера. Пахло водкой. Из открытого окна тянуло хвоей. На жестком лице Веры было нарисовано великое счастье.

Она обнаружила, что Енисей оказался тут, рядом — за земляной грядой, поросшей лиственничником и кедровым стлаником. Когда она выбрела на кручу над рекой, она даже закричала от радости — так был волен и сурово-торжествен царь Енисей, так размахнул он на полмира свою синюю, холодно-парчовую мантию. Резко-сизая, будто заиндевелая, синь жестоко ударяла в глаза. Лежал под небом синий нож, и небо не могло схватить его и им разрубить время и давнюю боль. Вера стояла, руки по швам, как солдат, и глубоко, как на приеме у врача, дышала. Вдыхала родину. Сколько лет!.. без нее... А она и не считала. Толку было считать. У времени счета нет; есть только его скелет, и костяшки тихо стучат друг об дружку, дужки ребер, выгибы каменного черепа. Речной ветер безжалостно мотал подол Вериней старой рясы. Она ощутила себя старой, великой и вечной, как эта земля; и ступни ее были уже тронуты мерзлотой, и волосы — инеем. Холодное лето шло и текло, шел вдаль Енисей, царственно и мощно, к далекому ледяному океану, и вместе с Енисеем Вера сама шла по своей земле, и теперь время ей было не страшно — ведь она вращалась ногами в родину, и это было тверже, важнее всего.

Спала Вера летом и осенью на лавке, укрываясь старым тулупом — тулуп ей сельчане подарили; зимой и весной на печи, и кости ее, живот и затылок согревало хвойное, смоляное тепло. Долго горела лиственница, самая твердая древесина среди всех колючих таежных цариц, так же долго, как Вера ее пилила в тайге. А береза быстро прогорала, и сосна. Немного дровишек набилось Вере на зиму, она могла легко терпеть холод, иногда изба к утру вымерзала так, что брови и волосы Веры покрывались налетом инея, а изо рта, как у коня на морозе, шел пар. Она вскакивала затемно и растапливала печь. Когда дрова начинали трещать и гудеть, Вера садилась на пол близ печного зевла и глядела на огонь. И вспоминала свечной огонь в монастырском Троицком храме, и Благодатный Огонь во храме Гроба Господня, и мерцанье ягодной лампы в их с сестрой Вассой строгой келье, и как она вставала к тому слабому детскому огню и молилась. И тогда Вера опускалась на колени около пылающей глотки русской печи и опять молилась. Она молилась на огонь, как на горящую золотом икону Божией Матери Владимирской.

Она строго соблюдала все посты, помнила все праздники. Вставала и ложилась с молитвой. Все меньше думала о себе; все больше о людях вокруг, о природе окрест, но более всего — о Боге в небесах. Здесь, на Енисее, Он оказался всех ближе к ней. И она не уставала благодарить Его за такое чудо.

Она думала о людях, что страдают близко и далеко, и, чтобы страдать вместе с ними и страдать, как Господь страдал, она в башмаки свои, под свои босые ступни клала черепки разбитой глиняной крынки, пучки крапивы и скорлупки кедровых орехов, и так ходила. Башмаки изнашивались; тетка-пьяница принесла ей мужские сапоги, швырнула и заплакала: «Носи! На здоровье! Это муженька моего покойного сапоги. На счастье!» И Вера обула ноги свои в чужие сапоги, и низко поклонилась вечно пьяной тетке.

...пьянь ты, рвань, — а я же так люблю тебя... Такая моя обнимальная судьба... Пригрудила всех. Приголубила всех. Голуби-

ный слышу над собой в небе смех. Глубинные течения... густая вода... а может, кровь... не выплыть никогда... убить без следа... любить навсегда...

...мир, ты моя пьяная, желанная беда...

Понемногу вокруг Веры стали селиться люди. Старики. Старухи. Бродяги. Беглые: девчонки, что удрали из интерната, мужики, что убежали из колонии под Енисейском. Они подходили к Вере под благословение. Строили на заимке, кто что мог. Кто поселялся в старых сараях, чуть подлатавши кривые доски. Кто даже в шалашах, потом себе времянку сооружал. Верина изба обрастала другими избами. Место заброшенное, тихое, власти здесь не появлялись, машины сюда не заезжали. Возникла своя упрямая жизнь, и средоточием этой жизни была Вера. Так рождался ее собственный монастырь, где она явилась всем молчаливой игуменьей, и все звали ее: «Матушка!» — и даже без имени, просто — матушка, и все. Земля родила, бабы заводили коров, косили траву и сушили скотине на зиму сено, зимую дым белыми рыбами на невидимых куканах вставал над трубами, росла заимка, превращаясь в таежный монастырь, и Вера понимала: это судьба, и надо радоваться ей. Она и радовалась, как могла.

Она приходила к каждому в его избенку, в сарай; учила молиться, если не умели; учила сажать лук и морковь; учила детей чистить картошку, а их родителей — варить китайский луковый суп. В неурожайный год монастырь на заимке голодал, в урожайный — дома ломились от всяческой еды; насельникам кто привозил из других святых мест святые образа, а когда они и сами, перекрестясь, делали иконы — вырезали на бересте, малевали на старых кухонных досках. Вера понимала: никакого церковного права она не имеет, управлять самостийным лесным монастырьком, но так говорила себе: права у меня на это нет перед людьми, но есть перед Господом, — и просила: Господи, не дай мне покинуть моих людей, не дай оставить их прежде времени, а дай им помочь, обиходить и обустроить их, и главное, Тебе научить молиться и к Тебе идти. Она вспоминала раз-

говору с Н про войну. Отсюда, из глубин тайги, война виделась смешным драконом, коряво нарисованным в детской тетрадке; замалюй его черной краской, зачеркни, и все, умрет он и больше не воскреснет.

Люди, кто мимо шел, заходили на заимку — попросить кусок хлеба. И Вера, и насельники всегда мимохожим хлеб давали. Еще и чем другим из съестного оделяли, и одеждой, если путник брел в изношенной-дырявой, и образок в руки совали, и на дорогу крестили. В монастыре Верином никто не пил, даже та тетка-пьяница, из ближнего села, переселилась на заимку жить и бросила пить, хотя люди Вере говорили, женское пьянство не лечится. «С Богом излечимо все», — говорила Вера и опять вставала на молитву.

Вера ходила в чужих дареных сапогах, в чужих исподних рубашках: ей все дарили, с поклоном приносили, сшили ей из черной ткани новую рясу, старая уже совсем истлела и порвалась, — сшила та тетка, бывшая пьяница, на той самой сломанной швейной машинке; машинку починили, колесо на нее вздели, шурупы подвинтили, челнок оказался исправен, и бойко тарыхтела машинка, как полвека назад, во время войны с фрицем и лютых лагерей, и сшивала ветхий синий небесный ситец и белый зимний шелк суровой, инистой колючей проволокой.

Так шло время, и старилась Вера, и не страшна ей была старость ее, потому что старость — это были дожди и метели, морозы и слякоть, ливни и вьюги, пурга и бураны, ветра и льды, а это все была великая жизнь, и жизни она не боялась, а приветствовала и любила ее. В жизни могло совершаться небывалое и происходить давно жданное. Жизнь была сплетена из непредсказуемых нитей и узнаваемых узелков. Таяла память, но просыпалось сердце, и многое Вера помнила чувством — чувство никогда не обманывало, ни предавало. Не подкапывало, не крало. Не душило в питоньих объятьях.

Она все яснее видела вдаль, и люди говорили ей: «Прозорливая!» — и становились на колени, и припадали лбом к ее

стопам. Она крестила людей и шептала: «Не стою я вашего поклоненья, я недостойная, я — одна из вас». И радовались, и веселились люди, что Вера — одна из них.

Вера предсказывала нахождение заблудившихся в тайге детей и скорую смерть бодрых здоровяков; она предсказывала северное сияние над Енисеем и чудесное возвращение царей-осетров к берегам Маны. Предсказывала, что с небес в тайгу упадет громадный черный камень, и камень падал, ярко-раскаленный, и пожигал вокруг себя деревья; а потом, остывнув, чернел и выглядел цветом как хобот смерча, что налетел из Саян. По ее знаку люди усыновляли сирот и уходили в семинарию — учиться на священников; женщины, которые слыли бесплодными, зачинали и рожали, и Вера сама нарекала детей и, хоть права на то не имела, за отсутствием в таежной обители священника совершала сама обряд крещения. Да тут появлялись и батюшки; то расстриги, то те, кто отучился в городе, то те, кто узнал о таежном дерзком ските и являлся сюда, смущаясь, с просьбой: «Примите меня!» Его принимали. Однажды заявился человек, седые волосы всклокочены, на башке то ли скуфья, то ли старая пилотка, в одном ухе серьга, другое топором обрублено, вместо рясы — землю кафтан метет, может, в оперном театре из костюмерной стащил. «Как тебя зовут?» — спросила Вера. «Алешенька!» — придурясь, зверино скривился мужичонка, сморщил нос. Вера закрыла глаза, и белым бледным прибором времени захлестнуло ее загорелые на енисейском солнце щеки. Мужики потихоньку строили святые дома: сперва часовни, в честь Божьей Матери Казанской, в честь великомученицы Екатерины, потом и деревянный маленький храм возвели. В честь кого храм-то будет у нас, так спросили Веру. Вера недолго думала. Улыбнулась и ответила: «В честь Алексия, человека Божьего».

Во храме служили службы, все честь по чести. В синие густые, как сметана, великие морозы вечерами собирались в домах: то в одном, то в другом, — дети обители очень любили эти вечерние посиделки, просили взрослых о сказках, о страшных

историях, и матери и бабушки рассказывали им, как святых, чьи имена дети носили, мучили и терзали цари и короли, и как стойко святые все муки терпели, и в котлах с кипящим маслом, и на дыбе, и на костре, и на кресте, и под плетями, и как из окровавленного рта доносилась только хвала Господу: «Христе Боже, спаси и помилуй мя!» А однажды нагрянули стражи порядка, и испуганно глядели дети на фуражки и погоны, на начищенные сапоги и черные куртки, и кричали на всю заимку стражи: «Разогнать! Снести! Разрушить! Сжечь! Не положено! Штраф! Всех в тюрьму!» — и вышла к стражам Вера, раскинув широко руки обочь спрятанного под рясой худого тела, и громко, на всю тайгу, обратилась к пришельцам: «Только вместе с нашей обителью — и нас всех убивайте и сжигайте!» — и, когда люди услышали это и увидели строгое твердое лицо Веры под туго завязанным апостольником, убоялись они выражения ее лица, слишком страшным оно было — таким страшным, что и не человеческим вовсе, а небесным ликом: так вселенская гроза молнии рассыпает из черных могучих туч.

Стражи порядка укатили прочь на машинах и мотоциклах. Один из батюшек увязался за ними в Красноярск на попутке. Вернулся, гладил бороду: «Живите спокойно, братья и сестры! Не тронут нас никого!» Кого уж он там, в городе, улестил, каким властям в ноги поклонился — никто не узнал, батюшка — рот на замок, а Вера не спрашивала, только подошла под благословение и морщинистую руку батюшке тихо поцеловала.

Во всякую избу на заимке заходила Вера, и везде старались угостить ее повкуснее, да мало и скудно ела она, все меньше ей требовалось земной еды. Она молилась, глядела в небо. Наплывали из иных земель облака. Громоздили, перевивали бирюзовые, жемчужные небесные воздушы. Умирали насельники, Вера их хоронила, и все вместе с ней пели над гробом панихидные молитвы, и батюшка возжигал ароматы в кадиле, сделанном из рыбацкого котелка, а окрестные кедровые и елки пахли сильнее и гуще святого дыма, и прибывало могил на маленьком лесном кладбище близ заимки, и думала Вера: «Вот и еще один, еще

одна, Господи, прими с миром душу живую; тело мертво, но ведь душа-то жива, и взыскует Страшного Суда, и верит, и ждет».

Предсказала Вера однажды пожар, и правда, загорелся на заимке овин; там насельники сушили не только снопы, но и сено, скоту в зимний запас. Воды много, да Енисей далеко, не потушишь, на реку не набегашься! Вера закричала: «Песок несите! И мокрые одеяла!» Мочили одеяла в воде и набрасывали на пламя; засыпали огонь песком. Спасли заимку! Не перекинулось на избы пламя. Все люди на колени встали и молились на Веру. «Ты чудо совершила!» Вера прижимала палец ко рту. «Никогда не говорите так. Бог спас».

Насельники, все до одного, стремились услужить Вере: кто — выстирать ей рясу и апостольник, кто — нажарить картошки на огромной, как шаманский бубен, сковороде, кто — нанизать на леску сухие ягоды рябины и подарить Вере четки, тридцать три бусины, по числу земных лет Господа, кто — сварить ей варенье из жимолости, или из лимонника, или из брусники, кто — помыть полы в ее избе: и мыли, дожелта отскабливали ножом и терли мыльной тряпкой, а потом в кувшины и трехлитровые банки ставили купальницы и сияющие жарки, весенник и багульник, рододендрон и васильки. И благоухала Верина изба. И спрашивала она себя: Господи, это ли не счастье! И отвечала сама себе: Господи! спасибо, что Ты подарил мне его. На все оставшиеся мне годы.

«Только бы не война, — шептала, — только бы не война».

— Птиченька, моя дивная жар-птиченька,
Куда рванулась из рук моих ласковых,
сестриченька?
Жарком таежным в моих руках все билась,
А нынче в орлана заморского влюбилась?
Перья твои солнечные пуще гиацинта горят,
Уж не я ли чистила-лелеяла твой яркий наряд!

Ослепила ты собою все мои небеса,
А в руках моих, любовь, побыла всего полчаса...

— Ах, моя душа, пусти, едва дыша!
Любовь-то в клетке не стоит ни гроша.
А ты, душа, ничего не знаешь про меня:
Я-то птица Феникс, всегда рождаюсь из огня!
А полечу я в небеса ко Спасителю Богу нашему,
Долечу в небесах до самого Суда Страшного,
Прилечу ко Богу Господу, сяду Ему на плечо,
Клювом золотым Его поцелую горячо...

— Птиченька моя, да ты ж моя живая душа и есть!
Всякое жар-перо в тебе могу перечесть.
Тебя, жаркая моя, как по нотам пою:
А ты всю жизнь рядышком пела судьбу мою!
Куда же ты, светлая, от меня летишь?
Зачем ты, приветная, меня не простишь?

— Лечу я, хозяйка моя бедная,
 во Град Небесный Иерусалим,
А во Граде том Небесном курится Божий дым,
А во Граде том Небесном Божьи птицы поют,
Во свой небесный хор меня манят, зовут!
А во Граде том Небесном Спаситель на троне сидит,
На троне сидит, на землю во слезах глядит.
Головенку задери, Спасителю помолись:
«Спаси мою душу! Спаси мою жизнь!»

— Да разве ж я, птиченька, усердно не молюсь?
Да разве ж я, птиченька, слезами не льюсь?
Да я в тот Небесный Иерусалим пешком бы ушла,
Лишь бы с Господом посидеть
 хоть на краешке стола!..

— А Он тебе скажет, хозяйка:
неси молча свой крест!
А Он Царем Мира глянет с небес окрест,
А ты припади к Его стопам,
поцелуй Ему ноги
да обними,
И Он поцелует тебя одну между всеми людьми.
Все крест несут, умирают на войне,
погибают от птичьего клекота,
Придет Страшный Суд, а ты неси свой крест
да без ропота,
А Град Небесный пусть сияет, заоблачный,
над забытой тобой,
А ты неси свой крест, не плачь, улыбайся, умирай,
песню пой.

Шли годы, и вдруг Вера захотела выбраться из тайги хотя бы на один день и снова увидеть город, где она выросла и прожила полжизни. Насельникам сказала: «В Красноярск побреду!» Люди перекрестили ее: «Счастливо, матушка!»

Никто и не спросил, вернется, нет ли.

Стояла зима, и гуляли по оврагам и площадям белые и черные ветра. Дул полуночник, лютый заморозник, льдом покрывались стрехи и ветви, звенели, стучали друг об дружку. Каменными бутылками возвышались на снежной скатерти суровые дома, они молчали, и душа Веры молчала. Она не узнавала город, а город не узнавал ее. Встречи не получалось. Люди не глядели в ее сторону. Только дети дивились на странную черную монахиню, твердо, по-солдатски идущую по обросшим наледью тротуарам. Вера не глядела на красный свет светофора, и детей не видела. Она не видела времени. Время растворилось, как сахар в чае старушки Расстегай.

Вера заходила в магазины и выходила из них наружу. Денег у нее не было. Заходила в парикмахерские, там юные нежные

девочки подметали щетками чужие остриженные кудри. «Вас постричь?» — вежливо спросила ее старая седая парикмахерша, сама коротко стриженная, как мужик-клоун. Вера поклонилась и попятилась. Чуть не разбила локтем стеклянную дверь.

Зашла в забавный магазин, там чирикали щеглы в клетках и быстро, весело бормотали всякую чушь зеленые и синие попугаи. Сильно пахло кошачьим, собачьим и птичьим кормом. «Купите попугайчика! — протянула Вере клетку продавщица. — Очень понятливый! Знаете, он даже поет песню такую... ну эту, старинную... а, вот! лучше нету того цвету, когда яблоня цветет! Боря, Боречка, спой! Не стесняйся!» Зеленый попугай громко и картаво запел: «Лучше нету той минуты, когда миленький придет! Как увижу, как услышу...» Оборвал пень. «К-к-как увижу... ка-а-а-ак... ус-с-с-с... лышу... как...» От стыда спрятал зеленую хохлатую башку под крыло. Продавщица зарделась. «Ну Боречка, ну что ты стушевался! Тетя тебя не обидит! Тетя тебя сейчас купит! Правда?» Вера развела руками. «Простите. У меня нет денег. А вот дети у меня есть».

Да, у нее была целая заимка детей. Как бы они подивились на такого попугая!

И тут продавщица сняла клетку с полки и протянула Вере. Косилась на ее черную измызанную рясу. «Вы, небось, в приют какой ходите?.. с молитвами?.. в детский дом?.. Да, там рады будут... возьмите!» Вера обняла обеими руками клетку с попугаем.

А на улице валил снег, шел призрачно и густо, а потом еле видно, невесомо, серебряные тончайшие нити прошивали серый воздух, дымы и гарь, протыкали близкую ночь гудки и звонки трамваев, разрезали визги машин, некуда было идти Вере, негде было ей ночевать: о квартире своей, откуда она тысячу лет назад ушла в Иерусалим, она и думать не хотела, да и не было просто этого бедного жилья, зачем о нем и вспоминать, только сердце надрывать. Давно дверь взломали, все ее милое, родное на снег выкинули, иные люди заселились в веселый легкий воздух, которым она дышала. Жизнь! Всего лишь жизнь. А если бы я умерла, думала Вера, ведь некому тогда со-

крушаться о потерянном жилище! Пусть люди живут там, где она жила! Пусть о ней не думают. Они ведь ее не знают. И никогда не узнают.

Заморозник усиливался, ночь уже обрушилась на город, созвездия вышили небо гладью и крестом, и Вера вспомнила, как она вышивала свою старую, еще материнскую думку. И думку выкинули, а может, сожгли. А может, сейчас на ней кто-то спит? Под щеку подложил? Ох, хорошо бы! Хотя что-то останется после нее!

Черный крест. Красный крест. Гляди, не перепутай.

Она прижимала клетку с попугаем к груди, к тонкому зипунчику, подшитому овечьим мехом. Снег залетал в клетку, вывез-дил ее золоченые прутья. «Замерзнет, — думала Вера тревожно, — замерзнет как пить дать». Вот и повеселила детей. Надо в тепло. В укрытие. Снег и ветер — это война. Жесткий снег летит, стреляет, бьет в лицо из-за угла. Вера огляделась; все дневные заведения были закрыты, а ночных она бы никогда не нашла. Ангел денный, ангел ночный! Помогите мне! Где вы!

Она из раструба улицы вышла на площадь. Огни обняли ее и закружили. Фонари качались и плясали, окна вспыхивали, плыли во тьме яркими лодками, и люди, далеко и глубоко, плыли в них, переплывали время. Снег повалил сильнее, заволакивал призрачным белым кружевом граненые стаканы фонарей, и Вера чуть не заплакала — снег привиделся ей кружевами покойной Анны Власьевны, и услышала Вера легкий деревянный стук коклюшек, костяшек: это отстукивало мгновенья время, а кружева лились с черных нефтяных небес, обкручивали, обвиняли раненых любовью и болью, бинтовали им раны сквозные, рваные, целовали мятным детским, праздничным холодом.

И вдруг — раз, два, разошелся в обе стороны плотный морозный воздух. Мягкий медовый свет, полусфера огня, и скос старой забытой мостовой, и в круге света стоит каменный стол, а за ним люди сидят. Сослепу да издали не разглядела Вера, что за стол и что за люди. Даже и не подумала, почему не в доме, а на улице за столом расселись. Подходила все ближе, ускорила

шаг, крепче клетку с дареной птицей к сердцу прижимала. Вот уже стала различать за каменным грузным столом лица. Метель поднималась. Взвихряла волосы женщин, кисти скатерти. Длинный стол, и в центре стола сидит человек. Руки его спокойно лежат на столе, ладонями вверх. Он сделал вдох, другой, так дышат дети после плача. Вера сама так прерывисто дышала, когда мать в детстве била ее за провинность, и она часами рыдала в пыльном углу. Губы распухали, рот наполнялся горечью. Это другая была Вера; не она. А по обе стороны от человека — люди. Гости! Это он, видать, хозяин, всех гостей созвал. Что-то он гостям такое сейчас сказал! Будто выстрелил в них. Слово — пуля! Кому в грудь попало? А они, люди-то, отвечают хозяину — не ртами, не глоткой: жестами. Руками! Пальцами! Сложенными трубочкой губами... Свистнуть хотят, дышат, как говорящие птицы... Кто руки лодкой сложил... Кто — ладонь вперед вытянул, желая спросить... а может, доказать... О чем они? Вера не слышит. Надо подойти ближе. Ближе.

Она сделала шаг, другой вперед — да так и застыла, с клеткой в руках, с птицей, кою посекал призрачный железный снег.

Справа от хозяина сидели трое. Мужик бритый, а щетина на скулах седая, и лоснится потом сморщенный лоб, череп — овалом каменного яйца, а руки почернели от работы, будто бы их коптили на коптильне, как хариусов или свежевывловленную кумжу. Женщина, лоб туго обвязан красным платком. И кофта красная расстегнута, и видны в ворота шея и грудь, и черный потертый гайтан, и морщины, они текут по груди, как дождь или слезы с подбородка. И третья, баба, тут же, вплотную к ним сидела; три красных язвы чуть ниже рта, будто три красных клеща по скуле сползают. Три родимых пятна! Их Вера сразу узнала.

А после узнала и мужика, и бабу в красном платке рядом с ним.

Узнала — и содрогнулась. Ее отец и мать.

И тетка ее, та, что в Лесосибирске жила.

Трое... тролица... живая... почему у отца на лбу — колючего венца нет... той метки Туруханска...

Вера застыла. Снег бил в нее, как в бубен. Отец, Емельян Сургут, смотрел и не видел ее. Мать, Дарья Сургут, туже затянула красный платок. Вера видела все. Она видела, как мать ближе придвигает к себе стакан, как отец тяжело, натужно тянет руку к обклеенной аляповатыми этикетками бутылки, и темно-алая жидкость вырывается из горла и страшно булькает, льется в пустой ледяной стакан. Доверху стакан налил. Щедро. Тетка из Лесосибирска поглядела и облизнулась.

Слева от хозяина сидели тоже трое. Вера даже не щурилась. Глаза ее обрели речную, прозрачную зрячесть. Узнала! Родные! Какое половодье, безумье какое... Живые! Анна Власьевна, душечка, кружевница моя светлая! Спасибо, такой нежный снег мне навеки сплела! Старушка Расстегай деловито отламывала от куска, лежащего на расписной тарелке, маленькие кусочки и весело отправляла их в рот. А что на тарелке? Пирог! С чем?.. с чем... не различить... с красной ягодой такой... кровавой...

А третья, кто же третья?.. А... узнаю... та медсестричка в столичной больничке... сестричка-птичка... уколы мне все делала, когда меня раненую с улицы в палату привезли... укол сделает — и по руке погладит, и все приговаривает: не больно?.. не больно?.. Нет, говорю, не больно... Она меня — кашей из ложки кормила...

А рядом с родителями Веры сидели еще трое. И тут парадом командовал мужик. Бритый зэк, на волю отпущенный. И стол трясся, как будто не площадь под ногами, а пол вагона, и поезд идет, вперед колесами стучит. Это он, зэк лысый, ловко вино разливал. И люди, кто что мог, подставляли. Кто чашку. Кто плошку. Кто мензурку. А кто просто руки свои. Складывал живой кастрюлькой и протягивал. И пальцы плотно сжимал. Ни капли не выльется.

Второй-то — со змеею восседал! С громадным питоном, весь в пятнах змей, как яростная яшма, а уж скользкий такой, и блестит, будто выкупанный. Жирный, может? Вера помнила гладкость чешуйчатой страшной кожи. Она проводила по ней трусливой ладонью и тихо смеялась. Циркач, смелый Валя, змеиный

царевич, и ты здесь, за столом! А, у тебя уже налито вино! Куда? В миску, из нее же питон твой ест! Все живое ест из одной миски. Не забудь.

А третий, третий... ох, волна поднимается... и сейчас опять, опять смое тебя с палубы — в зеленую пропасть... Алешенька!.. вижу тебя, да ты хоть скажи мне, как там, на небесах?.. ангелы поют тебе, монаху-расстриге, свои лучшие, счастливейшие песни?.. Ты коньяка хочешь, одесского?.. нет, сегодня только вино... куда тебе налить?.. в эту битую рюмку больную?..

А подале святых старух и святой молодухи сидела еще одна троица, да какая! Всех, всех узнаю, дорогие! Сестра Васса, щебетунья смешливая, ничуть ты не изменилась, все такие же хулиганские солнечные веснушки у тебя на носу! Борода ты черная, ветрами крученная, Липа Гузман, серьга морская в ухе, подпусти сибирскую матерщинку, да разве ж ты откажешься выпить на дармовщинку! Праздник есть праздник. Матушка Мисаила, древняя ты старуха, еще шажок, и схимница, прости меня! За то, что я твоих молодых смертных мук в том турецком веселом доме не знала, не приняла. Да мы с тобой обе грешницы. И мы с тобой обе — грех наш — давно отмолили! На всех исповедях! Липа, разливай! Вон они, монастырские чашки, жадно под сладкую кровь подставлены!

Двенадцать... двенадцать...

Веру как стукнули тяжелым кулаком в грудь. Она покачнулась. Клетку из рук не выпустила. Двенадцать, как она сразу не поняла! И хозяин — это...

Она встала в снег, на засыпанную твердой крупкой снега, как енисейскими перлами времен Ермака, в судороге веков выгнутую мостовую перед Господом на колени, и попугай из клетки внезапно резко крикнул, как новорожденный младенец, на всю площадь:

— А-а-а-а!

А потом — человечьи слова сумасшедше, хрипло прошептал:

— Вся душа моя пылает! Вся душа моя горит!

И все, кто мог за каменным тяжким столом наливать вино, все всем наливали; люди подставляли стаканы и бокалы, пригоршни и чашки, мензурь и собачьи миски, и даже шапки, и даже треухи и кепки, только Вере одной нечего было под живое вино подставить. Лилась кровь Господня, изливаемая во оставление грехов, и глаза Веры жадно шарили по столу, кровь-то тут, наливают, от души, а где же хлеб, где же Тело Христово, без него же никакого Причастия нет и быть не может, хлеб!.. хлеб... Дайте хлеб! Разломите хлеб! Бросьте его на каменный стол. Это самая великая милостыня! Война начнется — никто вам его, хлеб, уже не бросит! Ни под ноги, ни в руки... не спрячете за пазуху...

И видела Вера: не только двенадцать сидели за каменным столом, и призрачный, косо падающий снег не только над головами сидящих складывался в многогранники, виноградные грозди, корабли с парусом в виде месяца, медленно плывущих серебряных рыб, трепещущих крыльями смелых голубей, звездные якоря, сверкающие венцы, плывущие среди планет монограммы, вольно летящих орлов, катящиеся во мраке черепаша необитаемых планет, треугольники, стрелы, восьмиконечные звезды и иные восточные тайные узоры: за ними сидели и вставали рядами другие люди, они все прибывали, и рыбаки с Енисея, и торговцы с жарких улиц Иерусалима, и старуха Лиза из деревни Верхний Услон близ широкой индиговой Волги, и загорелые, со злым прищуром, солдаты посреди сирийских руин, в пыльном пятнистом камуфляже, и оркестранты, что восторженно били смычками по пультам, когда в зале публика хлопала в ладоши, и холодно, сурово молчащий за ресторанным столом, до фарфоровой гладкости выбритый N с беспомощными глазами нашкодившего ребенка, и кудрявая сестра Веры Марина, ее убил муж, когда она у мужа хотела украденную дочку назад похитить, и поросячье лицо Марины в застолие глядело живое, не размозженное пулями, и смеялось густо, ярко покрашенным ртом. И много всякого народу еще стояло за плечами и спинами тех, кто сидел за столом, много всех

толпилось и качалось штормовыми высокими волнами, но все обступали стол тихо, никто не шумел, не гудел, не бушевал, не буянил; не выкрикивал слов шуток или проклятья.

Вера обвела всех глазами. Это все был ее народ. Посланный ей Богом на земле.

Тогда кто же такой маленький говорящий попугай, что пришипился, нахохлился и смиренно, печально сидит в золоченой клетке, посекаемый безжалостным ветром и снегом?

Может, его надо родным мертвецам и родным живым — просто — подарить?

В знак... в знак любви... и — памяти...

Птица, она же восстает... из любого огня... оживает...

После любой войны... любой разрухи... птица — на площади... на пепелище...

Феникс...

— Это Феникс! — крикнула Вера и сделала отчаянный шаг вперед.

Протянула золотую клетку сидящим и стоящим за каменным столом.

Поставила клетку на край стола.

Попугай чирикнул, как соловей.

Вера крикнула беспомощно:

— И мне!.. и мне...

Озиралась. Искала глазами пустую посудину, для вина безумного зимнего Причастия.

Посудины — не было. Ни рюмки. Ни наперстка.

Тогда из-под стола вышла, качаясь на слабых лапах, тощая рыжая собака. В снежном свете она светилась, как золотая. В зубах собака держала за дужку старое, ржавое детское ведерко. С таким ведерком Вера девчонкой играла в песочнице. Вера вынула из собачьих зубов ржавую дужку. Протянула детское ведерко отцу. Он сидел за столом всех ближе к ней.

И отец стрельнул глазами в Веру из-под голого лба, где кожа собиралась старой гармошкой; взял в узловатые грязные, от грязи черные пальцы бутылку, в ней вино не кончалось, и плеснул

молча в детское Верино ведро, не глядя, резко, жестоко, — и пролилась кровь Господня на камень столешницы, и все за столом, близкие и далекие, взяли в руки свою посуду, кто первую, кто последнюю в жизни, а хлеб, где же хлеб, как же Причаствие — и без хлеба, билось у Веры в висках, хлеб, хлеб, где...

— У тебя! — визгливо крикнул ей попугай.

И Вера полезла за пазуху, за воротник козьего зипуна, и потрясенно вытащила под снег и ветер жесткую горбушку — ту самую, что люди бросили ей под ноги в концертном зале, желая над ней насмеяться. Разломилась надвое. Одну половину подала отцу, другую — матери.

И разломилась мать и отец Веры ее хлеб, и передавали другим людям, а те ломали куски в свой черед, и другим отдавали, а те — третьим, четвертым, а те — сотням и тысячам, во тьме сущим.

И Господь поднял руку и благословил всех за Вечерей Своей. Весь Свой народ — благословил.

— Приимите, ядите...

Когда Вера наклонилась и испила вина из детского ведерка, оно ударило ей в голову и опалило душу. Попугай глядел на Веру из прозрачной клетки круглым золотым глазом.

Белые кружева мели, метались во тьме живой и заматали всех: и грешников, и святых, — укутывали то ли в родильные простыни, то ли в смертный саван.

На святой заимке не читали газет, не смотрели телевизор, не слушали радио.

Детей учили грамоте по старым книгам. Складывали и вычитали на старых бухгалтерских счетах. Электричества не было: в сумерках и в ночи жгли лучины и свечи. Иногда жгли сушеную миногу, и на всю избу соленой рыбой пахло, ее горящим жиром и ее жжеными плавниками.

Люди жили тут как в Раю: деревья, травы и цветы росли, тайга шумела, музыкой гудел кедр, пихты и старые лиственницы, попевали овощи и ягоды, колосилась пшеница на крохотном поле — его вспахивали старинным плугом, — ржали в конюшне лошади, мычали в хлевах коровы, и слишком рядом была земля, и рядом — река, а еще ближе — небо, и иногда Вере казалось: вон он, Град Небесный, ее любимая обитель, — над ней, в зеркальных, сияющих сколами и друзьями, медленно падающих прямо в сердце облаках.

Газет не водилось, а слухи доходили. Однажды осенью слух прилетел про знаменитую столичную певицу. Утонула, а поговаривают, утопили, а еще вернее, ее любовника в убийстве заподозрили, да взяли-арестовали, руки скрутили, в тюрьму посадили. Да не в тюрьму, а в изолятор! Что еще за изолятор? Под следствием он. Наследил! Да уж точно, виноват. Из ревности утопил-то? Да кто его знает, однако! Однако, из ревности! Из-за чего же еще! Мужик, баба, любовь, злоба... звери, звери люди все...

Вера выпрямилась, слушая тот слух, и стала похожа на каменную статую той своей, любимой, мертвой рыжей собаки. Как звать певицу? Вы не помните?

Как же не помним! очень даже помним! Ну, эта, очень-пре-очень знаменитая! Гроыхало везде имя ее! Со всех сцен! Все радио ею захлебывались! Ну эта, эта, да ты, матушка, наверняка знаешь... На «зэ» вроде, зэ-зэ-зэ... Зиновия звать ее!

Вера плотно сжала губы. Окаменела лицом. Отвернулась. Пошла. Остановилась.

Внутри нее раскрылось ледяным бутонем молчание и тихо, мучительно-медленно раскрывалось, как бедный, на пепле взошедший цветок.

Ни слова Вера не проронила весь день. К ней обращались — молчала. Ей в лицо кричали — молчала.

Ночь она не спала.

Утром к ней опять приступили; она молчала; и ее оставили в покое.

Люди сочли, что она дала обет молчания.

И зауважали ее, благоговейно склонялись перед ней; шептали вслед ей: «Ты уж выдержи, матушка, обет, тяжелый он, да мы за тебя помолимся».

Вера молчала день, месяц, полгода, год.

К ее молчанию привыкли.

Я стояла пред каменным этим столом,
не соврать, стояла.

И скатерка свисала до полу снежным саваном,
одеялом

Истонченным, ребячьим, века назад отцовой
папиросой прожженным, —

Камчатной, фарфоровой жизнью,
чугуном и жидкой сталью сожженной.

Я стояла пред этим святым столом, себя
спрашивала: верить? не верить? —

Все мы лишь Божьи слуги, лишь на побегушках
веселая челядь,

Так-то лучше: Царей казнят, а мы встанем в ряд,
и ничего нам не будет, —

Мы не боги, мы так, при дороге, мы беглые люди.

Я стояла... а Хозяин на меня вдруг как покосится!

И я задрожала, бормочу: Господи,
мне все это снится —

Вон, живы отец мой и мать, вон друзья мои,
а их убили,

Вон лица любимых, погребенных давно
в лютой серебряной пыли!..

А они тут все, за столом Твоим, великий мой Боже.
Ты к Причастию нас созвал, и пришли напролом, —
а слишком поздно, может?..
Наготовлено нами на кухне железной рыбы,
стального мяса...
И все врем мы сами себе, что не знаем часа!

Так зачем Ты рабочей рукой, как клещами,
сцепляешь со сладкой кровью бутылку?!
Зачем кричишь мне: «На выход! С вещами!» —
и в руках Своих меня трешь обмылком?
Зачем отщипнул кроху от площади,
от зимнего каравая,
И тычешь мне в руки, и плачешь: «Душа твоя,
она живая, живая!»

У Тебя на небесах все живы, я давно это знаю.
Хоть перережь все жилы — а смерть,
она мне неродная.
За ночь одну до Распятия Ты сказал нам:
вкусите Меня, выпейте, растащите
На крошки, на пуговицы, на глотки, на хрипы,
на теста комки,
на знамена с кистями, на рьяные песни,
на красные пьяные нити...

Из жизни Моей, Ты сказал,
вы себе тысячу жизней сошьете.
Над жизнью Моей, Ты сказал,
вы, истошно крича,
умрете в любви и полете!
Так что ты стоишь, девчонка?.. Давай!.. налетай!..
боли полная чашка!
И вымазана вольным вином
невинной вьюги рубашка!

И хлеб теплый еще... откуси... вдохни...
...запах рубахи отцовой.
Запах варенья матери в медном тазу.
Запах соломы, половы.
Запах меда и рыбы печеной. Тайная Вечеря длится.
А на краю стола в клетке нахохлился Феникс,
зимняя птица.

И Ты, Господь, смеясь, открыл
золоченую дверцу клетки.
И Ты сказал: лети, птица Феникс,
шалава, шутиха, кокетка!
Лети, шматок золотого огня, попугай,
правду лишь говорящий,
В мир Божий, ни на что не похожий,
слепащий, грешный, святой, настоящий.

И я причастилась. Вином запила благодать
зимнего хлеба.
И мать моя мертвая, и мой отец причастились
зимнего неба.
И люди все за столом каменным, земляным
причастились
Тела Господня и Божией Крови,
Вкушая хлеб, выпивая вино,
забывая друг друга давно,
засыпая на полуслове.

Ровно год спустя Вера сидела на берегу Енисея, у самой воды. Она молчала, внутри себя читала Иисусову молитву. Сидела на большом грузном, гладком валуне, опускала руки вниз, и пальцы ее слепо ловили камни на песке, то острые, жгучие, ножевые, то нежные, глаже женской ухоженной кожи. Енисей тек мерно и мощно, серые воды клубились и разымались, тем-

ные и серебряные рыбы метались тенями, являлись потусторонним воинством подводным. Топырили плавники копьями, штыками винтовок. Взблескивали безумными секирами хвостов. Исчезали. Хоровод лиственниц, пьяно-кривых от северного ветра, махал пожелтелыми скорбными ветвями. Река дышала близкой зимой, неизбежным прощаньем. С чем? С кем? С навсегда возлюбленным, единственным? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий... За спиной Веры послышались шаги. Камни хрустели под чужими ногами. «Из насельников кто-то, вечереет, холодает, меня, матушку, сейчас домой уведут. Может, дитенка за мной послали».

Вера обернулась и прижала ладонь ко рту.

Зиновия надменно глядела на нее.

— Вот ты где. Спряталась. От людей. На реку глядишь. Гляди, гляди! Река, она...

— Здравствуй, — трудно сказала Вера и легко встала с валуна.

Тяжко было говорить после года сумрачного молчания, промелькнувшего, как один миг.

— Здравствуй! — крикнула Зиновия.

Эхо разнесло ее крик вдоль по реке.

— Что ж ты не удивляешься? — ядовито спросила Зиновия.

— А чему я должна удивляться?

— Что я жива!

— Значит, это все был обман?

Зиновия глядела на Веру глазами круглыми, совиными, торжествующими. Ее зрачки метали черные искры, а все лицо горело мрачным костром.

— Да! Обман!

Ветер собакою лизал лицо Веры.

— Зачем?

— Это я все устроила! Все так подстроила! Думаешь, легко было все состряпать?! Но я состряпала. Мне — помогли! Он, гад, за решеткой. Теперь с тобой разберусь!

Зиновия шагнула к Вере, а Вера стояла столбом. Каменным столбом. Соляным. Деревянным.

«Я осенняя лиственница, а это мой последний ветер».

— Это война? — тихо спросила Вера.

— Да! — крикнула Зиновия. — Война!

— Не ведаешь, — трудно, хрипло выдавила Вера, — что тво-
ришь...

— Очень даже ведаю! Я тебя — ненавижу! Все тебя любят, все тебя любили всегда, а я тебя ненавижу!

— За что? — прошептала Вера, и северный ветер ударил ей в скуластое лицо.

— За то, что любят — тебя! Всегда! Любили! Тебя! И когда ты пела, и когда молилась! За то, что песни твои — лучше моих!

— Лучше... хуже... зачем...

— Да! Лучше! Нет! Вру! Не лучше! Мои — лучше! Я — яркая, сильная! Меня — издалека видно и слышно! А ты, ты... серая мышь! Мышенька ты! Нищенка! Дрянь ты умоленная! Сволочь ты! Возомнила себя ангелицей! Святой! Никакая ты не святая! Серость ты и блеклость! Зола ты от костра отгоревшего! Мертвячка! Душонка твоя подлая, хищная! Меня охомутала, ко мне примостилась, подлизалась и, как я, певичкой стала! Людскую любовь, людской восторг и восхищение захотела в лукошко собирать! И к Богу ты метнулась — потому что сама нищая мышь! Не драгоценный камень ты! А серый булыжник! И песни твои — тьфу! И молитвы твои — ха, ха! Ненавижу!

Вера подставляла холодному ветру горячее лицо. Приоткрыла рот.

Ей трудно было говорить. И все-таки она говорила это.

— Зина... Ты... Это — зависть! Ненависть — это зависть!

— Да что ты говоришь! — Зиновия подбоченилась. Волны злобы морщили ее красивое, холеное лицо. Оно у нее не составилось, за эти годы только двойной подбородок, как у дородной царицы, вырос, да чуть обвисли румяные круглые щеки. — Да что ты мелешь, мышь! Это ты мне завидуешь! Люто! Еще когда мы пели вместе, и выходили на сцену, все так и шептались во-

круг: вот, вот они выходят, и поют, как сестры, похожи, и поглядите, как эта, монашка, хромоножка, с ненавистью смотрит на великую певицу, ну да, серая монашка — великой Зиновии — яростно завидует! Великая Зиновия — бессмертна! А эта серая мышь в рясе, что она-то делает рядом с ней?! Поет?! Это она только думает, что поет! А на самом деле хрипит и квакает! Все вокруг говорили, вся публика, весь народ, что ты мне завидуешь черной завистью! Мне! Яркой и гениальной! Мне! Я — бессмертна! Да! Бессмертна!

Ветер тихо стонал между ветвей осенних лиственниц и черных кедров.

— А ты — ты сдохнешь! Помрешь под забором!

Енисей тихо гудел, шелестел за их спинами.

Раскидывал громадные, серые водяные крылья.

И облака за их лопатками воздымались крыльями; и ветер хотел поднять, оторвать их, людей, от земли.

— Святая мышь! — выкрикнула Зиновия.

Вера молчала.

— Мышь никчемная! Никому не нужная! Отребье! Мусор человечий! Тебя забудут! А меня будут помнить всегда!

Вера молчала.

— Черт меня к тебе понес тогда в Иерусалим! Лучше бы я в тот клятый Иерусалим и не ездила! Мне тебя — гадалка нагадала! Перед отъездом я к гадалке пошла! Сдуру! Она мне карты разложила! И перед зеркалом свечу зажгла! А в зеркале — ты! Мышь! Вот в этом своем черном платке дурачком! И гадалка в зеркало тычет пальцем, и шипит: вот к ней, к ней должна далеко ты поехать, за три моря, в Святую Землю! Поехала, черт тебя возьми. Поскакала!

Вера молчала.

— А я-то ведь только сейчас поняла! Да! Только сейчас! Ты — мой двойник!

— Кто... — разжала губы Вера.

— Ну разве непонятно! Мы же похожи, черт, как сестры! Да нет! Даже хуже! Ты когда-нибудь в зеркало со мной вместе гля-

делась?! Еще скажи никогда! Да сто раз! Тысячу! Ведь ты — это я!

Зиновия схватила за руку Веру. Другую руку сунула в карман плаща. Выдернула круглое карманное зеркальце.

— Гляди!

Зиновия приблизила лицо к лицу Веры. Ветер усиливался. Сорвал шляпку с затылка Зиновии, трепал концы Вериного апостольника.

Зиновия вытянула руку с зеркальцем. Прижалась холодной гладкой щекой к щеке Веры.

— Гляди, мышь!

Вера заглянула в зеркало.

Она знала, что увидит в нем.

Увидела два одинаковых лица.

Себя — и себя.

Смотрела в оба своих лица, и вереницей, чудовищным веером раскрывались, распахивались картины их общей жизни, Вериной-Зиновииной, глядел со дна времен утопленник-сын, звучала музыка, поднималась и рушилась волна оркестра, как великанское рыданье, и гладили Верины руки Зиновиино белье на широкой, как льдина, гладильной доске, и несли чужие восхищенные руки на сцену громадные, с целый дом, букеты цветов, розы, гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, нарциссы, и чужие послушные руки складывали бешеные, дурманные цветы в пахнущую горьким бензином машину, и набрасывала Зиновия удавку на Верину шею, хрипела глотка, летел в лоб и губы первый нежный снег, горели по всей Москве фонари, сиял коньяк в графине, и стелили усталые руки постель, и клали руки дрова и хворост в богатый камин, отделанный зеленым, как Енисей, и алым, как флаг мертвой страны, надгробным мрамором, мужская выхоленная рука брала женскую рабочую руку на уставленном заморской снедью ресторанном столе, и сжимала, как рюмку пустую, приближались к микрофону поющие губы, летела песня, как живая молитва, а молитва становилась любовною песней, так и было в начале времен; Вера ждала, когда веер схлопнется,

и он захлопнулся, свернули его в тонкую полоску, в древесную сухую ветку — одним движеньем, резким, бесповоротным.

— Ты меня убьешь? — просто спросила Вера.

Стояла. Не убегала. Не спасалась.

— Я не тебя убью. Ты ж понимаешь. Я — убью — себя. Все, как я и хотела. Когда утонул мой сын. Я хотела — себя. Теперь у меня получится!

— Это твой Страшный Суд! — крикнула Вера. Ей или себе, это уже было все равно. — У каждого свой Страшный Суд! И у тебя он будет! Сейчас!

Зиновия шагнула к Вере.

Ее руки были пусты.

Ничего не было в руках Зиновии: ни удавки, ни ножа, ни пистолета, ни иного оружия.

Смерть она не держала в руках.

Она держала в руках пустоту.

А за ее плечами гудела и пела ледяная вода.

«Вода, — поняла Вера, — Енисей».

Зиновия шагнула еще, вплотную к Вере, схватила ее обеими руками, обняла.

И потащила к воде.

Вера шла, ноги сами шли.

«Куда иду? Надо бороться».

Она шла покорно, не говоря ни слова.

Им было слышно дыхание друг друга.

Они вошли в воду.

Холод обжег их ноги сквозь все чулки и юбки.

— Что ж ты не вырываешься? — шепнула Зиновия. — Тебе не хочется жить?

Они уже зашли в воду по колено.

Вера молчала.

— Это ты или я? Кто из нас сейчас утонет?

Вера молчала.

Над вечерней сумрачной, волчьей рекой пискляво, тоскливо кричали чайки.

Зиновия и Вера уже зашли в воду по грудь.

И тут дно вырвалось из-под их ног, и полетело вбок, и они полетели вместе с водой и землей, взявшись, как сестры, за руки, и Вера запомнила напоследок: рука другой женщины закидывается ей за шею, больно гнет, потом ее грубо толкают в спину, она валится лицом в воду, бьет ладонями по воде, пытается выплыть, ловит заполярный, хрустальный ветер жадным ртом, ловит еще живыми руками встающие золотой закатной стеной, могучие облака, а ей тяжелую руку на темя кладут и топят, чтобы скорей захлебнулась, вталкивают, младенца, опять в мрачные и кровавые родовые пути, вдвигают ее обратно в холод, в мрачную последнюю осень, в близкую зиму, во тьму, что велика и беспредельна, нет ей конца, да и начала ей тоже нет.

*ВИДЕНИЕ ГРАДА СВЯТАГО
НЕБЕСНАГО ИЕРУСАЛИМА
МАТЕРЬЮ ВЪРОЙ,
МОНАХИНЕЙ
ГОРНЕНСКАГО ЖЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛѢ*

.....и огонь жадно пожирал все, что мог пожрать, и гудел, и страшно кричали люди — те, кто еще мог жить и кричать.

Вера лежала рядом с горящим автобусом. Над ней сгорбилась Зиновия.

Ожоги вспухали на лице Зиновии, на руках. Она беспомощно оглядывалась. Люди орали и ползли вон от автобуса, все в саже, ожогах и ранах.

Зиновия била Веру по щекам.

— Вера! Верочка! Очнись!

Вера лежала на асфальте, испятнанном кровью, лицом вверх, молчала.

Зиновия выдернула из кармана дамское зеркальце, прислонила к губам Веры. Зеркальце запотело.

— Верочка! Ты жива! Господи! Слава Богу!

Люди кругом вопили:

— Война! Война! Смотрите! Смотрите! Это началось!

Зиновия подняла вымазанное кровью и землей лицо и посмотрела вверх и вдаль.

Над городом, который они обе покинули так недавно, вставал невиданный огонь. Пламенный гриб медленно раздувался.

— Не смотрите туда! Вы ослепнете!

Глухой гул стоял вокруг, земля превратилась в горящее небо и звучала, стонала.

Дома поблизости от дороги горели все. Зиновия ощутила дикую боль в левой руке. Покосилась: рука висела плетью, перебитая в локте.

Навстречу горящему автобусу по дороге шли дети. Они держались за животы и орали. Животы их светились, и сквозь кожу видны были кишки. Время от времени кто-то из детей падал на дорогу и затихал. Впереди шел мальчик, он был выше всех ростом. У него из глазницы вывалился глаз и висел на нитке, и мальчик пытался заправить его обратно под лоб.

Зиновия скрипнула зубами. Плонула. Рот полон сажи. Работает одна рука. Она подхватила одной рукой Веру под мышку и тяжело потащила, поволокла.

— Потерпи... мышенька моя, Верушенька... потерпи... мы должны...

Зиновия бормотала, будто пела колыбельную.

Обожженные люди отползали от автобуса.

День или вечер? Время исчезло. Оно потеряло смысл. Потеряло само себя. Нагие женщины валялись в придорожной канаве. Асфальт оплавился. Поодаль виднелась груда обугленных обломков. Зиновия подтащила ближе к обломкам Веру, рассмотрелась и поняла — это искореженные, обожженные тела. То, что миг назад было людьми. Зиновия отвернулась, ее вытошнило на горелую корку асфальта. Люди штабелями лежали на шоссе, машины валялись, как мертвые жуки, брюхом вверх, металл оплавился. Молчание сменялось страшными криками.

Крики — хрипами. Потом молчание обрушивалось опять, и в полной тишине тонкий, жалобный детский голос плакал. Он пел последнюю песню.

Огненный гриб увеличивался, вырастал над городом. Зиновия старалась туда не смотреть.

— Все равно мы все умрем... зачем же тогда жить... зачем тогда мы все... жили...

Заплакала. Заревела в голос, белугой.

— Зачем же тогда я тебя спасаю! Вера! Вера!

Горы призраками вставали со всех четырех сторон. А может, это были хлопья сажи. Ветер развеивал дым и пыль взрыва. Раздувал костры. Облака наплывали, превращались в скалы и утесы. Зиновия смертельно хотела пить. Воды не было нигде. Никакой. Ни капли.

— Пить... Пить... Господи...

Она подтащила Веру к разрушенной стене дома. Дом, жили люди. Где сейчас эти люди? Так же идут по дороге, как эти дети-призраки, и стонут: пить, пить?

С рук Зиновии свисала сожженная кожа. Сломанная левая рука болталась, как маятник. Зиновия смотрела в лицо Вере.

— Вера... Мы не уберегли... Это все-таки началось... теперь — покатится...

Зиновия сидела возле Веры на корточках. Потом встала, шатаясь. Мрачное небо горело. Облака горели. Громоздились пламенными торосами, сталкивались, плыли, расцеплялись. Снова склеивались, сливались. Зиновия стала ходить кругами вокруг лежащей на земле Веры, как лунатик. Она наклонялась и отрывала зубами куски кожи от своей правой руки. С обеих рук капала кровь. Зиновия вытерла руку о лохмотья юбки.

Зарево поднималось над Иерусалимом, но Зиновии это было уже все равно.

Она не глядела туда.

— Там — распятие... там распяли... туда глядеть нельзя... не гляди туда...

Она уговаривала себя, как ребенка.

Пахло машинным маслом. И бензином. Рядом горела машина. Бензин разливался по асфальту. Все сильнее хотелось пить.

— Боже... Господи... дай мне воды... воды...

Она бы встала на колени и хлебнула бензина, если б смогла.

В небе появились самолеты. Они обстреливали землю. Зиновия села на землю и пригнулась. Коснулась подбородком колен и закрыла затылок правой рукой. Боль в сломанной руке становилась все сильнее. Надо было кричать от такой боли, и Зиновия закричала.

Ей казалось, что она кричала. Из ее глотки вырвался жалкий хрип.

Времени не стало. Сумерки? День? Полночь?

— Господи... спаси нас... пошли нам дождя...

Пошел мелкий черный дождь. Зиновия задрала голову, раскрыла рот и ртом ловила капли. Потом она встала на колени и пила воду из вмятины в расколотом камне.

Огонь, дым и немного воды. И так тяжело дышать. И Вера лежит, не двигается. Может, она уже умерла.

— Вера... Вера...

...она открыла глаза и ощутила, что лежит на подстилке, сшитой из огня.

Спина горела. Это сгорели ее крылья.

Они сгорели и обожгли ей спину, и внутренности, и все, что было в ней живой нежностью и жизнью.

...ничего не помнила. И — не понимала.

...нет, немного припомнила: оглянувшись, а на заднем сиденье — она сама. Сидит и усмехается. Близнец. Глядит на нее. А она — на себя. Смотрят друг в друга, как в зеркало! Вот ужас, сказала она себе беззвучно, изыди, сатано!

...и только хотела перекреститься — как вдруг этот, Последний Огонь.

...а где сейчас-то она? Лежит? Или летит? И вдруг это пламя еще не последнее?

...ужас весь в том, что — да, последнее.

...ужас Последнего.

...начать, и тут же оборвать. Рвется нить. Или ее рвут. Врут. Сами себе врут.

...бабочка. Она бабочка. Раскинуты крылья. Мрачные очи, золотые ободы. Бабочка умерла. Ее выкинули в белый огонь снега, в форточку, в ночь. И она сгорела в белом пламени. Не дали долететь.

...женщина тащит, тащит ее в укрытие, забота и любовь, они ведь тоже последние, и как она раньше не понимала, а вот теперь поняла, даже без сознания понимала, а теперь, в сознании, сама заботой и любовью стала, ко всем, да, ко всем, и к самым жалким и последним, да только ее срезали, срубили под корень, под самый комель, она лиственница, крепкая, железная сибирская лиственница, и на нее нашелся топор. Топор нашелся — на всех.

...сердце билось, колотилось, крыльями птицы трепыхалось, вот-вот защебечет, подстреленный говорящий попугай, слово последнее прочитывает: не мучь! Отпусти!

...черный крест во все небо. Широкий, тяжелый чугун. Падает. На нее! На всех!

...так болит? Почему так все тело болит? Все тело — ожог. Всю жизнь обнял огонь. И вымазал. И выжег. Огонь, небесный елей, помазал, благословил. Все рождено в огне и в огонь вернется.

...на короткий миг, равный веку, к ней пришло сознание. Она осознала Бога и себя, и последнюю войну, и судьбу. Сознание того, что произошло, подарило ей радость причастия, ужас бесповоротности и резкую боль навечного ухода. Не себя — всех. Она лежала спиной на земле, на горячих камнях, и не видела, как над ней, стоя на коленях, наклонялась Зиновия; она лежала, вытянувшись, так навывтяжку стоят солдаты в строю, да она и была солдат, как любой монах, монахиня всего лишь солдат огром-

ной, бесчисленной армии Божией, она лежала-стояла навтытяжку перед небом, приبلудная хромоножка, и широко, до отказа распахнув налитые болью глаза, она увидела над собой, перед собой небо, а в небе — в налезających друг на друга, громадных черных, огненных облаках — огненный, светящийся Град.

Облака из страшных и мрачных вдруг сделались пухлыми, прозрачными, ясными, излучали веселое сиянье. Они росли и таяли и опять царственно возникали из пустоты. Небесный ветер медленно, радостно нес их по великому простору, и своими призрачными вершинами они уходили в надмирный зенит.

Вера смотрела вверх, все вверх и вверх, и она увидела над собой — в облаках — Град свой Небесный, Небесный Иерусалим, мечту.

Дом плыл по небу. Дом, храм, четыре каменных стены, и факелы по четырем его углам, и сверкают смарагды густой бешеной зелены, и горят радужные, остро ограненные адаманты, и пылают болотные, лягушьи хризопразы, и жжет глаза пятнистая яшма, леопардовая шкура. Дом величиною с целую землю! Да, нас всех ждет эта земля. С четырех сторон двенадцать ворот, но разве я их сейчас смогу сосчитать? Кирпичи из сапфира, дышащего морем, узоры из змеиного халкидона! Сардоникс, сердолик мерцают углями, головешками в остывшей печи. Испеки блины ближнему своему! Пожарь картошку! Нет ничего святее и чище простой любви и заботы. А когда встанут перед тобой зимние столбы, выточенные из ледяного берилла — обними их и поцелуй их, не бойся их. Человек не боится льда, не боится ненависти, зависти, огня и смерти. Он боится только Бога: когда нагрешит, когда убьет.

Громадный дом-корабль плыл по небесам, и борта сияли винным аметистом и лимонным топазом, а ближний Ангел трубил в трубу, и она под звездами горела, изукрашенная крупным, цвета рябины на морозе, гиацинтом. Дом жемчужно и радужно светился в небе, принимавшем то темный, то золотой цвет. Меха небесной гармонии раздувались, опадали. Неужели все мы там будем жить когда-то? Мы все?

Перед домом текла река. Чистая вода. Ни грязинки, ни соринки. Ни мазутного масла. Ни яда, ни отравы. В небесах оно все так; там все чисто и благодатно. Вода в реке светится сильнее паникадила и сверкает ярче январского хрусталя, а на берегу реки растет Древо Жизни; лишь раз в жизни собирает чело-век его плоды, а Богу и вкушать их не надо: Бог лишь поглядит на них — и сыт уже, и жив, и живет вечно.

Факелы горели, воздымались высоко по четыре стороны гигантского куба, крепко среди туч и облаков стоял дом, нерукотворно сработанный для вечности, усаженный и униженный яхонтами и перлами, как невеста, украшенная для возлюбленного мужа своего; и дальние Ангелы тоже творили музыку: один Ангел играл на скрипке, другой Ангел играл на арфе, а третий Ангел широко разевал рот. Он пел. Песня не доносилась сюда, на землю. А вот арфу и скрипку было еле слышно. А вот сейчас, ура, Вера услышала трубу!

И еще немного погода — голос.

Она наконец услышала голос.

Это она сама стояла на стене Града Небесного — и пела.

Она пела о доме, Небесном Иерусалиме, прибежище и скинии любящего Бога: о том, что Град Небесный век пребудет домом прощенных, омытых от грехов, бедных людей.

Люди, вы же на краю бездны стоите! И глядите вниз. А вы лучше головы поднимите! Поднимите!

Бог восходил над Градом Небесным, Он теперь светил людям вместо утраченного солнца, и свет, доносившийся отовсюду, был одновременно и могучим, и нежнейшим. Звезды внезапно пробились сквозь облака, прокололи их серебряными стрелами, окружили дом-храм и на глазах Веры превратились в мощный сияющий заплот; он сверкал ярче алмаза и сильнее чистого золота. Вера зажмурилась: глазам больно! А сердцу, сердцу радостно. Вот ты какое, небесное счастье! Я и не думала, родное, что ты такое...

Доносились нежные переливы арфы, торжественный петушиный клекот трубы, а дальний Ангела голос пел обо всем,

о чем угодно; о чем Вера желала сию минуту, о том он и пел: о чистой холодной воде из колодца, о синей яркой воде Енисея, о зимних могучих, царственных кедрах на юру, о матери, у которой убили ребенка, о бритом эзке, что был одинок на всем свете и так хотел любви и ласки; о змее, обвивающей грудь старого циркача, о монахе-расстриге, что нашел смерть в бурном зеленом море и отправился к рыбам и морским звездам, на дно; о бандите, что пулю в живот получил от слабой испуганной бабы, об нее уже ноги вытирали, как о старый ковер, и ждали ее лютые муки и скорая смерть; о колючей проволоке, о празднике, где плещутся красные кровавые флаги, о метелях и вьюгах, безумнее белого пламени, что плела на коклюшках, напевая тихую песню, толстая старая кружевница, выплетая опухшими узловатыми пальцами белые пихты и белые сосны, белую фату и белый саван, призрачные нежные снега и белые прозрачные облака, и о том Огне, что в этом году на Пасху в храме Гроба Господня, видать, не зажегся, вот оно все вниз и покатилося. И тонкая, паутинная жалоба скрипки в руках дальнего, на западной стене, строгого Ангела с буранными крылами надвое разрезала Верину еще живую душу.

Великое счастье объяло ее. Счастье случилось, какое послано виденье!

И вот оно, вот! Бог идет по улице Небесного Града, по золотым ее камням. Бог спускается к Вере своей по золотой лестнице: ступени горят, Ангелы по обеим сторонам золотой лестницы реют, трепеща крыльями в чистоте сияющих небес; Бог спускается медленно, нащупывая невесомыми стопами пылающие золотые ступени, вот Он все ближе, и Вера уже может рассмотреть Его глаза, Его улыбку.

Да Ты же тоже человек, думает она смущенно и потрясенно, ну да, я так и знала, Ты всегда был человеком, Ты же на землю, к нам, человеком пришел, Ты и сейчас, в День Последний, нас не оставишь! Она бормочет: я смерти не боюсь, нет-нет, совсем не страшно, а там, на небесах, меня встретит в воротах Рая моя собака, Рыжуля? Она слышит голос: «Сие

есть дочь Моя возлюбленная!». По-русски Он говорит? По-арамейски? На языке души? И вот Он рядом с ней, и садится возле нее на корточки, и она видит: Он тоже обожжен, кожа Его вспухает призраками последних ожогов, и Он почему-то в летной форме, погоны сверкают, пилотка, выпачканная сажей, сползает на затылок, падает наземь, и Он встает на колени, наклоняется и крепко обнимает Веру.

И вокруг до неба встает музыки чистое пламя, Ангелы играют все громче, и громко и прозрачно, на весь мир, на всю войну поет последнюю песню самый далекий Ангел, да он еще ребенок, и снеговые его, метельные крылья раскинулись на полнеба; на полнеба — метель, и на полнеба — пламя, так заведено, так Бог положил жить всем нам, и только два лица сияют, мерцают рядом — Бога лик и Верино лицо.

И оба лика — уже икона, золотая, горькая. А грязь на ней превращается в скань. А кровь, ею исполосована, щедро залита икона, обращается в благовонное миро святое; вот она, люди, последняя беспомощная, безумная сказка ваша. Последний ваш, слезами залитый святой образ. Последнее объятие: старый, в морщинах, без имени узник, грязный, небритый, слезы ползут по щекам и горят жемчугами прозрачными, призрачными, стоит на коленях перед лежащей молча, смирно, безымянной бабой, черная ряса черным ковром лежит на ярком белом снегу, а может, на солнечном жгучем песке, руки старика живыми, обожженными ветвями, золотыми небесными водорослями, рыбами, любовно играющими в пахтанье небесного океана, обвивают лежащую, светло-бездыханную, нет, еще дышит. Последнее дыханье. Сиянье последнее. Отец напоследок обнимает Дочь, девочку, счастье, великую Веру свою.

...а рядом горько плачет, сидя на сожженной земле, уткнув лицо в грязную кровавую ладонь, еще живая женщина, черные волосы ее развились и перепутались, и вымокли в крови, и ру-

ка висит вдоль тела мертвым канатом, и колени бесстыдно расставлены под истлевшей юбкой, и грудь изранена шальными осколками камня и железа, а ведь еще вчера она была поющим Ангелом, ребенком, и стояла на стене алмазно сверкающего в небесах дивного вечного Града, и пела — со звезд — людям о любви великую, вечную песню.

Ничего, ничего, я шепчу себе, ничего,
мы еще поживем.
До того, до того, до того, как однажды умрем.
На чело, на чело положите немой поцелуй.
Ничего, ничего, это снег,
лепет его в ночи перевитых струй.

Никогда, никогда, никогда
я больше не буду такой —
Молодой, кровь с молоком,
стоящей над ледяною рекой
В этой шубе волчьей,
В чужом кудрявом табачном дыму,
Около печи холодной, молча,
в родном рыдальном дому.

Мир — родильный дом,
Мы рождаемся заново всякий раз.
Бог глядит нам в слепые прорези
прижмурённых от лисьего визга глаз.
Не забудь, не забудь, я шепчу себе,
тот, под березой,
во мху синего инея
ржавый замок,
Что целовала ты на бессмертном морозе,
Под собой не чувствуя ног.

Подожди! Подожди! я кричу. Свечу зажги!
Надвигается рать!
Не гляди, не гляди, не видать ни зги,
как буду я умирать!
Да не буду, конечно, нет, врет богослов,
я останусь жить —
В этой белой палате, во व्यуге бинтов,
Мне здесь голову не сложить.

Ты не верь, не верь,
если скажут тебе,
что меня больше нет.
Просто выйди и закрой дверь.
Выйди и выключи свет.
Ничего, ничего, так шепчу себе, я ведь просто
храм на Крови —
Мы еще поживем,
мы еще поцелуем
на страшном морозе
стальной оком —
в Вере, в Радости и в Любви.

...ты еще помолись, поплачь, я с тобой вдвоем,
Ты еще поживи, поживи.

*КОНЕЦ ЗЕМНАГО ХОЖДЕНИЯ ПО ГОРЮ И РАДОСТИ
СВЯТОЙ ВѢРЫ*

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИЕРУСАЛИМ	3
ХОЖДЕНИЕ ПЕРВОЕ. ПАЛОМНИЦА	7
ХОЖДЕНИЕ ВТОРОЕ. МОНАХИНЯ	134
ХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕ. ПЪВИЦА	241
ХОЖДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ВОЙНА	308

Елена Крюкова

Иерусалим